



ГЛАЗ ЦАПЛИ

МИРЫ УРСУЛЫ ДЕ ГУИН

МИРЫ УРСУЛЫ ДЕ ГУИН



ГЛАЗ
ЦАПЛИ



УРСУЛА ЛЕ ГУИИ



WORLDS OF URSULA LE GUIN

THE EYE OF THE HERON

THE ORSINIAN TALES

«POLARIS» PUBLISHERS

1997

МИРЫ УРСУЛЫ ДЕ ГУИН

ГЛАЗ ЦАПЛИ

РАССКАЗЫ ОБ ОРСИННИ

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1997**

Миры Урсулы ле Гуин. Глаз цапли / Пер. с англ. — Полярис, 1997. — 377 с.

В эту книгу вошли утопический роман известной американской писательницы «Глаз цапли», а также сборник прекрасных полуреалистических рассказов о вымышленной стране Орсинии.

Произведения, включенные в данное издание, охраняются законом об авторском праве. Перепечатка отдельных произведений и всего издания в целом запрещена без разрешения издателя и переводчика. Всякое коммерческое использование данного издания возможно исключительно с письменного разрешения издателя.

Иллюстрации на обложку и форзац печатаются с разрешения художника Michael Whelan и его агентов: Glassonion Ltd. (США) и Александра Корженевского (Россия).

The Eye of the Heron
Copyright © 1978 by Ursula K. Le Guin
The Orsinian Tales
Copyright © 1976 by Ursula K. Le Guin

Глаз цапли
© И. Тогова, перевод, 1997
Рассказы об Орсинии
© И. Тогова, перевод, 1997
© Издательство «Полярис», оформление,
составление, название серии, 1997

ISBN 5-88132-379-3

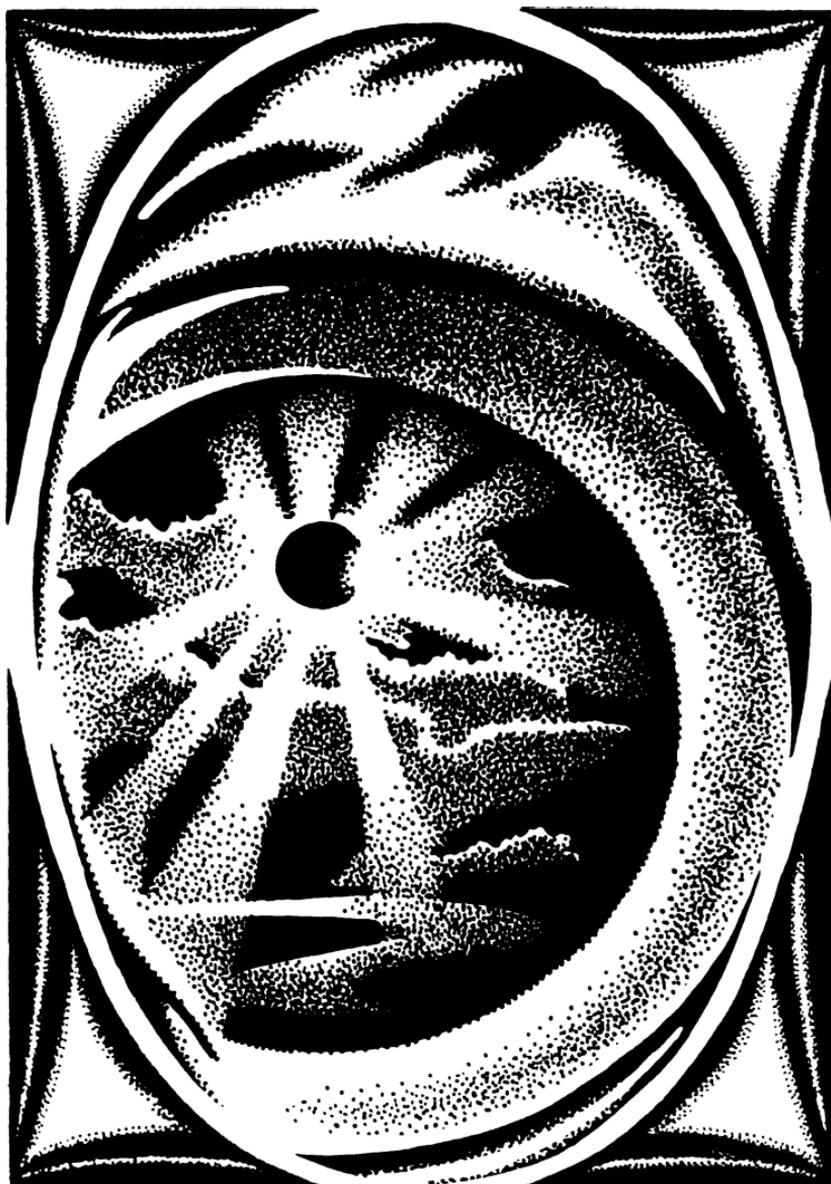
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

В этот том вошли два произведения сравнительно позднего периода в творчестве одной из самых выдающихся американских писательниц Урсулы ле Гуин — роман «Глаз цапли» и цикл связанных «Рассказов об Орсинии».

«Глаз цапли» многими критиками был воспринят как произведение программное и — именно поэтому — слабое. Действительно, в очень немногих книгах социальное мировоззрение писательницы проявляло себя с такой предельной отчетливостью. Разгорающийся на планете с обманчивым названием Виктория конфликт между иерархическим, построенным на насилии и подчинении миром Столицы и обществом Шанти, потомков земных ссыльных-пацифистов, не приемлющих насилия не только в отношениях между людьми, но и в отношениях с враждебной на первый взгляд природой планеты, приобретает масштабность, несоизмеримую с его реальным содержанием, становится почти космическим — конфликтом между двумя стилями жизни, взглядами на мир. А действия шантийцев наглядно показывают, что непотворение злу насилием не означает принятия зла и попустительства ему...

«Рассказы об Орсинии» выросли из юношеских проб пера, реалистических романов о некоей вымышленной европейской стране. Но прошло двадцать лет, прежде чем из тех студенческих набросков выросла отточенная проза ле Гуин — автора «Волшебника Земноморья», «Левой руки тьмы» и «Обделенных».

«Рассказы» трудно причислить к фантастике. О том, что это не обычная историческая проза, напоминают лишь скупые детали, которыми четко и немногословно обрисовывается несуществующая страна Орсиния, лежащая где-то в самом центре Европы. Позднее писательница сознается, что всегда интересовалась историей Польши, и в «Рассказах об Орсинии» можно при желании проследить польские параллели. Но одновременно «Рассказы» — прямой предшественник «археологии будущего» из «Всегда возвращаюсь домой»: точно так же слова лепят вымышленную реальность, и та обретает плоть. И вот уже из орсинийской столицы, города Красной, ходят поезда в Париж, орсинийцы могут с гордостью вспоминать, что побывали в крупнейших городах Европы... А история страны, которой нет ни на одной карте, обретает преемственность — от горцев, поклоняющихся на курганах древним богам, до агентов тайной полиции, готовых арестовать любого за косо брошенный взгляд.



ГЛАЗ ЦАПЛИ

Глава 1

Лев сидел на самом солнцепеке, в центре круга деревьев, скрестив ноги и склонив голову над сложенными чашечкой руками.

Меж его теплых ладоней устроилось крохотное существо. Он его не удерживал; оно само решило, а может, согласилось пока побыть там. Существо было похоже на маленькую жабу с крылышками. Крылышки, серовато-коричневые с темными полосками, сейчас были сложены и высоко подняты над спинкой; все остальное тело было темным. Три золотистых глаза, словно три булавочные головки, украшали голову — по одному с каждой стороны и один посередине. Этот обращенный вверх центральный глаз неотрывно смотрел на Льва. Лев моргнул. Существо тут же переменяло обличье. Какие-то перистые отростки пыльно-розового цвета, похожие на пальмовые листья, появились из-под сложенных крыльев. Теперь это был просто покрытый перьями шарик, который и рассмотреть-то как следует не удавалось — эти отростки или перья непрестанно дрожали, делая неясными очертания самого тела. Понемногу дрожание прекратилось. Жаба с крылышками по-прежнему спокойно сидела у Льва на ладонке, только теперь она была светло-голубого цвета. Она почесала свой левый, боковой глаз самой задней из трех левых лапок, и Лев улыбнулся. Жаба, крылья, глаза, ножки — все тут же исчезло. Совершенно плоское, похожее на моль существо распласталось у него на ладони, став почти невидимым. За исключением чуть заметных темноватых пятнышек, оно теперь имело в точности тот же цвет и структуру, что и кожа человека. Лев

застыл, и постепенно голубая жаба с крылышками возникла вновь, но один золотистый глаз внимательно следил за ним. Она прошла по его ладони и взобралась на согнутые пальцы. Шесть крохотных теплых лапок чуть сжимали его кожу при подъеме и тут же отпускали; двигалась она очень изящно и точно. Потом крылатая жабка застыла, устроившись на кончиках его пальцев, и склонила голову набок, чтобы посмотреть на него своим правым глазом, в то время как два остальных глаза, левый и центральный, изучали небеса. Затем загадочное существо собралось, вытянулось наподобие стрелы, выпустило два прозрачных подкрылка, длиной вдвое больше тела, и взлетело — плавно, без малейшего усилия, — направляясь к залитому солнцем склону холма за кольцом деревьев.

— Лев!

— Да я тут уютитом люблюсь. — Он встал и пошел навстречу Андре.

— Мартин считает, что мы уже сегодня можем добраться домой.

— Хорошо бы. — Лев подхватил свой заплечный мешок и присоединился к остальным семи членам экспедиции. Они двигались гуськом, молча, нарушая тишину лишь в том случае, если нужно было сообщить впереди идущему, где легче обойти то или иное препятствие, или же когда второй человек в цепочке, у которого был компас, говорил, что теперь пора свернуть вправо или влево. Они шли на юго-запад. Идти оказалось нетрудно, однако ни тропы, ни каких-либо отметок вокруг не было. Деревья здесь росли как бы кругами — от двадцати до шестидесяти деревьев образовывали почти правильное кольцо, внутри которого оставалось свободное пространство. В этой холмистой долине деревья-кольца росли так густо, часто смыкаясь друг с другом, что путешественникам постоянно приходилось прорубаться сквозь густой подлесок, которым заросла земля между темными волосатыми стволами; потом они пересекли относительно чистую округлую, залитую солнцем поляну, покрытую болотной травой, и снова оказались в густой тени, среди переплетенных ветвей и шершавых стволов. На склонах холмов кольца деревьев были разбросаны более вольготно, и порой открывался довольно широкий вид на невысокие холмы и долины, до самого горизонта покрытые круглыми расплывчатыми пятнами темно-красного цвета.

Когда перевалило за полдень, солнце скрылось в облачной дымке. На западе сгущались тучи. Посыпался мелкий тихий дождичек. Было тепло и совершенно безветренно. Обнаженные торсы путешественников блестели, словно натертые маслом. Капельки воды повисли на волосах. Они упорно шли вперед, забирая все больше к югу. Свет чуть померк, стал сероватым. В низинах, внутри деревьев-колец, было сыро и сумрачно.

Идущий впереди Мартин первым взобрался по длинному каменистому склону на вершину холма, обернулся и что-то крикнул. Один за другим они тоже взобрались на вершину и остановились с ним рядом. Здесь была самая высокая точка долины. Внизу виднелась широкая река; сверкая на солнце, она казалась бесцветной меж темными берегами.

Самый старший в группе по имени Упорный поднялся на вершину последним и стоял, глядя на реку с выражением глубокого удовлетворения. «Здравствуй», — дружески шепнул он ей.

— А где у нас лодки? — спросил тот парень, у которого был компас.

— Вверх по течению, вроде бы, — осторожно сказал Мартин.

— Вниз, скорее, — усомнился Лев. — По-моему, они вон там, на западе, напротив самой высокой горы.

Они с минуту поспорили и решили попробовать пойти вниз по течению. Но все-таки чуточку еще постояли на вершине в полном молчании; отсюда открывался широкий вид на ту долину, которой они в течение многих дней стремились достигнуть. За рекой, на юго-запад, по склонам холмов тянулись леса, образованные бесконечными пересекающимися и смыкающимися кольцами деревьев; по небу неслись непрерывно менявшие свои очертания облака. К востоку, вверх по течению реки, почти от ее берегов начинался довольно крутой подъем; на западе река вилась по серым равнинам среди низких пологих холмов. У самого горизонта, где река исчезала из виду, виднелось слабое свечение — то были отражавшиеся в морской воде солнечные лучи. На севере, за спинами путешественников, лежали заросшие лесом холмы, сейчас полускрытые дымкой дождя и надвигающимися сумерками; долгие дни и многие мили пройденного ими пути.

И во всем этом огромном и тихом пространстве — над холмами, над лесами, над рекой — ни одной ниточки дыма, ни единого намека на жилище человека или тропу.

Они свернули на запад, не спускаясь в долину, и примерно через километр юноша по имени Желанный, который теперь вел отряд, окликнул остальных и указал на две черные скорлупки в излучине реки на усыпанном галькой берегу; это были лодки, которые они втащили туда несколько недель назад.

Путешественники спустились на берег, оскальзываясь и обдираясь о камни на крутом склоне. Внизу неожиданно оказалось как-то темно и холодно, хотя дождь прекратился.

— Скоро совсем стемнеет. Лагерь разбивать будем? — неуверенно спросил Упорный.

Они посмотрели на серую массу речной воды, скользившую мимо, на серое небо над нею.

— Ничего, на воде будет светлее, — сказал Андре, вытаскивая весла из-под перевернутой лодки.

Целая семейка сумчатых летучих мышей устроилась между веслами. Подросток испуганно метнулся над берегом, судорожно махая крыльями и оглашая воздух пронзительными воплями, от которых стыла кровь в жилах; зато их рассержанные родители вылезли неспеша и медленно полетели за ними следом. Путешественники посмеялись, подхватили легкие лодочки на плечи и спустили их на воду. Потом уселись — по четыре человека в лодку. Взлетающие мокрые весла сверкали серебром в закатных лучах. На середине реки действительно оказалось светлее, небо словно поднялось выше, а берега, наоборот, стали как будто ниже и темнее.

О, когда придем,
Когда дойдем до Лиссабона,
Нас будут ждать
На рейде белые суда!..

Один из юношей в первой лодке затянул эту песню, два или три голоса из второй подхватили. А вокруг лежала тишина дикого края, точно в чаше держа ритмичную негромкую мелодию, окружая путешественников со всех сторон — снизу и сверху, спереди и сзади.

Постепенно берега стали еще ниже, расступились, окутанные тенью, и теперь лодки нес могучий серый поток в

полмили шириной. С каждой минутой становилось все темнее. Потом где-то на юге вспыхнул первый огонек, далекий и ясный, прорвавшись сквозь окутавшую людей древнюю тьму.

В деревнях все спали. Путешественники поднимались по тропе меж рисовых полей, освещая себе путь покачивающимися при ходьбе фонарями. В воздухе висел запах дыма — торфяных брикетов для очагов. Путники тихо, как сеявшийся с неба мелкий дождь, прошли по улице, между спящими домиками, и вдруг Желанный, испустив дикий клич: «Эй, а ведь мы добрались!», с размаху распахнул дверь своего дома и еще громче завопил: «Мама, проснись! Это я!»

Через пять минут полгорода высыпало на улицу. Вспыхнули огни, отворились двери, дети заплясали вокруг путешественников, одновременно заговорили сотни голосов — кто-то что-то кричал, кто-то спрашивал, кто-то радостно приветствовал отважных исследователей.

Лев сам пошел навстречу Южному Ветру. Она спешила к ним по улице, заспанная, улыбающаяся, набросив шаль на растрепавшиеся во сне волосы. Он протянул к ней руки, обнял ее, остановил.

Она подняла глаза, посмотрела ему в лицо и рассмеялась.

— Вы вернулись! Вернулись!

Потом, почуяв неладное, она примолкла, быстро огляделась — вокруг царил радостная суета — и снова вопросительно посмотрела на Льва.

— Ох, — сказала она, — я так и знала. Я знала.

— Да. Когда мы еще шли на север. Дней десять назад. Мы спускались по руслу ручья, среди скал. Он схватился за камень, тот выскользнул у него из-под руки, а под камнем оказалось гнездо скорпионов. Сперва он почти ничего не почувствовал. Но он получил несколько десятков укусов, и чуть позже руки у него начали распухать...

Он крепко держал девушку за плечи; она по-прежнему смотрела ему прямо в глаза.

— Он умер ночью.

— Ему было очень больно?

— Нет, — солгал Лев, скрывая набежавшие слезы. — Он там и остался. Возле водопада. Мы сложили над могилой пирамиду из белых камней. Так что он... он теперь там.

И вдруг рядом с ними среди всеобщей суеты и оживленных разговоров отчетливо прозвучал женский голос:

— А где же Тиммо?

Южный Ветер бессильно опустила плечи; она, казалось, сразу стала меньше ростом, вся съежилась — вот-вот исчезнет совсем...

— Пойдем со мной, — сказал Лев, нежно обняв ее за плечи, и они молча пошли к дому ее матери.

Лев оставил девушку там, с обеими матерями — с матерью Тиммо и с ее собственной. Выйдя из дома, он постоял в нерешительности, потом медленно двинулся обратно к толпе. Ему навстречу вышел отец; Лев узнал знакомые вьющиеся седые волосы и полные ожидания глаза, поблескивавшие в свете факелов. Саша всегда был хрупким и невысоким, но, когда они обнялись, Лев почувствовал, как похудел за это время отец, хотя твердость духа в этом легком теле ощущалась прежняя.

— Ты был у Южного Ветра?

— Да. Я не мог...

На минутку он по-детски прижался к отцу, и тот своей тонкой рукой погладил его по плечу. Свет факелов дрожал и расплывался у Льва перед глазами. Когда он отстранился, Саша чуть отступил назад, чтобы как следует рассмотреть сына; он ничего не говорил и только глядел на него очень внимательно своими темными глазами, пряча улыбку в колючих седых усах.

— С тобой все в порядке, отец?

Саша кивнул.

— Ты устал, сынок. Пойдем-ка домой. — И когда они уже шли по улице, он спросил: — А вы нашли ту землю, что обещали?

— Да. Отличную долину! Там большая река, миль пять до моря, и вообще, есть все, что человеку нужно. И там так красиво! Долина со всех сторон окружена горами, один горный хребет за другим, все выше и выше, вершины уходят за облака и белее облаков... Ты просто не представляешь, как нужно задрать голову, чтобы разглядеть самую высокую вершину... — он вдруг умолк.

— Значит, путь туда лежит через горы? И через реки?

Лев мгновенно спустился с тех белых вершин, что виделись ему, на грешную землю и вопросительно уставился на отца.

— Ты считаешь, что добраться туда нелегко? Хозяевам трудно будет преследовать нас?

Чуть помедлив, Лев улыбнулся и ответил:

— Я думаю, да.

Уборка риса была в самом разгаре, и многие крестьяне прийти просто не смогли, однако каждая деревня прислала в Шанти хотя бы одного человека — послушать, о чем расскажут разведчики и как это воспримут остальные. В полдень все еще шел дождь; огромная площадь перед Домом Собраний была буквально забита народом; люди прятались под зонтами, сделанными из широких, красных, шуршащих как бумага листьев тростниковой пальмы, и либо стояли, либо сидели на корточках, а то и прямо на земле, подстелив сплетенные из тех же листьев циновки, шелкали орехи и разговаривали, пока наконец в Доме Собраний не прозвонил маленький бронзовый колокольчик. Тогда все разом повернули головы и посмотрели на высокое крыльцо, где уже стояла Вера, готовая говорить.

Это была стройная женщина с серо-стальными седыми волосами, изящным узким носом и темными продолговатыми глазами. Голос ее звучал громко и ясно, и, пока она говорила, никто не проронил ни звука, только мягко шелестел дождь да порой в толпе раздавался тихий щебет какого-нибудь малыша, которого мгновенно утихомиривали.

Вера поздравила разведчиков с возвращением. Потом рассказала о смерти Тиммо и, очень тихо и кратко, о самом Тиммо — каким она видела его в день отправки экспедиции. Она говорила об их стодневном путешествии по дикому краю, о том, что они нанесли на карту огромную территорию к востоку и северу от Залива Мечты, и о том, что они все-таки его отыскали, отличное место для нового поселения, и проложили туда путь.

— Довольно многие из жителей Шанти, — сказала Вера, — даже и думать не хотят о том, чтобы куда-то переселяться, тем более так далеко от родного дома. Все это требует обсуждения. К тому же среди нас присутствуют и представители наших соседей из Столицы; возможно, они тоже захотят присоединиться к нашей дискуссии. Каждый имеет право высказать свою точку зрения совершенно свободно. Итак, разрешите мне первыми предоставить слово Андре и Льву, которые выступят от имени разведчиков: пусть расскажут нам, что видели и что нашли в диких краях.

Андре, плотный застенчивый мужчина лет тридцати, описал их путешествие на север. Говорил он тихо и невнятно, однако люди слушали с напряженным вниманием, ибо перед ними постепенно возникала картина того мира, что расстилался далеко за пределами привычных полей. Кое-кто в задних рядах, однако, вытягивал шею, чтобы лучше разглядеть людей из Столицы, о присутствии которых Вера столь вежливо всех предупредила. Да, они действительно стояли возле самого крыльца — шестеро мужчин в коротких кожаных куртках и грубых высоких ботинках: телохранители и верные псы своих Хозяев; у каждого на бедре длинный нож в ножнах и плеть, аккуратно свернутая и заткнутая за ремень.

Андре пробормотал что-то в заключение и передал слово Льву, стройному и очень худому юноше с густыми черными блестящими волосами. Лев начал тоже нерешительно, подыскивая нужные слова, чтобы как можно лучше описать ту долину, которую они наконец нашли, и объяснить, почему она показалась им наиболее подходящей для нового поселения. Но постепенно голос его зазвучал живее, он увлекся, словно увидев перед собой то, о чем старался поведать своим слушателям — широкую долину и спокойную реку, которую они называли Безмятежной, и озеро в горах над нею, и болотистые земли, где растет дикий рис, и отличный строевой лес, и залитые солнечным светом склоны холмов, где могут раскинуться сады и огороды, и прекрасные участки для постройки домов на высоких сухих местах, не то что здесь, в грязи и сырости. Он рассказал об устье реки, о заливе, в который она впадает, где полно съедобных моллюсков и водорослей; и еще он много говорил о горах, что окружают долину, защищая ее от северных и восточных ветров, которые делают зиму в Шанти такой мучительной и промозглой.

— Их вершины вздымаются за облака, туда, где вечный покой и вечно сияет солнце, — говорил он. — Они обнимают долину, как мать младенца. Мы называли их Горы Махатмы. Чтобы как следует убедиться, насколько они задерживают сильные холодные ветры, мы прожили там целых пятнадцать дней. Там ранняя осень — все равно что здесь разгар лета, только ночи чуть холоднее; зато дни солнечные и никаких дождей. Упорный считает, что в этой долине можно собирать три урожая риса в год. В лесах довольно много диких фруктов, а рыбная ловля в реке и заливе будет

хорошим подспорьем поселенцам, особенно сначала — до первого урожая. А какие там ясные зори! Мы задержались не только потому, что хотели выяснить, какая будет погода. Просто трудно было сразу уйти из этих замечательных мест, хотя домой и хотелось.

Люди слушали как зачарованные и довольно долго еще молчали, когда Лев кончил говорить.

Потом кто-то спросил:

— А как далеко это? Сколько дней пути?

— Это выяснит головная группа; она же выполнит и основную работу по прокладыванию пути. Эта группа должна выйти на несколько дней раньше остальных и отметить наиболее легкий путь. Возвращаясь назад, мы сознательно избегали тех труднопроходимых районов, которые пересекли, когда шли на север. Самое сложное препятствие — наша река Поющая; переправляться через нее придется на лодках. Остальные речки можно перейти вброд, за исключением Безмятежной.

Посыпались еще вопросы; теперь люди вышли из состояния восторженного восхищения и, разбившись на группы, ожесточенно спорили под своими зонтами из красных листьев. Наконец снова попросила слова Вера, и все примолкли.

— Мне хотелось бы представить вам одного из наших соседей; он собирается кое-что нам сообщить, — объявила она и пропустила вперед мужчину, стоявшего у нее за спиной. Его черный наряд был подпоясан широким ремнем с серебряной пряжкой, украшенной искусной чеканкой. Те шестеро, что до того стояли возле крыльца, тоже поднялись вверх и полукругом обступили человека в черном, как бы отделяя его от остальных людей, находившихся на крыльце.

— Приветствую вас, — сказал человек в черном. Голос его звучал сухо, негромко.

— Фалько, — перешептывались люди. — Это сам Хозяин Фалько.

— На меня возложена приятная обязанность передать поздравления от правительства Виктории этим храбрым исследователям и путешественникам. Их карты и отчеты станут ценнейшим вкладом в Государственный Архив нашей Столицы. Планы ограниченной миграции земледельцев и работников ручного труда в настоящее время внимательно изучаются Советом. В данном случае четкая организация и контроль совершенно необходимы, чтобы обеспечить безопасность и благополучие всего нашего общества

в целом. Как то совершенно ясно доказала данная экспедиция, мы, люди, обитаем лишь в одном небольшом районе, в одном-единственном райском уголке огромного и неизведанного мира. Мы, которые прожили здесь дольше всех, хранящие записи о первых годах жизни колонии, знаем, что необдуманные планы рассеивания людей по столь обширной территории могут угрожать нашему выживанию здесь, и мудро поступят те, кто будет соблюдать порядок и строгие правила взаимодействия. С удовольствием сообщая вам также, что Совет приглашает храбрых разведчиков прибыть в Столицу, где намерен от имени всех ее жителей поздравить их и щедро вознаградить за старания.

Теперь воцарилась тишина совсем другого рода.

Первой заговорила Вера; она выглядела очень хрупкой рядом с высокими грубыми мужчинами в кожаных куртках, но голос был чист и звонок.

— Мы благодарны представителю Совета за любезное приглашение...

— Совет намерен пригласить членов экспедиции после того, как изучит их карты и отчеты, то есть через три дня, — вставил Фалько.

Снова возникла напряженная пауза.

— Мы еще раз благодарим Советника Фалько, — вмешался Лев, — и отклоняем его приглашение.

Андре, старший из них, крепко сжал руку Льва и что-то горячо зашептал ему на ухо; люди на крыльце начали оживленно переговариваться, но огромная толпа перед Домом Собраний хранила молчание и оставалась недвижима.

— Нам необходимо сперва обсудить несколько очень важных вопросов, — пояснила Вера, обращаясь к Фалько, однако сказала она это достаточно громко, чтобы могли слышать все. — Только тогда мы будем готовы принять приглашение Совета.

— Все важные вопросы обсуждаются Советом, сеньора Адельсон. И все решения уже приняты. От вас ожидается лишь соблюдение законов и послушание. — Фалько поклонился — только Вере, — поднял руку, приветствуя толпу, и спустился с крыльца в окружении своих телохранителей. Люди широко расступились, давая им пройти.

На крыльце тут же образовались две группы: члены экспедиции и другие, главным образом молодые, мужчины и женщины собрались вокруг Веры, а их оппоненты — вокруг светловолосого голубоглазого человека по имени Илия. Вни-

зу, в толпе, происходило деление по тому же принципу, и вскоре собравшиеся стали похожи на лес из деревьев-колец: небольшие кольца состояли, главным образом, из молодежи, а кольца побольше — из людей старшего поколения. Все спорили страстно, однако совершенно беззлобно. Когда какая-то высокая старуха начала вдруг трясти своим красным зонтом перед носом у что-то горячо доказывавшей молодой девушки и кричать: «Сбежать хотите! А нас на съедение Хозяевам бросить! Трепку бы вам задать хорошую!» — и действительно огрела девушку своим зонтиком, то люди вокруг разъярившейся старухи мгновенно как бы растаяли, разошлись и увели с собой девушку. Старуха осталась в полном одиночестве, покраснев, точно собственный зонтик, которым все еще лениво замахивалась неизвестно на кого. Впрочем вскоре, нахмурившись и что-то бормоча себе под нос, она присоединилась к другому кружку.

Две группы на крыльце к этому моменту уже воссоединились. Илия говорил с тихой убежденностью:

— Прямое пренебрежение — это уже насилие, Лев, не хуже удара кулаком или ножом.

— Поскольку я отвергаю насилие, я отвергаю и служение тому, кто насилие совершает, — сказал молодой человек.

— Отвергая просьбу Совета, ты сам провоцируешь насилие.

— Аресты, избиения? Что ж, возможно. Но что нам, в конце концов, нужно, Илия? Свобода или же самая примитивная безопасность?

— Отвергнув приглашение Фалько — пусть даже во имя свободы или чего-то там еще, — ты провоцируешь репрессии. Ты играешь ему на руку.

— Мы и так уже у него в руках, разве нет? — вмешалась Вера. — И хотим мы все одного — вырваться на свободу.

— Да, все согласны: действительно давно настала пора объясниться с Советом — поговорить с ними честно, разумно. Но если мы начнем с открытого неповиновения, с морального насилия, то ничего не добьемся, и они все равно станут действовать с позиции силы.

— Мы вовсе не собирались выказывать им неповиновение, — сказала Вера. — Мы просто намерены придерживаться собственных воззрений. Но если они начнут с применения силы, то ты же понимаешь, Илия: любая наша попытка о чем-то договориться будет выглядеть как сопротивление.

— Соппротивление в данном случае бесполезно, и мы непременно должны добиться нормальных переговоров! Если же к ним примешается насилие — в любой форме! — то истину будет доказать трудно, и наши жизни, наши надежды на свободу будут растоптаны. Править будет сила, как это было на Земле!

— Она там правила не всеми, Илия. Только теми, кто соглашался ей подчиниться.

— Земля изгнала наших отцов, — сказал Лев. Лицо его светилось; голос звучал громко и требовательно, как басовая струна арфы, когда по ней ударят особенно сильно. — Мы изгой и дети изгоев. Разве не сказал Создатель, что изгой — это свободная душа, дитя Господа? Наша жизнь здесь, в Шанти, — не свободная жизнь. Там, на севере, в новом поселении мы будем свободны.

— А что такое свобода? — спросила стоявшая подле Илии красивая темноволосая женщина по имени Сокровище. — Не думаю, что вы придете к ней путем открытого неповиновения, сопротивления силе, упрямства. Свобода будет с вами, только если вы изберете тропу любви. Принять все — значит и получить все.

— Нам был дан целый мир, — сказал Андре, как всегда смущаясь. — Разве мы его приняли?

— Открытое неповиновение — это ловушка, насилие — это тоже ловушка; и от того, и от другого необходимо отказаться — мы именно так и поступаем, — сказал Лев. — Уходим свободными. Хозяева непременно попытаются остановить нас, используя как моральное, так и физическое давление; однако насилие — оружие слабых. Стоит нам поверить в себя, в нашу общую цель, в нашу общую силу, стоит нам сплотиться, и все их могущество растает, как тают тени в лучах восходящего солнца!

— Лев, — тихо сказала темноволосая женщина по имени Сокровище, — Лев, но это ведь и есть мир теней.

Глава 2

Налитые дождем тучи плыли длинными размытыми вереницами над Заливом Мечты. Дождь все стучал и стучал по черепичной крыше Каса Фалько. В дальнем конце дома, в кухонных помещениях, слышались далекие голоса не замершей еще жизни, переговаривались слуги. Но больше ни звука — только стук и шелест дождя.

Люс Марина Фалько Купер сидела под окном на уютном диване, подобрав колени к подбородку. Порой она смотрела сквозь толстое зеленоватое стекло на море, на дождь и на тучи. Порой опускала глаза на раскрытую книгу, что лежала возле нее, и прочитывала несколько строк. Потом вздыхала и снова смотрела в окно. Книга оказалась неинтересной.

И очень жаль! Она так надеялась! Она никогда прежде не читала книг.

Ее, разумеется, учили читать и писать, как дочь самого Хозяина Фалько. Помимо заучивания уроков наизусть, ей приходилось переписывать в тетрадь правила поведения, различные заповеди, она могла также написать письмо — приглашение в гости или, напротив, отказ от чьего-либо приглашения — и украсить письмецо изысканной рамочкой, красиво написать приветствие и расписаться. Однако в школе они пользовались грифельными досками и тетрадками, которые учительницы надписывали от руки. Книг же она никогда даже не касалась. Книги были слишком драгоценны, чтобы ими пользоваться в школе; их в мире и существовало-то всего несколько десятков. Они хранились в

Архиве. Однако сегодня днем, войдя в гостиную, она увидела на низеньком столике небольшую коричневую коробку и подняла крышку, чтобы посмотреть, что там внутри. «Коробка» оказалась полна слов. Аккуратных крохотных словечек, в которых все буквы были одинакового размера, и что же за терпение нужно было иметь, чтобы так аккуратно выписать их все! Книга, настоящая книга с Земли! Должно быть, ее забыл там отец. Люс схватила книгу, отнесла к окну, уселась на диван и снова осторожно открыла «крышку», а потом очень медленно прочитала все, и крупные, и мелкие, слова на самой первой странице.

**ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ.
ПОСОБИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ВО ВРЕМЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И БОЛЕЗНЕЙ.**

М. Е. Рой, д-р медицины.

*Женева Пресс,
Женева, Швейцария, 2027
лицензия No 83A38014
Женева.*

Все это показалось ей сущей белибердой. Ну еще «первая помощь» — это понятно, но уже следующая строчка представляла собой загадку. Чье-то имя, какие-то несчастные случаи и болезни? И целая куча заглавных букв, и точки после каждой из них? И что такое «женева»? Или «пресс»? Или «швейцария»?

В той же степени загадочными были и красные буквы, написанные как бы поверх всего остального, наискосок, в левом верхнем углу страницы: **ДАР МЕЖДУНАРОДНОГО КРАСНОГО КРЕСТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ НА ПЛАНЕТЕ ВИКТОРИЯ.**

Она перевернула бумажную страницу, восхищаясь ее качеством. Бумага была куда более гладкой, чем самая тонкая ткань; казалась ломкой, однако легко сгибалась, точно молодой лист тростника. И еще она была совершенно белой.

Люс с трудом, от слова к слову пробивалась сквозь текст и дошла до самого низа первой страницы, а потом начала переворачивать по несколько страниц сразу — все равно большая часть слов для нее ровным счетом ничего не значила. Появились ужасные картинки: она даже вздрогнула, однако в ней вновь проснулся интерес. Люди поддержива-

ли головы другим людям и дышали им в рот; потом последовали изображения костей как бы изнутри или вен внутри, например, руки; затем пошли цветные рисунки на восхитительной блестящей бумаге, похожей на стекло: люди с красными пятнышками на плечах, или с огромными красными прыщами на щеках, или с отвратительными нарывами по всему телу, а под картинками загадочные слова: аллергическая сыпь, корь, ветрянка, оспа. Она внимательно рассмотрела все картинки, изредка пытаясь с налету вычитать что-нибудь на соседней странице. Она поняла, что это книга по медицине и что это, должно быть, доктор, а не отец забыл ее здесь на столике прошлой ночью. Доктор был хорошим человеком, только чересчур обидчивым и раздражительным; интересно, он рассердится, если узнает, что Люс рассматривала его книгу? Ведь своих тайн книга ей все равно не раскрыла. Доктор тоже никогда не отвечал на вопросы. И предпочитал хранить свои секреты при себе.

Люс снова вздохнула и посмотрела в окно, на растрепанные дождевые облака. Картинки она уже все видела, а слова были ей не интересны.

Она встала и в ту самую минуту, когда она клала книгу точно так, как та лежала прежде, в комнату вошел отец.

Движения его были энергичны, спина прямая, взгляд ясный и жесткий. Он улыбнулся, увидев Люс. Немного растерявшись, чувствуя свою вину, она присела перед ним в шутовом реверансе, юбками прикрывая и низенький столик, и книгу на нем.

— Господин мой! Тысячу приветствий!

— Ах ты, моя маленькая красавица! Микаэл! Горячей воды и полотенце — я себя чувствую буквально вывалившимся в грязи. — Отец уселся в одно из резных деревянных кресел и вытянул перед собой ноги; спина его оставалась как всегда прямой.

— Где же это ты так перепачкался, папа?

— Среди этого сброда.

— В Шанти-тауне?

— Три вида живых существ прибыли с Земли на планету Виктория: люди, вши и жители Шанти-тауна. Если бы я мог избавиться только от одного из этих видов, то выбрал бы последний. — Он снова улыбнулся, довольный собственной шуткой, потом посмотрел на дочь и сказал: — Один из них осмелился возражать мне. По-моему, ты его знаешь.

— Я его знаю?

— По школе. Детям этого сброда не следовало бы позволять посещать школы. Забыл его имя. У них не имена, чушь собачья — Липучка, Вонючка, Как-тебя-там... Ну такой тощий как палка мальчишка, с копной черных волос...

— Лев?

— Вот именно. Настоящий возмутитель спокойствия.

— А что он такого тебе сказал?

— Он сказал мне «нет».

Слуга примчался с тазом и кувшином горячей воды, за ним шла служанка с полотенцами. Фалько тщательно оттирал руки и лицо, отдувался, фыркал и все время продолжал говорить:

— Он и еще несколько человек только что вернулись из экспедиции на север дикого края. Уверяют, что нашли отличное место для нового города. И хотят, чтобы все жители Шанти перебрались туда.

— И покинули Шанти-таун? Все сразу?

Фалько нарочито громко фыркнул и выставил вперед ногу в высоком ботинке, чтобы Микаэл его разул.

— Как будто они способны хоть одну зиму прожить без поддержки и заботы Столицы! Земля пятьдесят лет назад выслала их сюда, этих тупиц, не способных ничему научиться. Что ж, такими они и остались. Пора снова дать им хороший урок.

— Но не могут же они просто так взять и уйти в дикие края? — сказала Люс, которая слушала не только отца, но и собственные мысли. — Кто тогда будет возделывать наши поля?

Отец не обратил на ее вопрос внимания, но повторил его иначе, как бы превратив заключенные в нем женские эмоции в чисто мужскую трезвую констатацию факта.

— Разумеется, нельзя позволить им начать разбредаться подобным образом. Они выполняют общественно-необходимую работу.

— А почему сельским хозяйством занимаются именно жители Шанти?

— Потому что ни на что другое они не способны. Убери с дороги эту грязную воду, Микаэл.

— Вряд ли кто-нибудь из наших людей умеет возделывать землю, — заметила Люс. Она размышляла. У нее были темные, круто изогнутые брови, как у отца; но когда она думала, брови вытягивались у нее над глазами в ровную линию. Это очень не нравилось Фалько. Мрачно насуплен-

ные брови совсем не шли такой хорошенькой двадцатилетней девушке. Они придавали ей чересчур суровый, какой-то неженский вид. Отец часто говорил ей об этом, но она так и не отучилась от этой дурной привычки.

— Дорогая моя, мы ведь жители Столицы, а не крестьяне!

— Но кто, в таком случае, занимался земледелием до того, как сюда прибыли жители Шанти? Колония существовала уже целых шестьдесят лет, когда они здесь появились.

— Ручным трудом, разумеется, занимались рабочие. Но даже наши рабочие никогда крестьянами не были. Мы все жители Столицы.

— И мы голодали, верно? Были ведь периоды голода? — Люс говорила мечтательно, словно вспоминая уроки по древней истории, однако брови ее по-прежнему были сдвинуты в одну темную линию над глазами. — В течение первых десяти лет существования Колонии и потом тоже... многие люди голодали. Они не умели выращивать богарный рис или сахарную свеклу, пока не прибыли жители Шанти-тауна.

Теперь брови ее отца тоже сошлись в одну черную прямую. Он отпустил Микаэла, горничную, а потом устранил и сам предмет неприятного разговора с дочерью одним решительным взмахом руки.

— Это большая ошибка, — сухо промолвил он, — посылать крестьян и женщин в школу. Крестьяне становятся наглými, а женщины начинают раздражать.

Два-три года назад такие его слова непременно заставили бы Люс плакать. Она бы тогда сразу сникла, выползла из гостиной и отправилась к себе, чтобы там проливать слезы, пока отец не придет и не скажет ей что-нибудь хорошее. Но теперь он не мог заставить ее расплакаться. Она не понимала, почему теперь это так. Очень странно! Разумеется, она по-прежнему очень сильно любила его и боялась; но теперь она всегда знала, что он скажет в следующий момент. Никогда ничего нового она от него не слышала. Да и вообще ничего нового никогда не происходило.

Она отвернулась и снова сквозь толстое неровное стекло посмотрела на Залив Мечты, на изгиб дальнего берега, занавешенного дымкой непрекращающегося дождя. Она стояла прямая, полная сил и жизни в неярком свете сумрачного дня, в своей длинной красной домотканой юбке и блузке с оборочками. Она казалась себе равнодушной и одинокой посреди этой длинной, с высокими потолками комнаты.

И чувствовала, что отец смотрит на нее. И знала, что он сейчас скажет.

— Пора тебе замуж, Люс Марина.

Она подождала, пока он произнесет следующую фразу.

— С тех пор, как умерла твоя мать... — Последовал тяжкий вздох.

Довольно, довольно, довольно!

Она повернулась к нему лицом.

— Я читала эту книгу, — сказала она.

— Книгу?

— Ее, должно быть, доктор Мартин позабыл. Что значит «исправительная колония»?

— С какой стати тебе понадобилось это читать?

Он был весьма удивлен. Ну что ж, уже интересно.

— Я думала, что это коробка с сушеными фруктами, — сказала она и рассмеялась. — Но что все-таки значит: «исправительная колония»? Колония для преступников? Тюрьма?

— Тебе это знать совершенно необязательно.

— Наши предки ведь были сосланы сюда как заключенные, верно? Именно так говорили в школе ребята из Шанти-тауна. — Фалько начинал бледнеть, однако опасность только раззадорила Люс; мысли ее стремились вперед, и она говорила то, что давно уже было у нее на уме. — Они говорили, что все Первое Поколение состояло из преступников. Земное правительство использовало Викторию как тюрьму. А вот жителей Шанти-тауна как раз сослали сюда за то, что они верили в мир или во что-то такое. Мы же оказались здесь, потому что все были ворами и убийцами. И большая часть Первого Поколения состояла из мужчин; их женщины не могли прилететь сюда, поскольку не были за ними замужем, и именно поэтому здесь сперва женщин очень не хватало. Мне это всегда казалось довольно-таки глупым — ну почему было не прислать достаточно женщин для колонии? Зато теперь мне понятно, почему те космические корабли могли долететь только сюда. Вернуться на Землю они уже не могли. И почему жители Земли никогда сюда не прилетали. Нас просто вышибли вон и заперли за нами дверь. Это ведь правда, не так ли? Мы называем себя Колония Виктория. Но на самом деле мы — тюрьма.

Фалько уже встал. Потом медленно подошел к ней. Она стояла неподвижно, с высоко поднятой головой, крепко упершись ногами в пол.

— Нет, — легко, даже почти равнодушно сказала она. — Нет, не смей, папа.

И этот голос остановил его; подавив гнев, он застыл, глядя на нее. На какое-то мгновение он увидел ее по-настоящему. Она поняла по его глазам, что он увидел ее, теперешнюю, по-настоящему. И он испугался. Но лишь на мгновение, на одно мгновение.

Потом он резко отвернулся. Подошел к столику и взял книгу, которую забыл доктор Мартин.

— Что все это значит, Люс Марина? — спросил он наконец довольно спокойно.

— Я просто хотела знать.

— Это произошло сто лет назад. И с Землей мы расстались навсегда. И мы такие, какие есть.

Она кивнула. Когда он говорил своим обычным тоном, сухо и спокойно, она снова видела в нем ту силу, которой всегда восхищалась, перед которой преклонялась.

— Что меня особенно злит, — сказал он совершенно беззлобно, — так это то, что ты наслушалась рассказней этого сброда. Они вечно все переворачивают с ног на голову. А что они знают? Вот ты позволила им рассказывать, что Луис Фирмин Фалько, мой прадед, основатель нашего дома, был вором, тюремной пташкой, уголовником. Да что им об этом известно! А вот я действительно знаю историю нашей семьи и могу рассказать ее тебе — чтобы и ты поняла, каковы были они, наши предки. Это были настоящие мужчины. Слишком сильные для Земли. Правительство выслало их с Земли на другую планету, потому что боялось их, самых лучших, самых смелых, самых сильных из мужчин. Да, их просто боялись — тысячи тысяч жалких людишек на Земле боялись их, ставили на них ловушки, высылали с Земли на ракетах, не способных вернуться... Людишки желали распоряжаться Землей по своему усмотрению. Понимаешь? Ну и что же, когда дело было сделано, когда все настоящие мужчины с Земли улетели, там остались одни слабаки и слюнтяи, которым оказался страшен даже такой сброд, как теперешние жители Шанти-тауна. Тогда и тех тоже выслали с Земли — сюда, к нам, видимо, чтобы мы их привели в божеский вид. Что мы и сделали. Понимаешь теперь? Вот как оно было на самом деле.

Люс кивнула. Она приняла его очевидную попытку как-то оправдаться и успокоить ее, хотя и не понимала, почему он впервые говорил с ней так заискивающе, что-то доказывая,

будто она ему ровня. Но какова бы ни была причина такого поведения отца, а его объяснения звучали хорошо; Люс привыкла выслушивать все, что звучит хорошо, и уж потом разбираться в истинном смысле сказанного. Нет, правда, пока она не познакомилась в школе со Львом, ей и в голову не приходило, что кто-то может предпочесть честное высказывание лжи, даже ложь выгоднее и звучит гораздо лучше. Люди всегда говорили то, что соответствовало их целям, если были серьезны; а если не были серьезны, то говорили вообще всякую ерунду. И уж во всяком случае, разговаривая с девушками, они вряд ли вообще когда-либо были серьезны. Грязную правду необходимо было от девушек прятать, чтобы их чистые нежные души не загубели и не испачкались. И если уж честно, то свой вопрос насчет исправительной колонии она задала главным образом для того, чтобы отвлечь отца от темы ее замужества; и трюк удался.

Однако же главная проблема с подобными уловками в том, что сама же становишься их жертвой, думала чуть позже Люс, сидя одна в своей комнате. Она затеяла спор с отцом и победила. И он, конечно же, ни за что ей этого не простит.

Все знакомые девушки ее возраста и все ее одноклассницы повыходили замуж уже два или три года назад. Ей удавалось до сих пор избегать замужества только потому, что Фалько сам, возможно бессознательно, не хотел, чтобы дочь его покинула. Он привык к тому, что она всегда дома. Они были похожи, очень похожи; им нравилось общество друг друга; может быть, больше, чем кого бы то ни было другого. Но в этот вечер он смотрел так, словно вдруг вместо нее увидел кого-то другого, совсем ему непривычного. Если он станет замечать в ней черты, отличные от его собственных, если она начнет выигрывать в спорах с ним, если она перестанет быть его «любимой крошкой», то он вполне может задуматься о ее новых свойствах... и о том, какая от нее теперь ему польза...

А какая от нее действительно польза, что она, собственно, может? Ну, продолжить род Фалько, естественно. А что из этого следует? Или Герман Маркес или Герман Макмиллан. И ничегошеньки она с этим поделать не сможет. Она непременно станет чьей-то женой. Она непременно станет чьей-то невесткой. Она непременно будет закручивать волосы в строгий пучок и бранить слуг, и равнодушно слу-

шать, как мужчины после ужина пьянствуют в гостиной, и у нее будут дети. По одному каждый год. Маленькие Маркесы Фалько. Маленькие Макмилланы Фалько. Эва, подружка ее детских лет, вышла замуж в шестнадцать; она уже родила троих и ожидала четвертого. Муж Эвы, сын Советника, Альдо Ди Джулио Герц, бил ее; и она этим гордилась. Она демонстрировала свои синяки и шептала: «Ах, у Альдито такой темперамент! Он прямо-таки диким становится, словно мальчишка в припадке ярости».

Люс скорчила рожу, плюнула прямо на красиво выложенный плитками пол своей комнаты и оставила плевков на самом видном месте. Потом уставилась на маленький сероватый пузырь и подумала, что ей до смерти хотелось бы утопить в этом плевке Германа Маркеса, а потом и Германа Макмиллана. Она чувствовала себя грязной. Комната казалась ей тесной и тоже грязной: настоящая тюремная камера. И она не выдержала, сбежала от этих мыслей и от этой комнаты. Стрелой бросилась в гостиную, подобрала юбки и по приставной лесенке взобралась на чердак, под самую крышу, куда никто больше никогда не заглядывал. Там она уселась прямо на пыльный пол — крыша, гудевшая от дождевых струй, была слишком низкой, чтобы на чердаке можно было стоять, — и дала волю своим мыслям.

Мысли ее тут же устремились прочь от этого дома, от только что пережитых мгновений — назад, в те времена, когда ей было просторнее жить.

На игровом поле за школьным зданием весенним днем двое мальчиков играли мячом в салки, оба из Шанти-тауна, Лев и его дружок Тиммо. Она стояла на крыльце и наблюдала за ними, удивляясь тому, что видела — быстрые, ловкие движения рук, прямые спины, гибкие, стройные тела, мелькание мяча в солнечных лучах. Они словно исполняли беззвучно какое-то музыкальное произведение, нет, то была музыка движений. Свет солнца вдруг скрыли грозовые облака с золотистыми краями, наполнившие с запада, с Залива Мечты; земля сейчас казалась светлее, чем небеса. Полоса поросшей травой земли за спортплощадкой тоже была золотистого цвета, трава на ней прямо-таки горела огнем. Горела и сама земля. Лев стоял в ожидании дальнего броска, откинув назад голову и приготовившись схватить мяч; она так и застыла, наблюдая за ним, пораженная красотой движений.

Группа столичных мальчишек вышла из-за школы на площадку, намереваясь поиграть в футбол. Они тут же завопили, чтобы им уступили место, и Лев, вытянувшись во весь рост в красивом прыжке с поднятыми руками, поймал высоко брошенный Тиммо мяч, засмеялся и бросил тем мальчишкам.

Когда они вдвоем проходили мимо крыльца, она сбежала вниз по ступеням:

— Эй, Лев!

Запад у него за спиной горел ослепительным заревом, его фигурка на фоне заката казалась черной.

— Почему ты им отдал мяч просто так?

Она не могла видеть его лицо, стоя против света. Тиммо, высокий красивый мальчик, чуть отступил и ей в лицо не смотрел.

— Почему ты позволяешь им так с собой обращаться?

Лев все-таки ответил.

— Я ничего им не позволяю, — сказал он. И, подойдя к нему ближе, она увидела, что смотрит он прямо ей в глаза.

— Они сказали: «Давай сюда мяч!», и ты сразу его отдал...

— Они хотели играть по-настоящему; а мы просто дурака ваяли. Теперь была их очередь.

— Но они же не попросили мяч у тебя, они тебе приказали! Неужели у тебя совсем гордости нет?

Глаза у Льва были темные, лицо тоже было смуглым, чуточку грубоватым и каким-то незавершенным; он улыбнулся ей — нежно и немного удивленно.

— Гордость? Конечно есть. Если бы у меня ее не было, я бы ни за что не отдал им мяч, пока вволю не наигрался бы.

— Почему у тебя всегда на все готов ответ?

— Потому что в жизни всегда полно вопросов.

Он рассмеялся, но продолжал смотреть на нее так, словно и она сама была для него вопросом, причем неожиданным и не имеющим ответа. И он был прав: она и сама не могла понять, зачем подначивает его и пытается оскорбить.

Тиммо стоял поодаль, явно смущенный. Кое-кто из столичных мальчишек на площадке уже поглядывал в их сторону: ну как же, двое жалких типов из Шанти разговаривают с сеньоритой!

Не сказав ни слова, все трое пошли прочь, вниз по улице, туда, где их нельзя было увидеть со спортплощадки.

— Если бы кто-то из здешних заговорил с кем-то из них так, как они орали тебе, — сказала Люс, — непременно была бы драка. А ты почему не дерешься?

— Из-за футбола?

— Из-за чего угодно!

— Мы деремся.

— Когда? Как? Вы просто уходите прочь и все.

— Мы каждый день ходим в Столицу, в школу, — сказал Лев. Теперь он на нее не смотрел, они шли по улице рядом, и лицо его выглядело как всегда — самое обыкновенное мальчишеское лицо, упрямое, немного мрачноватое. Сперва она не поняла, что он имеет в виду, а когда поняла, то просто не знала, что сказать.

— Кулаки и ножи — это последнее дело, — сказал он и, возможно, сам услышал, как напыщенно и хвастливо у него это получилось, потому что со смехом повернулся к Люс и пожал плечами, — ...а словами в таких случаях делу тоже не поможешь!

Они вышли из тени какого-то дома на ровный золотистый свет. Солнце лежало расплавленной кляксой между темным морем и темными тучами, крыши Столицы горели неземным огнем. Трое подростков остановились, глядя на это великолепие света и тьмы на западном краю неба. Морской ветерок, пахнувший солью, простором и древесным дымком, коснулся их лиц холодным дыханием.

— Разве ты не видишь? — сказал Лев. — Ты ведь можешь увидеть — можешь понять, как это должно быть и что есть на самом деле?

И она увидела — его глазами увидела красоту и величие той Столицы, какой она должна была быть.

Но волшебное мгновение промелькнуло. И хотя ореол величия и красоты все еще пылал меж морем и грозовой тучей, а Столица по-прежнему стояла позлащенная и зачарованная на том вечном берегу, однако на улице за их спинами уже слышались чьи-то голоса, кто-то их окликнул. Оказалось, что это девушки из Шанти-тауна, которые задержались в школе, помогая классным надзирательницам убирать классы. Они ласково поздоровались с Люс, но, как и Тиммо, вели себя несколько настороженно. Чтобы попасть домой, в центр Столицы, ей нужно было сворачивать налево; их путь лежал направо, через холмы и дальше по дороге в Шанти.

Когда она шла по крутой улочке вниз, то на минутку оглянулась, чтобы посмотреть, как они, поднимаясь, удаляются от нее к противоположному концу. Девушки были одеты в брючные рабочие костюмы, яркие, но не чересчур. Столичные девушки всегда фыркали при виде жительниц Шанти, носивших брюки; однако сами старались шить свои юбки из тканей, изготавливаемых в Шанти, если удавалось достать их: тамошние ткани были куда тоньше и лучше окрашены, чем столичная продукция. У юношей и брюки, и куртки с длинными рукавами и воротником-стойкой были кремовато-белыми, из настоящего шелка-сырца. Голова Льва с пышной мягкой шапкой черных волос очень выделялась на этом светлом фоне. Он шел позади остальных рядом с Южным Ветром, красивой девушкой с тихим голосом. По тому, как была повернута его голова, Люс могла догадаться, что он слушает этот тихий голос и улыбается.

— Сволочи! — вскричала вдруг Люс и рысью припустила по улице. Длинная юбка била ее по щиколоткам. О воспитании Люс слишком хорошо позаботились, чтобы она знала ругательства. Она знала слово «черт!», потому что отец произносил его даже в присутствии женщин, если бывал раздражен, однако сама никогда этого слова не употребляла — оно было собственностью отца. Но Эва уже давно, несколько лет назад сообщила ей, что «сволочь» — тоже очень плохое слово, так что Люс пользовалась им, когда бывала одна.

И тут вдруг, материализовавшись из ничего, подобно уотситу, горбатая, с глазами-бусинками и чуть ли тоже не покрытая перьями, перед ней возникла ее дуэнья, тетушка Лорес, которая, как Люс надеялась, не выдержала и пошла домой одна еще с полчаса назад.

— Люс Марина! Люс Марина! Где ты была? Я ждала, ждала... я уж и в Каса Фалько сбегала, потом обратно в школу... Ну где же ты пропадала? И почему ты бродишь тут совсем одна? Да не торопись ты так, Люс Марина, у меня уже дух вон.

Но Люс и не подумала идти помедленней, несмотря на стоны несчастной дуэньи. Она упорно мчалась к дому, стараясь скрыть подступившие слезы, слезы гнева и отчаяния. Ну почему ей нельзя пройти по улице в одиночестве?! Почему она никогда ничего не может сделать сама?! Почему здесь всем заправляют мужчины?! Конечно, они устроили так, как нравится им. И все женщины на их

стороне. И девушкам из хороших семей запрещено ходить одним по улицам Столицы; еще бы, ведь их может оскорбить, например, какой-нибудь пьяный рабочий. А что, если бы это случилось в действительности? Бедняга тогда попал бы в тюрьму, и ему непременно отрезали бы уши. Ничего себе, хорошенькая перспектива! В подобном случае и репутация самой девушки была бы уничтожена. Ибо ее репутация была тем, что думали о ней мужчины. А мужчины могли думать о ней все что угодно, делать все что угодно, управлять всем чем угодно, создавать все что угодно, например, создавать законы и нарушать их, но всегда наказывать других, осмелившихся эти законы нарушить. И во всем этом не было места женщинам. Столица была создана не для женщин. Нигде, нигде здесь у них не было ни своего места, ни права — лишь в собственной комнате, в полном одиночестве.

Да, любой житель Шанти-тауна куда свободнее, чем она, Люс. Даже Лев, который не захотел драться из-за футбольного мяча, зато бросил вызов ночи, когда та выросла над краем мира; и Лев над законами Столицы смеялся. Даже Южный Ветер, всегда тихая и мягкая, даже она могла гулять, где хочет, и пойти домой с любым человеком, который ей приятен, рука об руку через поля, где дует вечерний ветерок, словно убегая от приближающегося дождя...

Дождь выбивал барабанную дробь по черепице, когда она укрылась на чердаке впервые, три года назад, в тот день едва добравшись домой. А тетушка Лорес тащила за ней всю дорогу, пыхтя и причитая.

Дождь барабанил по черепице, когда она укрылась на чердаке и сегодня.

Три года пролетело с того вечера, залитого золотистым светом. Пролетело совершенно незаметно. Хотя теперь событий в ее жизни еще меньше, чем тогда. Три года назад она еще ходила в школу; она верила, что когда ее закончит, то благодаря какому-нибудь волшебству станет свободной.

Тюрьма. Вся Виктория — это тюрьма, темница. И нет из нее выхода. Некуда пойти.

Только Лев сумел уйти, вырваться, нашел какое-то новое место далеко на севере, в диком краю, где можно жить свободно... И, вернувшись оттуда, он смело встал перед Хозяином Фалько и прямо сказал ему: «Нет!»

Но Лев-то всегда был свободен! Именно поэтому, когда она с ним рассталась, окончив школу, в ее жизни больше ни разу не возникало ощущения свободы — ни разу с тех

пор, как она стояла с ним на холме, глядя на Столицу, залитую золотистым светом солнца в преддверии грозы, и вместе с ним видела, чувствовала, что такое свобода. Но то был один лишь миг. Порыв ветра, взгляд друг другу в глаза...

Уже больше года она даже и не видела его. Он ушел отсюда, вернулся в Шанти-таун, отправился в далекий поход, к тому новому месту в диком краю; он ушел отсюда свободным, забыл ее. Да и с какой стати ему ее помнить? С какой стати ей вспоминать о нем? Ей и без него есть о чем подумать. Она взрослая женщина. И вынуждена смотреть в лицо собственной судьбе. Даже если судьба сулит ей на всю жизнь лишь запертые двери, а за этими запертыми дверями — ничего!

Глава 3

Между двумя людскими поселениями на планете Виктория было шесть километров. И больше там, насколько это было известно жителям Шанти-тауна и Столицы, не жил из людей никто.

Те, кто по работе был связан с рыболовством и вялением рыбы, часто ходили из Шанти в Столицу, и обратно, однако большая часть жителей Столицы никогда не посещала Шанти, как и те, кто жил в Шанти и в деревнях, окружавших его, почти никогда не ходили в Столицу.

Пятеро шантийцев — четверо мужчин и одна женщина — шли по дороге, ведущей в Столицу, и остановились на холмах у самой ее границы; они смотрели вокруг с живым любопытством и даже с восхищением, ибо сейчас им была видна вся Столица, раскинувшаяся на холмистом берегу Залива Мечты. Они остановились как раз возле Памятника — керамической оболочки одного из тех кораблей, которые принесли на Викторию первых поселенцев, — однако не стали слишком внимательно рассматривать монумент; он, конечно, впечатлял своими размерами, однако был похож на скелет и вызывал скорее жалость, хотя и стоял на вершине холма и храбро задирал свой нос к звездам; служил он главным образом указателем для рыбацких лодок, вышедших в море. Нет, этот памятник, эта принесшая их ракета была мертва; а Столица была жива.

— Вы только гляньте, — сказал Хари, старший в группе. — Хоть целый час сидите здесь, все равно всех домов не сосчитаете! Их там сотни и сотни!

— В точности как в городах на Земле, — отметил с особой гордостью более часто бывавший здесь его спутник.

— Моя мать родилась в Москве, в России, — сказал третий мужчина. — Она говорила, что наша Столица там, на Земле считалась бы всего-навсего небольшим городком. — Но это показалось чересчур неправдоподобным его товарищам, чья жизнь проходила меж залитых водою полей и беспорядочно разбросанных деревенских домов, в тесной и постоянной зависимости от собственного тяжелого труда и тесного сотрудничества с соседом, и вне этого их мирка лежали необъятные, равнодушные дикие края чужой планеты.

— Ну вряд ли, — мягко и с легким недоверием возразил ему один из них. — Наверное, она хотела сказать: большим городом?

Так они и стояли в тени пустой оболочки космического корабля, глядя на яркие, чуть ржавого оттенка крыши домов, крытых черепицей или красными листьями тростниковой пальмы, на поднимавшийся вверх дым от каминных труб, на геометрически правильные линии улиц, и совсем не хотелось им смотреть на широкий простор пляжей, на прекрасный залив и океан — эти пустые долины, пустые холмы, пустые небеса, пустые воды, что окружали Столицу своим величественным безлюдьем, были им совершенно чужды.

Стоило им спуститься с холмов и пройти мимо здания школы на центральные улицы, как они полностью позабыли о присутствии дикой природы. Со всех сторон их окружали творения рук человеческих. Дома с маленькими окнами, в основном из грубого камня, выстроились по обе стороны улицы, окруженные высокими стенами. Улицы были довольно узкие и почти по колено залитые грязью. Кое-где через особенно глубокие лужи были перекинута хлипкие дощатые мостки, ставшие от бесконечных дождей ужасно скользкими. Прохожих на улицах почти не было, но порой открытая дверь давала возможность заглянуть в кишачие людьми дома, полные женщин, развешанного белья, детей, кухонного чада и голосов. Затем — снова теснота улиц и зловещая тишина.

— Удивительно! Замечательно! — вздыхал Хари.

Они прошли мимо фабрики, где плавил железную руду, добываемую в правительственных шахтах, а затем изготавливали различные детали, кухонную утварь, дверные засовы и тому подобное. Ворота были распахнуты настежь, и шантйцы замерли перед ними, не в силах отвести глаза от

раскаленной тьмы, освещаемой лишь искрами огней и звенящей от грохота молотов и молотков, однако какой-то рабочий заметил их и крикнул, чтоб проходили. И они послушно поплелись дальше к улице Залива, и, добравшись до нее, такой длинной, широкой и прямой, Хари снова воскликнул: «Замечательно!» Мужчины шли следом за Верой, которая хорошо ориентировалась в Столице, к Капитолию. Завидев Капитолий, Хари совсем лишился дара речи и только глядел на него во все глаза.

Это было самое большое здание на планете — раза в четыре выше любого дома — и построенное из камня. Его высокий портик поддерживали четыре колонны, и каждая была вырезана из цельного ствола гигантского дерева-кольца, украшена резьбой и отмыта добела. Тяжелые капители тоже были украшены обильной резьбой и позолочены. Посетители чувствовали себя козявками, проходя меж этих колонн, в эти широкие великолепные ворота неимоверной вышины. Вестибюль был довольно узкий, но с очень высокими потолками, оштукатуренными и побеленными стенами, которые еще в давние времена украсили фресками от пола до потолка. При виде всего этого великолепия жители Шанти снова остановились и молча уставились на фрески, ибо на них была изображена Земля.

В Шанти еще оставались люди, которые помнили Землю и с удовольствием о ней рассказывали, однако их воспоминания пятидесятилетней давности были в основном детскими, потому что покинули они Землю детьми. Сейчас были живы всего несколько человек, ко времени высылки успевших стать взрослыми. Некоторые из них потратили не один год, прилежно записывая историю Народа Мира, речи и высказывания его вождей и героев, составляя описания Земли и делая экскурсии в ее далекое и ужасное прошлое. Другие старались вообще не говорить о Земле; самое большее — пели своим детям или внукам, родившимся в изгнании, старинные песни с незнакомыми словами и именами людей или рассказывали им странные сказки о детях и ведьме, о трех медведях, о каком-то царе, что ездил верхом на тигре. Дети слушали, округлив от любопытства глаза. «А что такое медведь? А этот царь тоже был полосатый?»

Что же касается Столицы, то первое поколение ее жителей, сосланное на планету Виктория за полвека до появления там представителей Народа Мира, прибыло главным образом из крупных городов Земли — Буэнос-Айреса, Рио,

Бразилиа и прочих культурных и промышленных центров Бразиль-Америки; некоторые из этих людей были на Земле поистине могущественными людьми, обладали и властью, и богатством, и знакомство водили с куда более странными вещами, чем какие-то ведьмы и медведи. Так что неведомый художник изобразил на фресках Капитолия такие сцены, которые казались совершеннейшим чудом тем жителям Шанти, что сейчас смотрели на них: башни со множеством окон, улицы, заполненные машинами на колесах, небеса, полные крылатых машин; женщин в мерцающих, увешанных драгоценностями одеждах, с ярко-красными, как кровь, губами; мужчин, высоких мужественных героев, совершающих немыслимые вещи — сидящих верхом на огромных четвероногих чудовищах или за какими-то большими блестящими ящиками; призывающих куда-то огромные толпы людей; шагающих среди мертвых тел и луж крови во главе построенных рядами других мужчин, одетых совершенно одинаково, под небесами, затянутыми дымом и озаренными вспышками огней... Гости из Шанти должны были либо простоять там, рассматривая фрески, по меньшей мере неделю, либо сразу и побыстрее пройти дальше, ибо опаздывать на заседание Совета не полагалось. Но они все-таки еще раз остановились все вместе у последней фрески, которая сильно отличалась от остальных. Вместо бесконечных лиц, огня, крови и всяческих машин на ней была изображена тьма. Внизу, в левом ее углу светился маленький голубовато-зеленый диск, а высоко, в правом углу — другой; между ними и вокруг них — лишь пустота и чернота. И, лишь внимательно присмотревшись, можно было разглядеть, что чернота эта посверкивает бесчисленными крошечными звездочками; а потом вы замечали и прекрасно нарисованный серебристый космический корабль, не длиннее кусочка состриженного ногтя, как бы подвешенный в пустоте между этими мирами.

Сразу же за последней фреской находилась дверь, возле которой стояли два стражника, весьма впечатляющей наружности и одетые совершенно одинаково — в широкие штаны с ремнями, короткие кожаные куртки и высокие ботинки. У них были при себе не только плетки, но и ружья: длинные мушкеты с украшенным ручной резьбой ложем и тяжелым стволом. Большая часть жителей Шанти, разумеется, слышала о ружьях, но никогда их не видела, так что гости уставились на них с любопытством.

— Halt! — рявкнул один охранник.

— Что? — переспросил Хари. Жители Шанти давно уже усвоили основной язык Столицы, поскольку и сами были представителями самых различных рас и народов и им тоже требовался некий единый язык общения как между собой, так и с жителями Столицы; однако некоторые старики так и не успели выучиться кое-каким ставшим привычными для столичных жителей словечкам. Хари, например, никогда не слышал слова «halt».

— Стойте здесь, — сказал охранник.

— Хорошо, — согласился Хари. — Мы должны подождать здесь, — пояснил он остальным.

Из-за закрытых дверей Зала Заседаний доносились голоса выступавших. Вскоре гости из Шанти снова разбрелись по вестибюлю, рассматривая фрески и ожидая, когда их пригласят в зал; охранники тут же велели им собраться и ждать у дверей всем вместе. Наконец двери распахнулись, и делегацию из Шанти под охраной ввели в зал, где шло заседание правительства планеты Виктория; это было обширное помещение, залитое сероватым светом, проникавшим из окон, сделанных очень высоко, почти под потолком. На дальнем конце зала, на возвышении, полукругом стояли десять кресел; на стене за ними висело красное полотнище с голубым диском посередине и десятью желтыми звездами вокруг него. В зале на скамьях сидели еще десятка три человек. Из тех десяти кресел, что стояли на сцене, занято было только три.

Курчавый человек, что сидел за маленьким столиком рядом со сценой, встал и объявил, что делегация из Шанти-тауна испросила разрешения обратиться к Верховному Пленуму Конгресса Виктории.

— Разрешение предоставлено, — сказал один из людей на сцене.

— Пройдите вперед... нет, не здесь, сбоку... — зашептал курчавый человек и суетился до тех пор, пока не устроил делегацию там, где считал нужным: возле сцены. — Кто из вас будет выступать?

— Она, — сказал Хари, кивнув в сторону Веры.

— Сообщите ваше имя так, как оно записано в Национальной Регистратуре. Вы должны называть конгрессменов «джентльмены», а Советников — «ваше превосходительство», — зашептал курчавый чиновник, хмурясь от волнения. Хари наблюдал за ним с добродушным любопытством,

словно тот был чем-то вроде сумчатой летучей мыши. — Ну, давайте же, начинайте! — снова засуетился чиновник, потя.

Вера сделала шаг вперед:

— Я Вера Адельсон. Мы пришли, чтобы обсудить с вами наши планы по отправке группы людей на север с целью создания там нового поселения. В течение нескольких последних дней у нас не хватало времени — в связи с уборкой урожая — как следует обсудить этот вопрос, поэтому и возникло некоторое недопонимание наших идей. Теперь все улажено. Ян принес копию карты, которую хотел получить Советник Фалько, и мы рады предоставить ее для ваших архивов. Участники экспедиции просили предупредить, что карта недостаточно аккуратно выполнена и точна, однако она дает вполне ясное общее представление о тех краях, что расположены к северу и востоку от Залива Мечты; на ней также помечены некоторые приемлемые тропы и броды. Мы от всего сердца надеемся, что она окажется полезной для всего нашего сообщества. — Один из шантийцев протянул чиновнику большой скатанный в трубку лист бумаги, и тот как-то боязливо взял его, предварительно взглядом испросив разрешения у Советников.

Вера в белом брючном костюме из шелка-сырца стояла совершенно спокойно и казалась белой статуей в сероватом свете зала; голос ее звучал ровно.

— Сто одиннадцать лет тому назад правительство Бразилии-Америки впервые выслало на эту планету несколько тысяч человек. Пятьдесят шесть лет назад правительство Канады-Америки тоже выслало сюда две тысячи человек. Эти две группы не смешались друг с другом, однако всегда успешно сотрудничали; и теперь Столица и Шанти, по-прежнему значительно отличаясь друг от друга, стали в весьма большой степени взаимозависимы.

Первые несколько десятилетий для каждой из высланных групп были очень тяжелыми; многие люди умерли. Однако смертей становилось все меньше по мере того, как мы учились жить здесь. Регистрационный лист в течение многих лет, к сожалению, не заполнялся, однако мы оцениваем население Столицы примерно в восемь тысяч жителей, а население Шанти, согласно нашей последней переписи, составило четыре тысячи триста двадцать человек.

На скамьях в зале изумленно заерзали.

— Двенадцать тысяч человек, собравшихся в относительно небольшом районе, прилегающем к Заливу Мечты, — это, по нашим расчетам, максимум того, что данные земли способны прокормить без сверхинтенсивного их использования и постоянной угрозы голода. А потому мы полагаем, что настало время расширить территорию проживания людей и основать по крайней мере еще одно новое поселение. В конце концов, места здесь более чем достаточно.

При этих словах Веры Фалько, восседавший наверху, в кресле Советника, чуть заметно улыбнулся.

— Поскольку Город и Столица не смешивались, а образовали две совершенно отдельные и независимые группы населения, то нам представляется неразумным предпринимать первую попытку создать новый город объединенными усилиями. Пионеры ведь вынуждены будут жить вместе, вместе работать, полностью зависеть друг от друга, и, разумеется, возникнут смешанные браки. В подобных условиях социальное напряжение, которое возникнет при попытках сохранить две различные касты, станет безусловно непереносимым. Впрочем, так или иначе, пока что выразили желание участвовать в экспедиции и строительстве поселения только жители Шанти.

На север намерены отправиться около двухсот пятидесяти семей, то есть примерно тысяча человек. Разумеется, они уйдут не все сразу, но в два-три приема. По мере того, как они будут уходить, их места на фермах будут заполняться молодежью, которая остается здесь; кроме того, поскольку Столица тоже явно становится перенаселенной, возможно, некоторые столичные семьи тоже захотят переехать в наши края. Мы будем им только рады. Должна отметить, что даже если пятая часть наших жителей сразу отправится на север, то никакого уменьшения производства продуктов питания не произойдет; к тому же тогда придется кормить на тысячу ртов меньше.

Таков вкратце наш план. Мы твердо уверены, что путем целенаправленного совместного обсуждения, высказывания критических замечаний и стремления достичь истины можно прийти к полному соглашению, тем более что данный вопрос касается нас всех.

Некоторое время в зале царила тишина.

Какой-то мужчина встал со скамьи, собираясь что-то сказать, однако тут же поспешно сел, увидев, что намерен выступить Советник Фалько.

— Благодарю вас, сеньора Адельсон, — сказал Фалько. — О решении Совета вам сообщат позже. Сеньор Браун, каков следующий пункт нашей повестки дня?

Курчавый чиновник яростно махал одной рукой, пытается привлечь внимание шантийцев, а другой рукой в это время пытался что-то откопать среди бумаг на своем столике. Оба охранника быстро подошли и встали рядом с Верой и ее спутниками.

— Пошли! — приказал один из охранников.

— Извините, — вежливо возразила ему Вера. — Я еще не закончила. Советник Фалько, между нами, боюсь, снова возникло некоторое недопонимание. Мы ведь пришли сообщить вам, что для себя уже приняли решение, и решение весьма взвешенное. Так что теперь дело за вами, ибо ни мы, ни вы не можем предпринимать подобные действия в одиночку, поскольку решение этого вопроса касается всех нас, вместе взятых.

— Это, видимо, вы не совсем понимаете ситуацию, — сказал Фалько, глядя куда-то поверх Вериной головы. — Вы свое предложение уже внесли. Решение вопроса о новом поселении — это дело правительства Виктории.

Вера улыбнулась:

— Я понимаю, вы не привыкли, чтобы на ваших собраниях выступали женщины; возможно, будет лучше, если от нашего имени далее станет говорить Ян Серов. — Она отступила назад, и крупный светлокожий мужчина занял ее место.

— Видите ли, — проговорил он, как бы продолжая незаконченную Верой фразу, — сперва мы вместе должны решить, что нам нужно и как этого добиться, а уж потом приступить к конкретным действиям.

— Данный вопрос закрыт, — объявил лысый Советник Хелдер, сосед Фалько слева. — Если вы будете продолжать мешать работе Пленума, вас придется вывести из зала силой.

— Мы не мешаем работе, мы как раз пытаемся работать с вами вместе! — удивился Ян. Он не знал, куда девать руки, неловко висевшие вдоль тела; кулаки были наполовину сжаты, словно тосковали по ручке мотыги. — Мы непременно должны обговорить этот вопрос окончательно.

Очень тихо Фалько приказал:

— Стража!

Когда охранники с угрожающим видом вновь приблизились, Ян озадаченно посмотрел на Веру, но тут вдруг заговорил Хари:

— Ох, пожалуйста, Советник, успокойтесь! Мы всего и хотим-то немного поговорить по-человечески, разве вы не видите?

— Ваше превосходительство! Пусть этих людей выведут отсюда! — крикнул какой-то мужчина со скамьи в зале; остальные тоже стали выкрикивать что-то, словно только ради того, чтобы таким образом быть услышанными теми, кто сидел на сцене. Жители Шанти стояли спокойно, хотя Ян Серов и юный Кинг довольно обеспокоенно поглядывали на злобные орущие физиономии сидящих в зале. Фалько о чем-то посоветовался с Хелдером, потом знаком приказал что-то одному из охранников, и тот бегом бросился к двери. Фалько поднял руку, призывая соблюдать тишину и порядок.

— Вы должны понять, — сказал он почти мягко, — что не являетесь членами правительства, а напротив — ему подчиняетесь. Что-то «решить», принять какой-то «план» против воли правительства — безусловно, акт неповиновения закону. Чтобы это стало окончательно ясно вам и вашему народу, вы будете задержаны и останетесь здесь до тех пор, пока мы не убедимся, что восстановлен нормальный порядок.

— Что значит «задержаны»? — шепотом спросил Хари у Веры, которая ответила: «Посажены в тюрьму», и Хари понимающе кивнул. Он родился в тюрьме, в Кан-Америке; тюрьмы он не помнил, однако очень своим прошлым гордился.

Теперь в зал вошли уже целых восемь охранников и, толкаясь, начали оттеснять шантийцев к двери.

— В затылок друг другу! А ну поторапливайтесь! Да не вздумайте бежать! — командовал офицер. Ни один из пяти делегатов не проявил ни малейшего желания сбежать, оказать сопротивление или запротестовать. Юный Кинг, подталкиваемый нетерпеливым охранником, сказал только: «Ох, простите», как если бы в суете нечаянно наступил кому-то на ногу.

Охранники провели их к выходу через вестибюль, мимо фресок, под могучие колонны портика и на улицу. Там они остановились.

— Куда их? — спросил один из охранников.

- В тюрьму.
- И ее тоже?

Все они дружно уставились на Веру, чистенькую, хрупкую, в белом шелковом костюме. Она тоже смотрела на них со спокойной заинтересованностью.

— Босс велел в тюрьму, — сказал, нахмурившись, офицер.

— Езус-Мария, сэр, мы же не можем сунуть ее в одну из этих камер! — воскликнул маленький остроглазый охранник со шрамом через все лицо.

— Так босс велел.

— Но посмотрите, сэр, это же дама!

— Ну так отведи ее в Каса Фалько, и пусть босс сам решает, когда вернется, — предложил другой охранник, похожий на близнеца того, со шрамом.

— Даю вам слово, что никуда не убегу из того места, куда вы решите меня поместить, — сказала Вера, — но я предпочла бы остаться со своими товарищами.

— Пожалуйста, сеньора, хоть вы заткнитесь! — замотал головой офицер. — Ну хорошо. Вы двое отведите ее в Каса Фалько.

— Остальные тоже дадут вам честное слово, если... — начала было Вера, но офицер повернулся к ней спиной и заорал:

— Ну все, хватит! Ступайте! В затылок друг другу!

— Сюда, сеньора, — сказал человек со шрамом.

На углу Вера остановилась и подняла руку, прощаясь со своими четырьмя спутниками, видневшимися уже на дальнем конце улицы. «Мир! Мир!» — оживленно закричал ей в ответ Хари. Охранник со шрамом что-то пробормотал и яростно сплюнул в сторону. Оба сопровождавших ее человека имели такую внешность, что Вера непременно испугалась бы, встретить она их одна где-нибудь на улицах Столицы, однако сейчас они шли рядом с нею, и их желание защитить ее было совершенно очевидным даже по их походке. Она догадалась: они воображают себя ее спасителями.

— А эта ваша тюрьма действительно так отвратительна? — спросила она.

— Пьянь, драки, вонь, — кратко ответил человек со шрамом, а его близнец подтвердил это энергичным мрачным кивком. — Там не место для настоящей леди, сеньора.

— А для мужчин там место? — поинтересовалась она, но ни тот, ни другой не ответили.

До Каса Фалько от Капитолия нужно было пройти всего три улицы. Вера увидела просторный приземистый белый дом с красной черепичной крышей. Пышненькая горничная, открывшая двери, страшно разволновалась при виде двух солдат и незнакомой сеньоры; вежливо присев перед ними, она тут же улетучилась, бросив их на крыльце и бормоча под нос: «Ох, Езус-Мария! Езус-Мария!» Ждать пришлось довольно долго, так что Вера успела поговорить с обоими охранниками и выяснить, что они действительно близнецы, зовут их Эмилиано и Анибал, им нравится работа в охране, потому что платят хорошо да и сам себе командир в свободное время, однако Анибал — тот, что со шрамом — очень не любил, когда приходилось долго стоять: от стояния у него болели ступни и распухали суставы. Наконец к ним вышла какая-то девушка, очень стройная и румяная, в пышной длинной юбке.

— Я сеньорита Фалько, — сказала она, быстро взглянув на охранников, однако обращаясь именно к Вере. Вдруг лицо ее вспыхнуло. — Ой, сеньора Адельсон, я вас не сразу узнала! Простите! Входите, пожалуйста.

— Все это действительно очень странно, дорогая, только, видишь ли, я тут не гостя, я арестована, а эти джентльмены были очень ко мне добры. Они решили, что тюрьма — не слишком подходящее место для женщины, так что привели меня сюда. По-моему, им тоже следует войти в дом, если войду я, поскольку они обязаны меня сторожить.

Брови Люс Марины уже сдвинулись в абсолютно ровную прямую линию. Какое-то время она стояла молча.

— Они могут подождать здесь, в прихожей, — сказала она. — Садитесь на эти вот сундуки, — предложила она Анибалу и Эмилиано. — А сеньора Адельсон побудет со мной.

Близнецы смущенно двинулись следом за Верой.

— Пожалуйста, проходите, — сказала Люс, вежливо пропуская Веру вперед, и та вошла в гостиную Каса Фалько, обставленную деревянными креслами и пуфиками с мягкими подушками и инкрустированными столиками; увидела красивые мозаичные полы, толстые зеленоватые стекла в окнах и огромные мертвые каминные. Так вот какая у нее тюрьма. — Пожалуйста, садитесь, — сказала ее юная тюремщица, прошла к двери, ведущей куда-то внутрь дома, и крикнула слугам, чтобы затопили камин, зажгли лампы и принесли кофе.

Вера не стала садиться. Когда Люс снова подошла к ней, она посмотрела на девушку с нежностью:

— Дорогая моя, ты так добра и так любезна! Но я ведь действительно арестована — по приказу твоего отца.

— Это мой дом, — сказала Люс. Голос ее звучал так же сухо, как у Фалько. — В этом доме к гостям относятся радушно.

Вера коротко вздохнула и покорно села. Пока они шли по улицам, ее седые волосы растрепал ветер; она пригладила их, положила свои тонкие загорелые руки на колени, сплела пальцы.

— Почему он вас арестовал? — Этот вопрос девушка явно подавить не сумела. — Что вы такого сделали?

— Дело в том, что мы специально пришли из Шанти, чтобы обсудить с членами Совета планы создания нового поселения.

— А разве вы не понимали, что они непременно вас арестуют?

— Мы обсуждали в том числе и эту возможность.

— Но о чем же все-таки был разговор?

— О новом поселении — в общем, о свободе, мне кажется. Но нет, моя дорогая, я действительно не должна говорить об этом с тобой. Я обещала быть примерной узницей, а узники не должны проповедовать свои криминальные идеи.

— А почему нет? — заявила пренебрежительно Люс. — Разве идеи заразны? Как грипп?

Вера засмеялась:

— Да, разумеется... Я уверена, что где-то встречалась с тобой, вот только не помню где.

Та же по-прежнему взволнованная горничная поспешно вошла в гостиную с подносом, поставила его на столик и тут же, задыхаясь от волнения, выбежала снова. Люс налила в красные керамические чашечки черный горячий напиток — его называли кофе, но делали из поджаренных корней местного растения.

— Я год назад приходила в Шанти-таун на фестиваль, — сказала она. Властный суховатый тон исчез, теперь голос ее звучал застенчиво. — Мне хотелось посмотреть танцы. А еще вы два раза выступали у нас в школе.

— Ну разумеется! Ты, Лев и все остальные... Вы ведь вместе учились в школе! Значит, ты знала и Тиммо? А ты знаешь, что он погиб во время этого путешествия на север?

— Нет, я не знала. В диком краю... — проговорила девушка и запнулась. — А Лев... Лев тоже сейчас в тюрьме?

— Мы пришли сюда без него. Ты же знаешь, что во время войны нельзя ставить всех своих солдат в одно и то же место. — Вера оживилась, отхлебнула кофе и поморщилась: вкус его был ей неприятен.

— Во время войны?

— Ну разумеется, войны. Только без настоящего боя. Может быть, стоит это назвать «неповиновением», как выразился твой отец. Может быть, как надеюсь я, это просто недоразумение. — Люс по-прежнему ничего не понимала. — Ты знаешь, что такое война?

— О да. Когда сотни людей убивают друг друга. История Земли, которую мы проходили в школе, прямо-таки напичкана всякими войнами. Но я думала... ваш народ воевать не станет?

— Нет, — согласно кивнула Вера. — Мы не воюем. Во всяком случае, не пользуемся ножами и ружьями. Однако когда мы что-то твердо решаем, то становимся очень упрямыми. А когда это упрямство сталкивается с упрямством других людей, то может возникнуть нечто похожее на войну — борьба идей, та единственная разновидность войны, в которой кто-то действительно способен победить. Поняла?

Совершенно очевидно было, что Люс не поняла почти ничего.

— Ладно, — утешая ее, сказала Вера, — не расстраивайся. Ты все увидишь и поймешь сама.

Дерево-кольцо планеты Виктория вело двойную жизнь. Начинало оно ее в виде единственного быстрорастущего побега с зубчатыми красными листьями. Достигнув зрелости, оно начинало обильно цвести крупными медового оттенка цветами. Уотситы и прочая летучая мелюзга, привлеченная сладостным ароматом, пили сладкий нектар, а заодно и оплодотворяли цветы, забираясь в их горьковато пахнущую сердцевину. Оплодотворенный цветок сворачивался и превращался в круглый с твердой оболочкой плод. На дереве их могли быть сотни, однако они высыхали и опадали один за другим, и в конце концов на одной из самых верхних ветвей оставался только один огромный черный шар в твердой оболочке и с отвратительным запахом, который все рос и рос, пока само породившее его дерево не поникало печально под этим невыносимым бременем. Затем, в один прекрасный день, когда осеннее солнце еще проглядывало сквозь несущиеся по небу тяжелые, напоенные дождем облака, плод являл миру свои необычайные возможности: окончательно созрев и прогретшись солнцем, он взрывался, причем с таким шумом, который можно было услышать за несколько миль. Целое облако пыли и мелких кусочков оболочки плода взлетало в воздух и медленно рассеивалось по ближним холмам. Теперь, казалось, окончательно выполнив свою задачу, дерево-кольцо погибнет.

Однако же вокруг центрального ствола начинали энергично вращаться во влажную, богатую перегноем почву несколько сотен созревших зернышек, вырвавшихся со взрывом из

крепкой оболочки. Через год молодые ростки уже всюду соревновались друг с другом за место для корней, и более слабые погибали. И вот, лет через десять — и потом еще в течение века, а то и двух — на этом месте поднимались от двадцати до шестидесяти деревьев с медного цвета листьями, создавая правильную окружность, центром которой служил давно исчезнувший главный ствол, их породивший. Каждое из деревьев имело свою собственную корневую систему и крону, однако корневые системы их пересекались, а кроны соприкасались. Это было единое дерево-кольцо. Раз в восемь или десять лет деревья в кольце цвели и приносили маленькие съедобные плоды, семечки которых падали на землю вместе с экскрементами поедавших плоды утситов, сумчатых летучих мышей, фарфалий, древесных кроликов и прочих любителей фруктов. Попадая в подходящую почву, такое семечко прорастало и давало одиночный побег; побег вырастал, превращался в дерево и вскармливал единственный плод. Таким образом, весь цикл повторялся снова — от единственного дерева-прародителя к дереву-кольцу и так без конца.

Там, где почва оказывалась особенно благоприятной, деревья росли густо, пересекаясь кольцами, но в любом случае никаких крупных растений в середине кольца не было, только трава, мох и папоротники. Самые старые и мощные кольца настолько истощали землю внутри круга, что она могла даже осесть, и тогда там образовывалась впадина, которая постепенно заполнялась грунтовыми и дождевыми водами, и вскоре круг высоких старых с темно-красными листьями деревьев уже отражался в тихой воде пруда. В центре дерева-кольца всегда было тихо. А старинные кольца, те, в которых посередине был пруд, вообще казались самыми тихими и самыми странными местами на планете.

Дом Собраний Шанти-тауна стоял за пределами самого города, в лощине, как раз возле такого кольца деревьев: сорок шесть стволов вздымались ввысь, как колонны с бронзовыми капителями, отражаясь в тихой воде круглого пруда, которую то морщил дождь, то темнили тучи, а то вдруг она начинала сверкать под солнцем, пробившимся в редкие разрывы между тучами и сквозь темно-красную листву. Корни деревьев у берегов пруда со временем обнажились, и на них было хорошо посидеть и помечтать в одиночестве. Одна-единственная пара цапель жила на этом пруду у Дома Собраний. Цапля с планеты Виктория цапель вовсе

не была; это была даже не птица. Чтобы описать тот мир, в котором они оказались, изгнанники имели в распоряжении термины лишь своего старого мира. Существа, что жили возле таких прудов — всегда по одной-единственной паре на каждом, — были длинноногими, светло-серыми рыболовами: так что они стали цаплями. Первое поколение ЕЩЕ знало, что это никакие не цапли и вообще не птицы, не рептилии и не млекопитающие. Последующие поколения УЖЕ не знали, кем цапли не являются, зато, по-своему, понимали, кто они ЕСТЬ. Они были цаплями и все.

Похоже, цапли эти жили так же долго, как и деревья-кольца. Никто никогда не видел детеныша цапли или ее яйца. Порой они танцевали, но если за танцем и следовало спаривание, то делалось это в глубокой тайне, в ночной тиши дикого края, там, где никто ничего увидеть не мог. Молчаливые, чопорные, элегантные, они устраивали гнезда из красных опавших листьев меж корней деревьев, ловили рыбу и прочих водяных обитателей на мелководье и смотрели — всегда с другого берега пруда — на людей огромными, круглыми глазами, такими же бесцветными и прозрачными, как вода. Они не обнаруживали ни малейшего страха в присутствии человека, но никогда не подпускали к себе слишком близко.

Поселенцы еще не встречали на Виктории ни одного крупного сухопутного животного. Самым крупным из травоядных был «кролик» — толстое, медлительное, действительно отчасти похожее на кролика животное, покрытое тонкой водонепроницаемой чешуей; самым крупным хищником была личинка стрекозы примерно в полметра длиной, красноглазая и с зубами, как у акулы. Будучи пойманными, такие личинки бились и царапались в безумном отчаянии до тех пор, пока не погибали; кролики в неволе отказывались есть, тихо ложились на землю и умирали. В море были, правда, крупные животные; например, «киты» каждую весну заплывали в Залив Мечты и их ловили на мясо. В открытом море встречались и более крупные животные, просто гиганты, похожие на извивающиеся в воде острова. «Киты» эти точно не были китами, но вот кем были или не были те монстры, никто не знал. Они никогда не подплывали близко к рыбацким лодкам. И животные из полей и лесов тоже никогда близко к людям не подходили. Нет, они не убегали. Просто держались на расстоянии. Некоторое время они следили за чужаками своими блестящими

глазами, а потом просто уходили, не обращая на них внимания.

Только ярkokрылые фарфальи и уотситы соглашались порой приблизиться к человеку. Посаженная в клетку, фарфалья складывала крылышки и вскоре умирала; но, если регулярно выставлять для нее блюдечко с медом, фарфалья могла поселиться у вас на крыше, сделать там маленькое, похожее на чайную чашку гнездышко, где, будучи наполовину водным, а наполовину сухопутным животным, она спала. Уотситы, очевидно, полагались исключительно на свою замечательную способность каждые несколько минут менять облик. Порою, впрочем, они выказывали явное желание полетать вокруг человека или даже сесть на него. Их умение менять не только цвет, но и форму тела способно было кого-то обмануть или даже загипнотизировать, и Лев иногда думал с удивлением: не потому ли уотситам так нравятся люди, что на них можно поупражняться в различных трюках? Впрочем, если вы сажали уотсита в клетку, он мгновенно превращался в бесформенный коричневый грязный комок и через два-три часа погибал.

Ни одно из существ, населявших планету Виктория, не желало жить с человеком вместе. Они не подходили к людям близко. Они избегали их; всегда старались ускользнуть и скрыться в затянутых серой дымкой дождя, сладко пахнущих лесах, или в морской глубине, или — в смерти. У них не было ничего общего с людьми. Человек был здесь чужаком. Он не принадлежал их миру.

— У меня был кот, — любила рассказывать маленькому Льву бабушка. — Толстый и серый. С мягкой шерсткой, похожей на волокно здешнего древесного шелкопряда. На лапках у него были черные полоски. А глазищи зеленые. Он любил вскочить ко мне на плечо и уткнуться носом за ухо, чтобы я получше его слышала, и мурлыкал без конца... вот так! — И бабушка издавала глубокий мягкий дрожащий звук, который приводил в полный восторг слушавшего ее малыша.

— Бабуля, а что он говорил, когда бывал голоден? — и Лев затаивал дыхание, ожидая.

— Пуррмяу! Пуррмяу!

Бабушка смеялась, и внук тоже смеялся.

Здесь существовал только один вид таких же, как, он существ. Другие голоса, лица, руки, объятия — таких же, как он, людей. Других таких же людей. Других таких же чужаков в этом мире.

За дверями дома, за небольшими возделанными полями лежали дикие края, бесконечный мир холмов, красной листвы и тумана, где никогда не звучал ничей голос. Заговорить там, вне зависимости от того, что и как ты скажешь, означало объявить: «Я здесь чужой».

— Когда-нибудь, — сказал мальчик, — я пойду в поход и узнаю весь этот мир.

Такая возможность совсем недавно пришла ему в голову, и он был полон мыслями об этом. Он рассказывал, как будет делать карты и все такое, но бабуля не слушала его. И вид у нее был печальный. Он знал, что в таких случаях нужно делать. Нужно тихонечко подобраться и потереться носом у нее за ухом, приговаривая: «Пурр, пурр...»

— Да никак это мой котик Минька? Ну здравствуй, Минька! Ой, это, оказывается, и не Минька! Это, оказывается, Левушка! Вот так так!

Тогда он забирался к ней на колени, и ее большие старые коричневые руки обнимали его. На каждом запястье у нее был красивый браслет из мыльного камня. Ее сын Александр, Саша, отец Льва, вырезал их для нее. «Наручники, — сказал он, когда дарил браслеты ей на день рождения. — Наручники Виктории, мама». И все взрослые тогда смеялись, но у бабушки, хотя и она тоже смеялась, вид был грустный.

— Бабуля, а «Минька» — это было настоящее имя Миньки?

— Ну конечно, глупый.

— А почему?

— Потому что я его назвала Минькой.

— Но ведь у животных имен нет.

— Нет. Здесь нет.

— А почему?

— Потому что мы их имен не знаем, — ответила бабушка, глядя куда-то за поля.

— Бабуля?

— Что? — Ее голос глухо доносился из мягкой груди, на которой он лежал щекой и ухом.

— А почему ты не привезла Миньку сюда?

— Мы ничего не могли взять с собой на космический корабль. Ничего своего. Там не было места. А Минька все равно уже умер к тому времени, как мы сюда долетели. Я была девочкой, когда он был котенком, и я все еще оставалась девочкой, когда он успел состариться и умереть. Кошки ведь долго не живут, всего несколько лет.

— Но люди-то живут долго.

— О да. Очень долго.

Лев смиренно сидел у нее на коленях, воображая себя котом с теплой серой шерсткой, мягкой, как хлопковый пух. «Пурр», — тихонько сказал он, но старая женщина, сидя с ним на порожке, смотрела куда-то поверх его головы — на тот мир, куда была сослана.

И вот сейчас, сидя на широком твердом корне дерева-кольца, на берегу пруда, у Дома Собраний, он думал о бабушке, о том коте, о серебряных водах озера Безмятежного, о горах, окружающих озеро... Ему так хотелось на них взобраться, ему виделось, как, выйдя из-под тумана и дождя, он окажется на ледяной, сверкающей от солнца вершине. Мысли так и роились у него в голове. Он сидел спокойно и неподвижно, он для этого и пришел сюда — чтобы побыть в одиночестве и покое; однако ум его беспокойно метался из прошлого в будущее и снова в прошлое. Лишь на мгновение обрел он душевный покой. Благодаря тем цаплям, которые молча вошли в воду с противоположного берега пруда. Подняв свой узкий длинный клюв, цапля посмотрела на Льва. Он тоже посмотрел на нее и будто утонул в этом круглом прозрачном глазу, таком же бездонном, как безоблачное небо; и само это мгновение тоже показалось ему округлым, прозрачным, исполненным молчания — самое центральное из всех мгновений его жизни, но вечное для этого молчаливого животного.

Цапля отвернулась и наклонила голову, выискивая под водой темное пятно: рыбу.

Лев встал, стараясь двигаться так же бесшумно и ловко, как эта цапля, и вышел за круг деревьев, пройдя между двумя массивными красными стволами, словно в дверь, ведущую в совершенно иной мир. Долина была залита солнечным светом, небо было ветреным и живым; солнце позолотило выкрашенную красным деревянную крышу Дома Собраний, который стоял на южном склоне холма. Там собралось уже довольно много людей, они стояли на ступенях крыльца, на самом крыльце, слышались их голоса, и Лев прибавил шагу. Ему хотелось бежать, кричать. Сейчас не время сидеть в тишине и покое. Сегодня первое утро их битвы, начало их победы.

— Привет! — крикнул ему Андре. — Давай скорей! А то все уже ждут, когда это наш босс Лев наконец заявится!

Лев рассмеялся и побежал; в два прыжка преодолел шесть высоких ступеней крыльца.

— Ну хорошо, хорошо, я опоздал, — сказал он, — но как вы сами-то соблюдаете дисциплину? Где, к примеру, ваши ботинки? А ты, Сэм, что? Полагаешь, вид у тебя приличный? — Сэм, темнокожий плотный человек, на котором кроме легких белых штанов больше ничего не было, спокойно стоял на голове возле перил.

Организацией собрания занимался Илия. Внутрь они не пошли, а уселись снаружи, окружив крыльцо, потому что солнышко грело очень приятно. Илия был настроен весьма серьезно, как и всегда, впрочем, но прибытие Льва всех несколько развеселило, так что дискуссия получилась оживленной, но недолгой. Настроение собравшихся было ясно практически с первой минуты. Илия предлагал отправить в Столицу на переговоры еще одну группу, но больше никто этого не хотел; зато все хотели созвать общее собрание жителей Шанти и надеялись успеть это сделать еще до захода солнца. Молодежь намерена была позаботиться о том, чтобы были извещены и приглашены жители всех, даже самых отдаленных деревень и ферм. Когда Лев уже собирался уходить, Сэм, который с самым безмятежным видом так и простоял на голове все это время, одним изящным легким движением встал на ноги и, улыбаясь, сказал Льву:

— О, Арджуна, это будет великая битва!

Лев, голова которого была занята десятками различных вещей, только улыбнулся ему и рысцой помчался прочь.

Кампания, которую проводили сейчас жители Шанти, была для них совершенно новым делом и тем не менее в чем-то им знакомым. Все они — еще со школы и на своих собраниях — давно усвоили основные принципы и тактику мирной борьбы; они знали биографии великих героев-философов Ганди и Кинга, их учения, а также историю возникновения Народа Мира. В ссылке Народ Мира продолжал исповедывать те же идеи и пока что оставался им верен. Шантийцам удалось сохранить собственную независимость ценой того, что они взяли на себя все заботы о снабжении обоих городов Виктории сельскохозяйственными продуктами, щедро и честно делясь ими с соседями. В обмен Столица обеспечивала Шанти кое-какими механизмами и запасными частями, рыбой, которую ловила столичная рыболовческая флотилия, некоторыми другими продуктами, которые значительно легче было производить на фабриках

более старой и благоустроенной колонии. Такой порядок устраивал обе стороны.

Но со временем условия сделки становились все более несправедливыми. Жители Шанти выращивали хлопок и шелковичные деревья и отвозили сырье на столичные ткацкие фабрики. Однако фабрики работали страшно медленно; если жителям города требовалась одежда, то они предпочитали сами спрясть нитки и соткать ткань. Свежая и вяленая рыба, которую они должны были получать в обмен на свои поставки, не поступала. Уловы бедные, объясняли им в Совете. Не поступали и необходимые запчасти для сельскохозяйственных машин. Да, заявили им, Столица производит в том числе и запчасти для ваших машин и уже обеспечила вас ими; если же селяне столь небрежны в обращении с техникой, то пусть сами ее и чинят. Так оно и продолжалось, и жители Шанти постоянно сглаживали острые углы, чтобы не доводить отношения до критической точки. Они шли на любые компромиссы, приспособлялись, чинили, налаживали. Их дети и внуки, теперь уже ставшие взрослыми, никогда в жизни не видели, как возникает социальный конфликт, как ведется сопротивление, хотя именно мирное сопротивление-то и было связующей силой Народа Мира.

Однако же теоретически они знали, как сохранить дух сопротивления. Они впитали эти знания с молоком матери и использовали их во время тех незначительных конфликтов, что возникали в самом Шанти-тауне. Они наблюдали, как старшие мирно возвращаются домой то после самых ожесточенных споров, то после решения сложнейшей проблемы практически без единого возражения. Они учились улавливать здоровое начало подобных обсуждений, а не самые громкие голоса высказывавшихся. Они учились рассуждать спокойно и каждый раз по-разному, как по-разному относиться и к необходимости вести себя покорно в том или ином конкретном случае. Они усвоили, что всякий акт насилия есть проявление слабости, что сила духа прежде всего в том, чтобы как можно тверже держаться истины.

По крайней мере, они верили в справедливость этих идей и считали, что уроки свои знают назубок, что никто и ничто не заставит их сбиться, засомневаться, что ни один из них, ни при каких провокациях, не станет прибегать к насилию. Они были в этом уверены и этим были сильны.

— На этот раз нам придется нелегко, — говорила им Вера перед отправкой делегации в Столицу. — Вы ведь понимаете это?

Они кивали, улыбались, подбадривали ее. Ну разумеется, будет нелегко. Ради легких побед и стараться не стоит.

Переходя с фермы на ферму на юго-западной окраине Шанти, Лев приглашал людей на большое собрание и отвечал на их вопросы о Вере и остальных заложниках. Кое-кто из крестьян боялся, что столичные жители могут в следующий раз применить силу, и Лев тогда говорил:

— Да, они могут это сделать, могут сделать и кое-что похуже, чем взять нескольких заложников. Нам не стоит надеяться, что они так вот просто согласятся с нашими доводами, тем более когда мы выразили свое несогласие с Советом. Теперь нам предстоит серьезная борьба.

— Но они вооружены... у них ножи... и еще у них есть... знаешь, где секут кнутом, — прошептала испуганно одна из женщин. — Они там своих воров наказывают и... — Она не договорила. Все остальные стыдливо прятали глаза и выглядели весьма смущенными.

— Они попались в ловушку того самого насилия, которое применили к ним, заставив оказаться здесь, — сказал Лев. — А мы в эту ловушку не попадемся. Если будем твердо держаться своих убеждений, если будем едины, если будем все вместе. Тогда они увидят нашу силу; увидят, что мы сильнее их. Вот тогда они и начнут к нам прислушиваться. И сами поймут, что такое настоящая свобода. — Его оживленное лицо и звонкий голос внушали такое доверие, он говорил настолько простые, ясные и правдивые вещи, что крестьяне тоже начали смелее смотреть вперед и грядущая конфронтация со Столицей представлялась им уже не такой ужасной. Два брата, получившие свои имена еще во время Долгого Марша, Лион и Памплон, особенно воодушевились; Памплон, отличавшийся особенным простодушием, все утро следовал за Львом по пятам с фермы на ферму, чтобы еще разок послушать его рассказы о планах сопротивления Столице.

После полудня Лев работал вместе с отцом и тремя соседскими семьями на рисовом поле; последний урожай уже созрел, и его нужно было убрать во что бы то ни стало. Потом отец отправился ужинать к приятелям, а Лев — к Южному Ветру. Она давно уже вернулась от матери в свой маленький домик на западной окраине города, который

они с Тиммо построили после свадьбы. Домик стоял очень уединенно среди полей, однако до ближайшей группы домов от него было не так далеко. Лев, Андре или Италия, жена Мартина, а то и все трое вместе, частенько заходили туда поужинать, принося с собой что-нибудь из еды.

Лев и Южный Ветер поели вместе, сидя на крыльчке и любуясь теплым золотым осенним вечером, а потом вместе пошли к Дому Собраний, где уже собралось сотни две-три шантйцев, и с каждой минутой люди все подходили и подходили.

Каждый знал, зачем он здесь: чтобы подтвердить другим свою общность с ними и решить, что им следует делать дальше. Настроение у собравшихся было праздничным и несколько возбужденным. Люди по очереди поднимались на крыльцо и выступали, но мысль звучала примерно одна и та же: «Мы сдаваться не собираемся и не позволим расправиться с заложниками!» Когда наконец заговорил Лев, его приветствовали радостными криками: это был внук великого Шульца, возглавившего Долгий Марш, исследователь дикого края и, наконец, просто всеобщий любимец. Однако радостные крики вдруг смолкли; в толпе, теперь насчитывавшей более тысячи людей, возникло замешательство. Спустилась тьма, а электрические лампы на Доме Собраний, питавшиеся от городского генератора, светили так слабо, что с крыльца не было видно, что происходит на фланге. Приземистый, массивный черный предмет, казалось, самостоятельно продвигался сквозь толпу, но, когда он приблизилось, стало ясно, что это отряд охранников из Столицы, построенных очень тесно и движущихся, как монолит. Из «монолита» время от времени вылетало рычание: «Собрания... приказ... угроза» — иных слов было не разобрать, они тонули в шуме толпы, ибо потрясенные шантйцы начали тут же задавать друг другу вопросы. Лев, стоявший прямо под фонарем, призвал собравшихся к порядку, люди притихли, и стал слышен громкий голос, монотонно повторявший:

— Массовые митинги запрещены. Все должны немедленно разойтись. Собрания политического характера запрещены по приказу Верховного Совета под угрозой тюремного заключения и последующего сурового наказания. Немедленно разойдитесь! Ступайте по домам!

— Никуда мы не пойдем! — слышались выкрики в толпе. — С какой стати? Какое они имеют право?

— Немедленно разойдитесь по домам!

— А ну тихо! — рывкнул Андре таким басом, какого от него никто не ожидал. Тут же воцарилась тишина, и он, как всегда невнятно, буркнул Льву: — Ну теперь давай, говори.

— Представители Столицы имеют полное право высказаться на нашем собрании, — сказал Лев громко и ясно. — И быть выслушанными. И, только выслушав их, мы можем с чем-то не согласиться, однако всегда должны помнить о своем решении никому не угрожать ни словом, ни делом. Мы не станем проявлять ни гнева, ни злобы по отношению к людям, которые пришли сюда. Им мы тоже предлагаем лишь дружбу и любовь к истине!

Он посмотрел на охранников, и офицер по-прежнему монотонно поспешил повторить приказание разойтись. Ответом на его слова была полная тишина. Тишина тяжело повисла над собравшимися. Никто более не сказал ни слова. Никто не пошевелился.

— Ну хватит, довольно! — нарочито громко рывкнул офицер. — Пошевеливайтесь! Все по домам! Живее!

Лев и Андре переглянулись, скрестили руки на груди и... уселись. Упорный, стоявший с ними рядом, тоже сел; сели и Южный Ветер, Илия, Сэм, Сокровище и остальные. Люди внизу тоже начали садиться. В желтоватых полосах света мелькали темные тени; черные фигуры людей как бы складывались пополам с легким шорохом; порой кое-где слышался шепоток или детский смех. Буквально через полминуты все шантйцы уже сидели. Никто из них не остался стоять — стояли только охранники, двадцать тесно прижавшихся друг к другу человек.

— Я вас предупреждал! — выкрикнул офицер, и голос его звучал одновременно обвиняюще и растерянно. Он явно не знал, как ему быть с этими людьми, молча сидевшими на земле и смотревшими на него с миролюбивым любопытством — точно дети на кукольном спектакле, где сам он выступает в роли марионетки. — Сейчас же встать и разойтись! Иначе я приступаю к арестам!

Никто не сказал ни слова в ответ.

— Ну хорошо. Арестовать тридцать... двадцать человек, что сидят в первых рядах! Встать! Эй вы, встать, кому говорят!

Те, к кому он обращался непосредственно, а также те, кого тронули за плечо охранники, встали и стояли спокойно.

— А можно, моя жена тоже пойдет со мной? — шепотом спросил охранника какой-то мужчина — словно боясь нарушить великое глубокое спокойствие толпы.

— И чтобы больше никаких митингов! Приказ Совета! — Офицер выругался и повел свой отряд прочь. Охранники гнали перед собой примерно двадцать пять жителей Шанти. Тьма тут же поглотила людей, ибо была непроницаема для слабого света электрических фонариков.

За спинами ушедших толпа продолжала хранить молчание.

Потом над ней взлетел чей-то негромкий голос. К нему присоединились другие голоса. Сперва пение было едва слышным, потом зазвучало все громче. То была старая песня времен Долгого Марша:

О, когда придем,
Когда Свободной Земли достигнем,
Построим город мы...
О, когда придем...

Все дальше во тьму уводили охранники арестованных шантийцев, но пение не смолкало; оно звучало громко, слаженно, в общий хор влились уже сотни и сотни голосов, и песня как колокол звенела над окутанными ночным мраком тихими землями, что лежали между Шанти-тауном и Столицей Викторией.

Двадцать четыре человека из числа арестованных или по собственной воле отправившихся вместе с ними возвратились в Шанти на следующий день к вечеру. Они ночевали в каком-то складе — наверное, в столичной тюрьме не хватило места для такого количества людей, тем более что шестнадцать из них были женщины и дети. Утром состоялось разбирательство, рассказывали они, а потом им велели идти домой.

— Но нам велено уплатить штраф, — важно заявил старый Памплона.

Брат Памплоны, Лион, был отличным садовником, но сам Памплона, человек медлительный и болезненный, никогда особых способностей ни в чем не проявлял. Так что сегодня был день его славы. Он побывал в тюрьме, совсем как Ганди, как Шульц, как герои на Земле. И он тоже стал героем. От этого он весь прямо-таки светился.

— Штраф? — не веря, переспросил его Андре. — Денежный? Они же знают, что их монеты у нас не в ходу...

— Штраф, — терпеливо пояснил ему Памплон, словно недотепа, — означает: мы должны отработать двадцать дней на новой ферме.

— На какой еще новой ферме?

— Не знаю, они создают какую-то новую ферму.

— Наши боссы никак решили сами заняться земледелием? — Все засмеялись.

— Да, неплохо бы! Они ведь, небось, тоже кушать хотят, — подхватила какая-то женщина.

— А что, если вы не пойдете на эту новую ферму?

— Не знаю, — смутился Памплон. — Никто ничего не спрашивал. Нам вроде бы спрашивать не полагалось. Это ведь было настоящее судебное разбирательство. С судьей. И говорил только этот судья.

— А кто был судьей?

— Макмиллан.

— Молодой Макмиллан?

— Нет, старый. Советник. Хотя и молодой тоже там был. Ух и здоров он! Прямо как дерево! И все время улыбается. Хороший парень.

Примчался Лев; он только что узнал о возвращении арестованных. Он обнял тех, кто шагнул ему навстречу, и спросил:

— Значит, вы вернулись... Все?

— Да-да, все вернулись и все в порядке. Теперь можешь спокойно доесть свой ужин!

— А те? Хари и Вера?..

— Нет, те не пришли. Да они их и не видели.

— Хорошо хоть эти-то все вернулись! Они вам ничего не сделали?

Героям дня тут же объяснили, что Лев объявил голодовку до тех пор, пока они не вернутся.

— Да с нами все в порядке! — закричали бывшие пленники. — Пойди скорее поешь чего-нибудь! Что это ты за глупости выдумал!

— Они действительно хорошо с вами обращались? — упорно спрашивал Лев.

— Как с дорогими гостями! — снова высунулся старый Памплон. — Все мы братья, верно? И они нас утром еще и отличным завтраком накормили!

— Ну да, дали наш же собственный рис, который мы сами для них выращиваем! Отличные хозяева, ничего не скажешь! Заперли гостей в каком-то сарае — темнотища, хоть глаз выколи, и холодно, как в погребе. Теперь у меня все кости ломит и ужас как вымыться хочется! У этих охранников вши так и кишат, у одного прямо по шее ползла, я сама видела, здоровенная такая, прямо с ноготь, фу! — скорее бы смыть все это с себя! — Это сказала Кира, миловидная женщина, которая шепелявила, потому что два передних зуба у нее были выбиты; она, правда, утверждала, что по зубам не сучает: они ей якобы только говорить мешали. — Кто меня сегодня переночевать пустит? Не хочется мне домой тащиться, в Восточную Деревню — уж больно тело ломит да еще, небось, добрая дюжина вшей по мне ползает! — Пятеро или шестеро сразу предложили ей горячую воду, постель и еду. Да и ко всем бывшим заложникам отнеслись с особым вниманием.

Лев и Андре молча шли по боковой улочке к дому Льва. Вдруг у Льва вырвалось:

— Слава Богу!

— Да уж, действительно. Но они вернулись! Значит сработало. Вот бы еще Вера, Ян и все остальные тоже вернулись...

— С ними тоже все будет в порядке. Но эти-то... ведь никто из них не был готов к аресту, они о нем даже не думали! Я очень боялся, что их изобьют и они испугаются или рассердятся. Это было бы на нашей совести, ведь мы первыми начали сидячий протест. Их из-за нас арестовали. Но они выдержали. Не испугались, не устроили драку. Они были упорны! — Голос Льва дрогнул. — Это я виноват.

— Мы все виноваты, — сказал Андре. — Хотя никто их не посылал: они пошли сами. Они сами так решили. Ты, Лев, просто очень устал и тебе непременно поскорее нужно поесть. Саша, — крикнул Андре с порога, — заставь своего сына наконец поесть! Заложников накормили в Столице, а теперь ты накорми его.

Саша сидел у очага и полировал песком ручку мотыги. Он быстро глянул на них, и его усы и колючие брови над глубоко посаженными глазами встопорчились.

— Кто может заставить моего сына сделать то, чего он не хочет? — удивился он. — Захочет поесть, так и сам прекрасно кастрюлю с супом найдет.

Глава 5

Сеньор Советник Фалько давал званый обед, во время которого он думал только о том, что лучше бы он этого не делал.

Ему хотелось устроить настоящий прием в старинном стиле — в стиле Старого Мира, с пятью переменами, с изящными нарядами и разговорами, с музыкой. Точно в назначенный час явились старшие мужчины — каждый в сопровождении супруги и одной или двух незамужних дочек. Кое-кто из женатых молодых людей, вроде младшего Хелдера, тоже прибыл вовремя. Женщины в длинных вечерних туалетах, украшенные драгоценностями, собрались группкой возле камина на одном конце зала и принялись болтать; мужчины тоже устроились у камина, но на противоположном конце зала; они тоже надели свои лучшие черные костюмы и чинно беседовали. Казалось, все идет как надо, в точности как в те времена, когда дед Советника Фалько Дон Рамон давал торжественные обеды — в точности такие, как там, на Земле, частенько говаривал Дон Рамон с глубоким удовлетворением и убежденностью. Ведь его отец, Дон Луис, не только родился на Земле, но и был в Рио-де-Жанейро великим из великих.

Однако кое-кто из гостей вовремя на обед не явился. Время шло, а гости по-прежнему запаздывали. Дочь вызвала Советника Фалько на кухню: на лицах поваров было написано полное уныние, ибо великолепный обед мог пропасть. Тогда по команде хозяина в зале мгновенно установили и накрыли длинный стол, гости расселись, и была подана первая перемена. Ее успели съесть, остатки были

унесены, сменили тарелки и подали вторую перемену, когда в дом вошли молодой Макмиллан, молодой Маркес и молодой Вайлер. Они вошли совершенно спокойно, ничуть не смущаясь и даже не извинившись, но, что было еще хуже, привели с собой целую банду приятелей, отнюдь не из числа приглашенных. Их было человек семь или восемь — здоровенные буйволы с плетками за поясом, в широкополых шляпах, которые по своему невежеству даже не удосужились снять, прежде чем войти в дом, в грязных ботинках и с бесконечными громкими грязными разговорами. Пришлось как-то устраивать их за столом, тесня прочих гостей. Эти молодые люди явно здорово выпили перед приходом сюда и тут же принялись вовсю лакать лучший эль Фалько. Они без конца щипали горничных, не обращая ни малейшего внимания на дам. Они орали что-то друг другу через весь стол и сморкались в салфетки, украшенные изысканной вышивкой. Когда настал самый торжественный миг и подали главное мясное блюдо, жареных кроликов — Фалько нанял десять трапперов на целую неделю, чтобы устроить столь роскошное угощение, — опоздавшие с такой жадностью набросились на мясо, наложив себе огромные порции, что после них на блюдах мало что осталось, так что на дальнем конце стола вообще никому не хватило. То же самое произошло и когда подали десерт, фруктовое желе в формочках, приготовленное с помощью крахмала, добываемого из корней здешнего растения, и нектара. Кое-кто из молодых людей выковыривал желе из формочек пальцами.

Фалько подал знак дочери, сидевшей в конце стола, и та увела дам во внутренний садик. В отсутствие женщин молодые грубияны почувствовали еще большую свободу — сидели развалясь, плевали на пол, рыгали, сквернословили и многие уже были пьяны в стельку. Изящные бокалы для брэнди — одна из достопримечательностей благородного Каса Фалько — опустошались с такой скоростью, точно в них наливали воду, и молодые наглецы орали на ошалевших, растерянных слуг, требуя налить еще. Кое-кому из молодых людей иного сорта и мужчин старшего возраста поведение грубиянов явно пришлось по вкусу, а может, они решили, что именно так и следует вести себя на званом обеде, и последовали их примеру. Старый Хелдер, например, так нализался, что едва успел отойти от стола и его вырвало

прямо в углу, однако он тут же вернулся и снова принялся пить.

Фалько и некоторые из его наиболее близких друзей — старший Маркес, Бурнье, доктор — отошли к камину, пытаясь поговорить, однако оглушающий шум, царивший вокруг обеденного стола, доносился и сюда. Кто-то пустился в пляс, кто-то яростно ссорился; музыканты, нанятые для того, чтобы играть после обеда, смешались с гостями и тоже пили вовсю. Молодой Маркес усадил горничную с белым от страха лицом к себе на колени, и она только тихонько шептала: «Ох, Езус Мария! Езус Мария!»

— Ничего себе, веселый у тебя получился приемчик, Луис, — сказал старый Бурнье после очередного кошмарного взрыва веселья, сопровождаемого пением и пронзительными криками.

Все это время Фалько хранил спокойствие; лицо его ничуть не изменилось, когда он ответил:

— Вот одно из доказательств нашего вырождения.

— Мальчишки просто не привыкли к подобным вещам. Только в Каса Фалько и знают, как устроить прием в старинном стиле — такой, как на Земле.

— Они просто выродки, — возразил Фалько.

Его дальний родственник Купер, человек лет шестидесяти, согласно кивнул:

— Увы, мы совершенно утратили земной стиль жизни.

— Ничего подобного! — раздался голос у них за спиной. Все разом обернулись. Это был Герман Макмиллан, один из опоздавших; он жадно пил, ел и орал не меньше остальных, однако особых признаков опьянения сейчас у него заметно, пожалуй, не было, за исключением чересчур яркого румянца на привлекательном юном лице. — Мне кажется, господа, что мы, как раз наоборот, вновь открываем для себя земной стиль. В конце концов, кем были наши предки, прилетевшие сюда из Старого Мира? Уж во всяком случае не слабаками и не рохлями, верно? Это были сильные, смелые, мужественные люди, которые знали толк в жизни. Теперь и мы этому учимся. Чьи-то планы, законы, правила, манеры — какое все это имеет отношение к нам? Разве мы рабы или женщины? Чего нам бояться? Мы настоящие мужчины, свободные люди, хозяева целого мира! И пора нам войти в права собственного наследства, господа. — Он улыбнулся, почтительно и одновременно нагло, абсолютно уверенный в своей правоте.

На Фалько его слова произвели неожиданно сильное впечатление. Кто знает, а вдруг этот совершенно неудавшийся прием еще сможет принести какую-то пользу? Молодой Макмиллан, всегда прежде казавшийся ему всего лишь красивым мускулистым животным, одним из множества возможных претендентов на руку Люс Марины, только что продемонстрировал не только волю и решительность, но и разум — три составляющих характера настоящего мужчины.

— Я согласен с вами, Дон Герман, — сказал он. — Однако только потому, что вы и я все еще в состоянии разговаривать друг с другом. В отличие от большей части наших друзей здесь. Мужчина непременно должен уметь не только пить, но и думать. Поскольку лишь вы один, видимо, оказались способны и на то, и на другое, скажите: как вы относитесь к моей идее создать здесь латифундии?

— Это такие большие фермы?

— Да. Большие фермы: огромные поля, для достижения наибольшей эффективности засаженные одной-единственной культурой. Согласно моему замыслу необходимо выбрать управляющих латифундиями из наших лучших молодых мужчин; выделить каждому большой участок земли под поместье и достаточное количество крестьян, чтобы обрабатывали поля. И пусть он управляет этим хозяйством, как ему заблагорассудится. Создав подобные латифундии, можно будет получить значительно большее количество продуктов питания. А незанятую в настоящее время часть населения Шанти-тауна можно заставить работать на новых полях и держать под контролем, чтобы заодно предотвратить и всякие там разговоры о независимости и новых колониях. И уже следующее поколение Хозяев Столицы будет включать значительное число настоящих крупных землевладельцев. Мы достаточно долго держались тесным кружком и копили силы. Настала пора, как вы справедливо сказали, воспользоваться предоставленной нам свободой и сделаться истинными хозяевами нашего нового богатого мира.

Герман Макмиллан слушал и улыбался. На его красивых губах вообще почти постоянно играла улыбка.

— Неплохая идея, — сказал он. — Очень даже неплохая, сеньор Советник.

Фалько проглотил его покровительственный тон, решив, что Герман Макмиллан — именно тот человек, которым следует воспользоваться.

— Что ж, обдумайте эту идею, — сказал он. — Причем обдумайте в применении к себе самому. — Он понимал, что молодой Макмиллан именно этим в данный момент и занят. — Как бы вам это понравилось: получить в полное собственное владение такое поместье, Дон Герман? Маленькое... как это... есть такое старинное слово...

— Королевство, — подсказал старый Бурнье.

— Да. Стать правителем собственного маленького королевства? Может быть, вам это придется по душе? — Голос Фалько звучал льстиво, и Герман Макмиллан горделиво вскинул голову. В этом самовлюбленном юнце всегда найдется место для лести в свой адрес, подумалось Фалько.

— Да вроде бы неплохо, — сказал Макмиллан, задумчиво качая головой.

— Чтобы осуществить этот план, нам потребуется ваша энергия и ваши умственные усилия, молодые люди. Открывать новый вид землепользования — это всегда дело непростое, требующее времени. Принудительный труд — вот единственный способ быстро расчистить большие территории. Но если волнения в Шанти будут продолжаться, мы сумеем арестовать достаточное количество бунтовщиков, которых и приговорим к принудительным работам. Впрочем, поскольку они все больше любят языками болтать, их, возможно, придется подтолкнуть на некие противоправные действия. Может быть, даже обломать кнуты о чьи-то спины, чтобы заставить остальных применить силу, то есть, возможно, придется подвести их к восстанию — вы меня понимаете? Ну и как вам нравится такая перспектива?

— О, это с удовольствием, сеньор! Жизнь здесь так скучна. Нам просто необходимы активные действия.

Действия, подумал Фалько. Да, пожалуй, и мне они тоже совершенно необходимы. Мне бы, например, весьма хотелось выбить зубы тебе, наглый юнец, чтобы впредь не смел разговаривать со мной таким снисходительным тоном. Впрочем, ты мне еще пригодишься, и уж я тебя использую. И я буду смеяться последним.

— Именно это я и надеялся услышать! Послушайте, Дон Герман, вы ведь пользуетесь большим авторитетом у молодежи — у вас природный дар лидера. Так нет ли у вас какой-нибудь подходящей идеи на этот счет? Наши охранники вполне надежны и преданны, однако они простолюдины, глупцы, их легко смутить всякими штучками, которые ловко придумывают в Шанти-тауне. Чтобы уверенно пове-

сти их за собой, нам действительно необходим некий элитный отряд молодых аристократов, храбрых, умных, готовых выполнить разумные приказы своего командира и любящих сражение, подобно нашим мужественным предкам с Земли. Как вы думаете, можно ли собрать и соответствующим образом подготовить такой отряд? Как бы вы предложили приступить к осуществлению подобной идеи?

— Вам нужен только лидер, — не колеблясь сказал Герман Макмиллан. — Я мог бы должным образом натренировать свою команду за одну-две недели.

После этого вечера молодой Макмиллан стал частым гостем в Каса Фалько. По крайней мере раз в день он приходил, чтобы о чем-то переговорить с Советником. Когда бы Люс ни заходила в переднюю часть дома, она заставала там Макмиллана. Казалось, он вечно торчит у них, и девушка старалась проводить все больше времени в своей комнате, на чердаке или во внутреннем дворике. Она и раньше-то всегда избегала Германа Макмиллана, но не потому, что он ей не нравился — вряд ли кому-то могло не нравиться нечто столь красивое, — но ей казалось унижительным, что буквально каждый, стоило Люс и Герману перекинуться парой слов, думал или говорил: «Ах, ну конечно, они ведь скоро поженятся!» Хотел он этого или нет, но эту идею Макмиллан принес с собой, и теперь она тоже вынуждена была думать об этом; но, отвергая эти мысли, она и раньше всегда смущалась, встречаясь с ним. Теперь она видела его постоянно в собственном доме, однако испытывала те же чувства, хотя и привыкла к нему, как к старому знакомцу. Впрочем, она пришла к определенному выводу: жаль, конечно, но тем не менее вполне возможно, оказывается, не любить даже такого красивого молодого человека.

Герман вошел в дальнюю гостиную, даже не постучавшись, и остановился в дверях — стройный, гибкий, мускулистый, в туго перепоясанном ремнем мундире. Он осмотрел комнату, которая выходила в довольно просторный внутренний дворик. Двери в сад были открыты, и шорох мелкого теплого дождя, падавшего на дорожки и кусты, наполнял гостиную покоем.

— Так, значит, вот где вы прячетесь, — сказал он.

Люс мгновенно вскочила. Она была в темной домотканной юбке и белой блузке, которая в полумраке гостиной

казалась ярким пятном света. За спиной девушки сидела какая-то женщина и пряла с помощью веретена.

— Всегда здесь от меня прячесь, да? — снова спросил Герман. Дальше в комнату он не пошел, видимо, ожидая приглашения, а к тому же сознавая театральность своей позы в дверном проеме.

— Добрый день, Дон Герман. Вы ищете моего отца?

— Я только что с ним говорил.

Люс кивнула. Ей очень хотелось знать, о чем это Герман и ее отец так много говорят в последнее время, но она, разумеется, спрашивать ни о чем не стала. Молодой человек все-таки прошел в гостиную и остановился напротив Люс, глядя на нее с добродушной улыбкой. Потом взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. Люс с гримасой раздражения отдернула руку.

— Что за дурацкая традиция! — сказала она, отворачиваясь.

— Все традиции, в общем-то, глупы. Но ведь старики жить без них не могут, верно? Они считают, что без традиций мир просто рухнет. Целование рук, поклоны, сеньор, сеньора — все должно быть, как в их Старом Мире, в истории, в книгах, в бумажках... чушь! Но — ничего не поделаешь.

Люс невольно рассмеялась. Хорошо этому Герману просто взять и отмахнуться, как от полной ерунды, от всех тех вещей, которые тяжким бременем ложатся на душу и приносят столько беспокойства.

— Работа с Черной Гвардией продвигается просто отлично, — сказал Макмиллан. — Вы должны как-нибудь прийти и посмотреть наши тренировки. Приходите завтра утром, хорошо?

— Какая еще «Черная Гвардия»? — растерянно спросила Люс, села и снова взялась за работу — изящную вышивку для четвертого ребенка Эвы. И вот ведь что самое противное в этом Германе: стоит разок ему улыбнуться, или поговорить с ним по-человечески, или хотя бы отнестись к нему с легкой симпатией, как он начинает наступать, завоевывать позиции, и тут же приходится давать ему по носу.

— Это моя маленькая армия, — ответил он. — А что это будет? — Он уселся с нею рядом на плетеный диванчик. Места там для его большого тела было явно недостаточно, и Люс с трудом выдержала юбку из-под его ляжки.

— Чепчик, — ответила она, еле сдерживая нараставшее раздражение. — Для будущего малыша Эвиты.

— Ах да, конечно! Эта девушка оказалась прямо-таки замечательной производительницей! У Алдо уже довольно большая семейка, надо сказать! Мы женатых мужчин в Гвардию не принимаем. У нас собралась отличная компания. Нет, вы непременно должны прийти посмотреть.

Люс сделала микроскопический узелок на нитке и ничего не ответила.

— Я тут уезжал осматривать свои владения... Потому и не приходил вчера.

— А я и не заметила, — сказала Люс.

— Выбирал, так сказать, земельную собственность. Присмотрел одну долину — вниз по Мельничной Реке. Отличные там места, особенно когда их расчистят. Дом я построю на холме — уже и место для него выбрал. Дом будет большой, похожий на этот, только побольше, двухэтажный, с верандами и балконами. Ну и разумеется, рядом всякие там амбары, кузня и так далее. А внизу, в долине, возле реки разместятся хижины крестьян, чтобы мне сверху их было видно. На болотистых местах будет отлично расти богарный рис, а на склонах холмов — фруктовые и шелковичные деревья. Леса я кое-где вырублю, а кое-где оставлю, чтобы охотиться там на кроликов. Это будет очень красивое поместье, настоящее маленькое королевство. Поедем со мной в следующий раз, а? Я пришлю экипаж из Каса Макмиллан. Эти места слишком далеко, чтобы девушке идти туда пешком, а вам следует непременно повидать их.

— Зачем?

— Вам там понравится, — уверенно заявил Герман. — И разве вам не хочется владеть таким поместьем? Владеть целым краем, что раскинулся перед тобой? Владеть большим домом, множеством слуг? Владеть собственным королевством?

— Женщины не бывают королями, — сказала Люс и склонила голову над вышиванием. Было уже действительно слишком темно для вышивания, однако работа давала ей повод совсем не смотреть на Макмиллана. Он, однако, продолжал смотреть на нее, прямо-таки глаз не сводил; лицо его было напряженным, глаза какие-то пустые и почему-то темнее обычного. И улыбаться перестал.

— Ха-ха! — слишком короткий и жалкий смешок для такого великана. — Королями не бывают, зато умеют и без того получать желаемое. Разве не так, моя маленькая Люс?

Она продолжала вышивать и ему не ответила.

Герман приблизил к ней лицо и прошептал:

— Выпроводи эту старуху.

— Что вы сказали? — переспросила Люс спокойно и довольно громко.

— Выпроводи ее, — повторил Герман и мотнул головой в сторону Веры.

Люс аккуратно воткнула иглу в подушечку, свернула свое вышивание и встала.

— Извините меня, Дон Герман. Мне сейчас необходимо переговорить с поваром, — сказала она и вышла. Вторая женщина как ни в чем не бывало продолжала прясть. Герман, закусив губу, посидел еще минутку, потом улыбнулся, встал и медленно вразвалку пошел прочь, сунув большие пальцы за ремень.

Через четверть часа в дверь гостиной заглянула Люс и, увидев, что Германа Макмиллана там больше нет, решительно вошла и заявила:

— Ну и дубина! — и сплюнула на пол.

— Он очень красивый молодой человек, — заметила Вера, вытягивая последний пучок шелкового волокна и свивая его в тонкую ровную нить. Затем уложила готовый клубок на колени.

— Очень! — сердито сказала Люс, взяла аккуратно сложенный детский чепчик, над которым трудилась все это время, посмотрела на него, скомкала и швырнула через всю комнату. — Черт бы его побрал, сволочь такую! — выругалась она.

— Тебя, видимо, рассердило то, как он с тобой разговаривал? — полувопросительно предположила Вера.

— Меня злит то, как он разговаривает, то, как он выглядит, то, как он сидит, то, что он вообще существует на свете... Тьфу! «Моя маленькая армия, мой большой дом, мои слуги, мои крестьяне, моя маленькая Люс...» Если бы я была мужчиной, я бы этого Германа так башкой об стенку приложила — все бы его роскошные зубы повывлетали!

Вера рассмеялась. Она смеялась нечасто, только в тех случаях, когда бывала чем-то озадачена.

— Да нет, ты бы этого делать не стала!

— Стала бы! Да я его убить готова!

— Ох нет! Нет. Конечно же, нет. К тому же если бы ты была мужчиной, то знала бы, что ничуть не слабее, чем он, а может, и сильнее, и доказывать это тебе не было бы никакой необходимости. Беда в том, что, будучи женщиной,

да еще здесь, где тебе вечно твердят, что ты существо слабое, ты и сама начинаешь в это верить. Смешно слушать его речи о том, что Южная Долина — это слишком далеко для молодой девушки и пешком она туда не дойдет! Да там и пути-то километров десять—двенадцать!

— Я так далеко никогда не ходила. Даже и на пять километров от дома не уходила.

— Ну да, именно это я и имела в виду. Тебя уверяют, что ты слаба и беспомощна. И если ты сама в это поверишь, то не только лишишься разума, но и захочешь причинять людям зло.

— Да, правда, — сказала Люс, быстро поворачиваясь к Вере. — Я хочу причинять людям зло! Хочу и, возможно, стану причинять им зло.

Вера сидела неподвижно, не сводя с нее глаз.

— Разумеется. — Вера помрачнела. — Особенно если выйдешь замуж за человека вроде этого Макмиллана и станешь жить его жизнью. Ты ведь на самом деле вовсе не злая, однако, возможно, станешь причинять людям зло.

Люс уставилась на нее.

— Это отвратительно! — сказала она наконец. — Отвратительно! Говорить так. Словно у меня нет никакого выбора. Словно я непременно должна буду всем делать гадости. Словно не имеет значения, чего я на самом деле хочу.

— Ну конечно же, это имеет значение!

— Нет, не имеет. В том-то все и дело.

— Нет, имеет. И дело именно в этом. Ты всегда выбираешь сама. Ты сама решаешь: делать тебе выбор или нет.

Люс на минутку застыла, глядя на Веру во все глаза. От возбуждения щеки ее пылали, но брови уже не составляли одну сплошную черную линию над глазами; они взлетели вверх, точно в глубоком изумлении или испуге.

Потом она нерешительно двинулась прочь и вышла через открытую дверь в зеленый внутренний дворик.

Нежным было прикосновение редких капель дождя к ее разгоряченным щекам.

Капли, падая в круглый бассейн из серого камня, посреди которого был небольшой фонтан, рисовали на воде изящные пересекающиеся окружности, порождая непрерывающееся движение-дрожание расплывающихся кругов.

Стены дома и закрытые ставнями окна молчаливо со всех сторон смотрели в сад. Этот внутренний дворик был

словно еще одной зеленой комнатой дома, закрытой, защищенной со всех сторон. Но только без крыши. И в этой комнате шел дождь.

Руки Люс стали мокрыми и холодными. Ее пробрала дрожь. Она повернулась и снова вошла в полутемную гостиную, где сидела Вера.

Остановилась перед ней в полосе падающего из открытой двери света и спросила тихо и хриловато:

— Что за человек мой отец?

Вера ответила не сразу.

— А справедливо ли, что ты спрашиваешь это именно у меня? И что именно я отвечаю?.. Ну хорошо, предположим, справедливо. Но что я могу сказать тебе? Он, безусловно, сильная личность. Король. Настоящий король.

— Для меня это просто слово. Я даже не знаю толком, что оно означает.

— У нас есть старинная легенда... о королевском сыне, который ездил верхом на тигре... Ну, я хочу сказать, что твой отец силен духом, что он велик сердцем и душой. Но когда человек заперт внутри стен, которые он сам постоянно, всю свою жизнь делает прочнее и выше, то, возможно, никакой душевной силы не хватит. Он не может выйти наружу.

Люс прошла на другой конец комнаты и подняла из-под стула детский чепчик, который от злости зашвырнула туда, потом выпрямилась и осталась стоять спиной к Вере, разглаживая крошечный кусочек вышитого полотна.

— И я тоже не могу, — проговорила она.

— О нет, нет, — энергично замотала головой Вера. — Ты вовсе не внутри возведенных им стен! И не он защищает тебя — это ты его защищаешь. Когда дует здешний ветер, он дует не на него, а на крышу и стены Столицы, построенной его предками как крепость, как защита от неведомого. А ты — частица этой крепости, этих стен, этого дома — часть его дома, часть Каса Фалько. Такая же, как и его титул: Сеньор, Советник, Хозяин, Босс. Как и все его слуги, как его охрана, как все те, кому он может приказывать. Все это — частицы его дома, те самые стены, что укрывают его от ветра. Ты понимаешь, о чем я? Я, наверное, говорю непонятно, а может, и глупо. Просто не знаю, как это выразить. Но самое важное, с моей точки зрения, вот что: твой отец — человек, которому судьбой предназначено было стать великим, но он совершил грубую ошибку: он ни

разу не вышел из своей крепости наружу, под дождь. — Вера принялась сматывать только что спряденную нить в клубок, внимательно следя за ней в сумеречном свете гостиной. — И, боясь причинить боль и горе себе, он поступает неправильно с теми, кого любит больше всего. Но затем понимает это и все-таки сам же себе причиняет боль.

— Так он сам себе причиняет боль? — возмутилась Люс. — Не другим?

— О, это мы начинаем понимать в наших родителях позже всего. В самую последнюю очередь. И когда мы это поймем, они перестают быть нашими родителями и становятся просто людьми, такими же, как мы сами...

Люс снова уселась на плетеный диванчик, надела детский чепчик на коленку и стала осторожно двумя пальцами разглаживать его. Она довольно долго молчала, потом сказала:

— Хорошо, что вы оказались здесь, Вера.

Вера улыбнулась, продолжая сматывать нить.

— Давайте, я вам помогу. — Люс опустила на колени и стала направлять нить с веретена так, чтобы Вера могла смотать ее как можно ровнее. Потом вдруг у нее вырвалось: — Какие глупости я говорю! Вы, конечно же, хотите вернуться к своей семье, здесь для вас тюрьма.

— Очень приятная тюрьма! А семьи у меня нет. Но, конечно же, я хочу вернуться. Я люблю приходить и уходить, когда захочу.

— Вы никогда не были замужем?

— Да вот все как-то времени не хватало... — безмятежно улыбаясь, ответила Вера.

— Времени не хватало? А нам его больше и тратить не на что!

— Неужели?

— Не выйдешь замуж — останешься старой девой. Так и будешь шить чепчики для чужих детишек. Да приказывать повару сварить рыбный суп. И будешь выслушивать чужие насмешки...

— А ты что, боишься чужих насмешек?

— Да. Очень. — Люс примолкла, распутывая зацепившуюся за выбоину на веретене нить. — Мне наплевать, когда смеются глупцы, — сказала она уже гораздо спокойнее. — Но неприятно, когда тебя все презирают. А в таком случае презрение будет заслуженным. По-моему, требуется немало

мужества, чтобы стать настоящей женщиной; не меньше, чем для того, чтобы стать настоящим мужчиной. Мужество требуется и для настоящего брака, и для рождения детей, и для того, чтобы их вырастить.

Вера внимательно посмотрела на нее:

— Да. Это верно. Великое мужество. Однако же, спрошу снова: неужели таков твой единственный выбор? Замужество и материнство или ничего?

— А разве что-то еще есть в этой жизни для женщины? Что-то действительно стоящее?

Вера чуть повернулась и посмотрела через открытую дверь в серый от дождя сад. И вздохнула — судорожно, глубоко, словно не сумев сдержаться.

— Я очень хотела ребенка, — сказала она. — Но, видишь ли, были и другие вещи... действительно стоящие. — Она слабо улыбнулась. — О да, это действительно серьезный выбор. Но не единственно возможный. Один из вариантов — стать хорошей матерью. Но кроме него существует и еще множество различных вариантов. Человек может за свою жизнь успеть сделать не одно дело, а гораздо больше. Если проявит волю, если повезет... Мне не очень-то повезло, а может быть, я сама неправильно решила и сделала неверный выбор. Видишь ли, я не люблю компромиссов. Я отдала свое сердце мужчине, который... свое сердце отдал другой женщине. Это Саша... Александр Шульц, отец Льва. Но, конечно, все это было давным-давно, до того как вы родились. Итак, он женился, а я продолжала работать в той области, которая меня интересовала, причем интересовала всегда. Вот только мужчины, который бы меня заинтересовал так же, как Саша, что-то больше не встретилось. Но даже если бы я и вышла замуж, то неужели должна была бы просидеть в задней комнатке — с детьми или без детей — всю свою жизнь? Понимаешь, если мы так и будем сидеть в дальней комнатке и все остальное в мире оставлять на усмотрение мужчин, тогда они, разумеется, станут делать все что угодно и полностью заберут власть в свои руки. А с какой стати? Они ведь составляют только половину человеческой расы. Это несправедливо — оставлять им все интересные дела, которые нужно еще переделать. Несправедливо как по отношению к ним, так и к нам. А потом, — улыбка Веры стала шире, — хотя я очень люблю мужчин, но порой... они бывают удивительно глупыми! Они ведь до ушей напичканы разными теориями... Пойдут по одной

прямой и не желают остановиться. Нет, это просто опасно — предоставлять мужчинам вершить все на свете. Кстати, вот одна из причин того, что мне очень хочется вернуться домой. Хотя бы на время. Нужно узнать, какие там планы строят Илия со своими бесконечными теориями и мой дорогой Лев со своими высокими идеалами. Я давно опасуюсь, что они могут начать торопиться, изберут слишком прямой путь и в итоге заведут нас всех в ловушку. По-моему, ты должна понимать: самое опасное в мужчинах, самая их большая слабость — это мужское тщеславие. Женщине всегда присущи центростремительные силы, она сама является центром в семье. А вот у мужчины нет ощущения центра, он подвержен центробежным влияниям. Ну и достигает того, к чему стремится — там, вовне, жадно все хватая, складывая вокруг себя в кучи и утверждая: ах, какой я молодец, какой умный, какой храбрый! Это все я сделал, и я еще докажу, что я это я! И, пытаясь доказать это, мужчина может испортить множество вещей. Вот это-то я и хотела сказать, когда ты спросила меня об отце. Если бы твой отец оставался только Луисом Фалько, этого было бы вполне достаточно. Но нет, он должен быть Хозяином, Боссом, Советником, Отцом народа и так далее. Какая жалость! И Лев тоже... Он ведь тоже страшно тщеславен; может быть, в этом они с твоим отцом даже похожи. Великое сердце, но совсем не представляющее, где золотая середина. О, как бы мне хотелось сейчас поговорить с ним — хотя бы минут десять — и убедиться... — Вера давно уже забыла о шелковой нити; она печально качала головой и смотрела на лежавший у нее на коленях клубок невидящими глазами.

— Ну так идите, — тихонько проговорила Люс.

Вера озадаченно посмотрела на нее.

— Возвращайтесь в Шанти. Прямо сегодня вечером. Я вас выпущу. А завтра скажу отцу, что отпустила вас. Я тоже могу кое-что сделать — не только сидеть здесь, как последняя дура, вышивать, ругаться про себя и слушать этого осла Макмиллана!

Гибкая, крепкая, решительная, Люс вскочила на ноги и теперь возвышалась над Верой, которая продолжала сидеть спокойно и казалась словно бы уменьшившейся в размерах.

— Я дала слово, Люс Марина.

— Какое это имеет значение?

— Если я сама не буду говорить правду, то нечего мне ее и искать, — тяжело уронила Вера.

Обе с застывшими лицами уставились друг на друга.

— У меня нет детей, — сказала Вера. — А у тебя, Люс, нет матери. Если я могу помочь тебе, девочка, то сделаю все, что в моих силах. Но только не таким способом. Я свое слово привыкла держать.

— А я никаких слов никому не даю, — заявила Люс.

Однако покорно наклонилась, отцепила запутавшуюся нить, и Вера смотала ее в клубок.

Глава 6

Вдверь стучали кнутовищем. Слышались громкие мужские голоса; где-то возле Речной Фермы кто-то жалобно кричал или плакал. Жители деревни сбились в кучку, окутанные холодным, пахнущим гарью туманом; еще не рассвело, дома и лица были едва различимы в еще не растаявшей тьме. В хижинах плакали дети, испуганные тем, что их родителями овладело смущение и страх. Люди судорожно пытались зажечь лампу, отыскать одежду, успокоить детей. Охранники из Столицы, возбужденные своей властью вооруженных среди безоружных, одетых среди раздетых, настезь распахивали двери домов, врвались в их темное теплое нутро, выкрикивали приказания крестьянам, перекликались друг с другом, грубо отталкивали мужчин от женщин, разгоняя их в разные стороны. Возможно, командовавший охранниками офицер совершенно утратил над ними контроль, поскольку они, рассыпавшись меж домов в темноте, действовали как придется. Толпа на единственной улице деревни все росла, и лишь покорность и послушание жителей не давали возбуждению и дикости превратиться в настоящий праздник насилия. Шантйицы, конечно, тоже не молчали — они громко протестовали, возмущенно спорили, задавали вопросы, но это был исключительно словесный протест. Поскольку большинство считали, что их арестовали — а в Доме Собраний все единодушно решили не сопротивляться арестам, — то люди подчинялись приказам охранников быстро и с готовностью, если, конечно, могли понять эти бестолковые приказания: взрослые мужчины выходили на улицу, женщины и дети

оставались в домах; так что ошалевший офицер с изумлением обнаружил, что пленники сами собираются возле него в кружок. Когда набралось около двадцати, офицер велел четверем охранникам, один из которых был вооружен мушкетом, увести первую группу. До этого они уже отправили две такие группы из другой деревни; и как раз сколачивали четвертую в Южной Деревне, когда появился Лев. Жена Лиона Роза прибежала в Шанти и, задыхаясь, совершенно измученная, забарабанила в дверь Шульцев с криком: «Охранники уводят мужчин! Они уводят всех наших мужчин!» Лев тут же бросился в деревню, предоставив Саше поднимать остальных жителей города. Когда он влетел на деревенскую улицу, запыхавшись после трехкилометровой пробежки, туман уже слегка начинал рассеиваться; фигуры крестьян и охранников на Южной Дороге выглядели странно большими и неуклюжими в утренних сумерках. Лев напрямик, через поле бросился к голове колонны и остановился перед тем, кто ее вел. Колонна была чрезвычайно неровной, кто-то шел бодро, кто-то отставал, и в целом это напоминало довольно беспорядочную толпу.

— Что здесь происходит?

— Собираем трудовой отряд. Вставай в строй вместе со всеми.

Лев знал этого охранника, высокого парня по имени Ангел; они примерно год проучились вместе в школе. Южный Ветер и другие девочки из Шанти тогда очень боялись Ангела, потому что он вечно старался загнать девочку в угол и потискать.

— Вставай в строй, — повторил Ангел и, взмахнув мушкетом, приставил конец ствола к груди Льва. Он дышал почти так же тяжело, как и Лев; взгляд был совершенно безумный. Он как-то странно, с придыханием, рассмеялся, глядя, как мушкет, прижатый к груди Льва, ходит вверх-вниз. — Ты, парень, когда-нибудь слышал, как такая штука стреляет? Громко-громко, как плод дерева-кольца... — Он сильнее ткнул дулом ему в грудь, потом вдруг дернул ствол вверх и выстрелил в небеса.

Ошарашенный, оглушенный, Лев отшатнулся и изумленно уставился на него. Лицо Ангела покрылось мертвенной бледностью; он с тупым видом постоял немного, потрясенный грохотом и сильной отдачей грубо сработанного ружья.

Деревенские жители в задних рядах, решив, что Лев убит, ринулись вперед; охранники, вопя и ругаясь, попытались их остановить; в воздух со скрипом и свистом взметнулись плетки, блестя в тумане отделанными металлом ручками.

— Со мной все в порядке! — крикнул Лев. Собственный голос отдавался у него в голове, казался слабым и каким-то далеким. — Со мной все в порядке! — повторил он как можно громче. Потом услышал, что Ангел тоже что-то кричит, увидел, как одного из крестьян с размаху ударили плеткой по лицу...

— Немедленно всем снова встать в строй!

Лев присоединился к крестьянам, которые сперва сбились в кучу, а потом, подчиняясь охранникам, выстроились по-двое — по-трое и двинулись дальше на юг.

— Почему мы идем на юг? Эта дорога ведет не в Столицу, так почему же мы идем по ней, а? — прерывающимся шепотом спросил один из соседей Льва, юноша лет восемнадцати.

— Они создают трудовую армию, — пояснил Лев. — Для выполнения каких-то особых работ. Скольких они взяли? — Он все время тряс головой, стараясь избавиться от надоевшего шума в ушах и головокружения.

— Всех мужчин в нашей долине. Почему мы должны туда идти?

— Чтобы привести назад тех, кого взяли первыми. Если мы воссоединимся с ними, то действовать сможем все вместе. Все будет хорошо, вот увидишь. Никто не ранен?

— Не знаю.

— Все будет хорошо. Крепись, — прошептал Лев, сам не отдавая себе отчета, и начал потихоньку пробираться в задние ряды, пока не очутился рядом с тем человеком, которого ударили плетью. Тот шел, прикрыв рукой глаза; другой крестьянин поддерживал его за плечи, помогая идти; они были последними в колонне, едва видимой в стлавшемся по земле тумане; следом за ними шел охранник.

— Ты видеть можешь?

— Не знаю, — сказал раненый, прижимая руку к лицу. Его седые волосы стояли дыбом, взлохмаченные и перепачканные кровью; он был в ночной рубаше и штанах, босой; его широкие обнаженные ступни выглядели странно детскими и беззащитными, когда шаркал и спотыкался о каждый камень и комок грязи.

— Убери-ка ты руку, Памплона, — встревоженно сказал ему сосед. — Мы хоть посмотрим, что у тебя там.

Охранник, шедший сзади, прикрикнул на них — то ли угрожал, то ли приказывал идти быстрее.

Памплона опустил руку. Оба его глаза были закрыты; один был невредим, второй залит кровью, струившейся из раны, пересекавшей глаз от края брови до переносицы.

— Больно очень, — пожаловался он. — Что это такое было? Я почему-то ничего не вижу. Наверное, что-то мне в глаз попало. Лион? Это ты? Я хочу домой.

Из деревень и с ферм, находившихся к югу и западу от Шанти, забрали больше сотни мужчин, чтобы начать работы в новых поместьях Южной Долины. Отряд Льва достиг цели ближе к полудню, когда туман уже поднялся и плыл извивающимися полосами над Мельничной рекой. На Южной Дороге кое-где были выставлены посты из охранников, которые должны были помешать возмутителям спокойствия присоединиться к отрядам, отправленным на принудительные работы.

Прибывшим роздали орудия труда — мотыги, кирки, мачете — и, распределив их на группы по четыре-пять человек, тут же заставили приступить к работе. Каждая из таких групп находилась под надзором охранника, вооруженного плеткой или мушкетом. Ни для работников, ни для тридцати человек охраны не было построено даже шалашей. Когда наступила ночь, они с трудом разожгли костры из мокрых сучьев и улеглись спать прямо на пропитанную водой землю. Еду им, правда, дали, но хлеб настолько размок, что превратился не то в глинистую массу, не то в кашу. Охранники, собравшись кучкой, что-то злобно ворчали. Жители деревень тоже не умолкали. Сперва ответственный за проведение всей операции офицер, капитан Иден, пытался запретить разговоры, опасаясь нарушить конспирацию; затем, обнаружив, что одна группа спорит со второй, члены которой стояли за ночной побег, он оставил их в покое. У него не было ни малейшей возможности помешать шантийцам исчезнуть в ночи по-одному—по-двое; разумеется, он всюду расставил посты, охранники были вооружены мушкетами, однако видеть во тьме они не могли, и в такой дождь не было никакой возможности развести костры поярче. И они не успели создать «огороженную территорию»

для рабочих, как им было приказано. Крестьяне хорошо справились с тяжелой работой по расчистке участка, однако проявили поразительную тупость, когда от них потребовали построить хоть какую-нибудь ограду из срубленных ветвей, а охранники ни за что не согласились бы отложить оружие, чтобы выполнить подобную задачу.

Капитан Иден велел своим людям сторожить в оба глаза; сам он в ту ночь вообще не ложился.

Утром все, и охранники, и крестьяне, как будто были на месте, хотя двигались еле-еле в промозглой туманной сырости, и потребовалось несколько часов, чтобы костры наконец разгорелись и был приготовлен жалкий завтрак. Затем снова были розданы орудия труда — мотыги с длинными ручками, мачете из дрянной стали, кирки и тому подобное. Их получили сто двадцать человек, а остальные тридцать взяли в руки свои плетки и мушкеты. Неужели они не понимают, что могут сделать и притом без особого труда? Капитан Иден был потрясен. Под его изумленным взглядом крестьяне цепочкой проследовали мимо кучи инструментов, в точности как и вчера, взяв что кому требовалось, и снова принялись за расчистку склона холма у реки от кустарника и подлеска. Они работали хорошо, не жалея сил; они хорошо умели делать эту работу и не обращали особого внимания на окрики и команды охранников. Они сами разделились на удобные им группы, выполняя это тяжелейшее задание. Большинство охранников выглядели злыми, продрогшими и совершенно ненужными здесь; настроены они были мрачно с тех пор, как испытали и какое-то неполное удовлетворение, поднимая жителей среди ночи, отсеивая мужчин, но не получая никакого отпора.

Лишь ближе к полудню появилось наконец солнце, однако уже к середине дня облака вновь сгустились и стал накрапывать дождь. Капитан Иден велел устроить перерыв на обед — еще одна пайка совершенно размокшего хлеба — и, когда к нему подошел Лев, как раз наставлял двух охранников, которых намеревался отослать в Столицу за свежим запасом продовольствия и парусиной для палаток и матрасов.

— Одному из наших людей срочно нужен врач, а двое слишком стары для подобной работы. — Он указал на Памплону, который сидел, беседуя с Лионом, и на двух совершенно седых старцев; голова Памплони была перевязана куском материи, оторванной от рубашки. — Этих троих необходимо отправить назад, в деревню.

Лев вел себя не только не подобострастно, хоть и разговаривал с офицером, но совершенно светски, очень вежливо и спокойно. Капитан смотрел на него оценивающе, однако без предубеждения. Ангел уже указал ему вчера на этого маленького курчавого парнишку, одного из вожаков Шанти-тауна; было совершенно очевидно, что крестьяне тоже в первую очередь смотрят на Льва — какие бы приказы им ни отдавали, как бы им ни угрожали, — ожидая, что именно скажет он. Получили ли они от него какие-то указания и как это могло произойти, капитан Иден не знал, потому что не заметил, чтобы Лев сам отдавал какие бы то ни было приказы; но если этот мальчишка все же является их лидером, то и капитану Идену лучше иметь дело именно с ним. Более всего во всей этой ситуации капитана Идена раздражало полное отсутствие какой бы то ни было структуры. Он отвечал здесь за все и тем не менее как бы не имел права распоряжаться свыше тех пределов, которые как работники-шантийцы, так и его собственные подчиненные установили для него. Охранники в лучшем случае выполняли его приказы, а теперь к тому же были глубоко разочарованы и считали, что их неправильно используют. Количество жителей Шанти-тауна вообще никому не известно. Окончательно проанализировав ситуацию, капитан пришел к выводу, что полагаться он может только на свой мушкет; с другой стороны, еще девять человек из его отряда были вооружены такими же мушкетами.

Так что лучше было не выбирать — тридцать против ста двадцати или один против ста сорока девяти; самое разумное в данной ситуации, очевидно, — проявить должную твердость, но без особого нажима; и ни в коем случае не лезть напролом.

— Это всего лишь рубец от плетки, — тихо ответил он молодому человеку. — Разрешаю ему пару дней не работать и полежать. А старики вполне могут присматривать за готовящейся пищей; пусть высушат этот хлеб и поддерживают в кострах огонь. Уйти нельзя никому, пока вся работа не будет выполнена.

— Рана достаточно глубокая. Он потеряет глаз, если не позаботиться вовремя. И у него сильные боли. Его совершенно необходимо отправить домой.

Капитан размышлял.

— Ну хорошо, — сказал он наконец. — Если он не может работать, пусть идет домой. Но один.

— Это слишком далеко, чтобы он смог добраться в одиночку, без помощи.

— В таком случае он останется здесь.

— Нет, нужно его отнести на носилках. Для этого потребуются четверо.

Капитан Иден только пожал плечами и отвернулся.

— Сеньор, мы решили не работать до тех пор, пока о Памплоне соответствующим образом не позаботятся.

Капитан снова повернулся к юноше лицом, однако нетерпения не проявил, лишь внимательно посмотрел на него:

— Вы решили?..

— Как только Памплону и этих стариков отправят домой, мы тут же снова приступим к работе.

— У меня приказ Совета, — сказал капитан, — а вы обязаны подчиняться моим приказам. Ты должен как следует объяснить это своим людям.

— Послушайте, — сказал Лев вполне дружелюбно и без малейшего раздражения, — мы пока решили продолжать эту работу, потому что она действительно необходима: наше сообщество нуждается в новых земледельческих территориях, а здесь очень хорошее место для деревни. Но ничьим приказам мы не подчиняемся. Мы подчинились вашему насилию, желая избежать телесных повреждений и смертей у обеих сторон. Но в данный момент жизнь этого человека, Памплону, под угрозой, и если вы ничего не сделаете, чтобы спасти его, тогда это придется сделать нам. То же самое и по поводу двоих стариков; они не могут оставаться в дождь под открытым небом. Здешнее старое солнце больно артритом. Так что пока всех троих не отошлют домой, мы к работе приступить не сможем.

Круглое смуглое лицо капитана Идена сильно побледнело. Его Босс, молодой Макмиллан велел ему: «Возьми пару сотен крестьян и заставь их расчищать участок на западном берегу Мельничной реки, ниже брода». И это был настоящий приказ, а дело предстояло нелегкое, однако вполне достойное настоящего мужчины и заслуживающее определенного вознаграждения. Но, похоже, ответственность за порученное дело лежала на нем одном. Охранники еле подчинялись ему, а жителей Шанти-тауна вообще понять было невозможно. Сперва они были напуганы и невероятно покорны, теперь же пытались приказывать ему самому. Если они действительно не боятся его вооруженных людей, то какого черта теряют время на пустые разговоры? Если бы

он сам был одним из них, он бы послал все это подальше и постарался раздобыть мачете! Их же в четыре раза больше, и охранники успеют убить самое большее человек десять, прежде чем их оденут на вилы и отберут все мушкеты. Иден воспринимал поведение шантийцев как совершенно бессмысленное и даже постыдное, не достойное мужчин. Да откуда тут, в этом диком краю взяться самоуважению? Серая, дымящаяся от дождя и тумана река, заросшая спутанными травами болотистая долина, жидкая каша, которую полагаются считать хлебом, ледяная спина, к которой прилип промокший насквозь мундир, надутые злые физиономии охранников, спокойный голос этого странного мальчишки, который указывает ему, капитану Идену, что нужно делать — нет, это уж чересчур. Он передернул плечом, и мушкет оказался у него в руках.

— Послушай-ка, — сказал он. — Ты и все остальные немедленно приступите к работе. Немедленно. Иначе я прикажу тебя связать и отправить в Столицу, в тюрьму. Выбирай.

Он говорил негромко, но все остальные, и охранники, и крестьяне, тут же обратили на них внимание. Многие шантийцы встали, отошли от костров и собрались в кучки — все в черной болотной грязи, мокрые волосы прилипли ко лбам. Прошло несколько мгновений, наверное, всего несколько секунд, не больше полминуты, но и этот срок показался ему очень долгим; в воцарившейся тишине слышался лишь стук дождя по сырой земле вокруг, по ветвям срубленных кустов на крутом берегу реки и по листьям хлопковых деревьев у самой воды — дробное, негромкое постукивание капель.

Глаза капитана Идена, пытаясь охватить все разом — охранников, крестьян, груды рабочего инструмента, — встретились со взглядом Льва и замерли.

— Мы решили твердо, сеньор, — сказал юноша почти шепотом. — Что же теперь?

— Скажи им, чтоб начинали работу.

— Хорошо! — Лев обернулся. — Рольф, Ади, не могли бы вы быстренько сделать носилки? А потом вы двое и двое жителей Столицы понесете Памплону назад в Шанти. Томас и Солнце тоже пойдут с вами. Ну а все остальные пусть приступают к работе, хорошо? — И он следом за крестьянами направился к куче мотыг и мачете. Шантийцы разобрали инструмент и неспешно двинулись вновь по склону холма,

врубаясь в гущу травы и кустов, корчуга особенно упорные растения.

Капитан Иден, ощущая под ложечкой холодок, повернулся к своим людям. Те двое, которым он прежде велел отправиться в Столицу, стояли ближе всего.

— Сперва вы будете сопровождать этих больных в деревню. А к вечеру вернетесь сюда и приведете с собой столько же здоровых. Понятно? — Он заметил Ангела с мушкетом в руках; Ангел смотрел прямо на него. — Вы пойдете с ними, лейтенант, — сухо велел он. Оба охранника с тупым видом отдали честь; Ангел продолжал смотреть на него откровенно нагло, насмешливо.

В тот вечер у костра, где готовилась пища, к капитану снова подошли Лев и трое других крестьян.

— Сеньор, — сказал старший из них, — мы решили, что будем работать здесь ровно одну неделю; это будет нашим вкладом в общее дело. Но и столичные жители тоже должны работать с нами вместе. Сами понимаете, куда это годится, когда двадцать или тридцать здоровых мужчин стоят рядом без дела, пока мы вкалываем.

— Отведите этих людей туда, где им полагается быть, Мартин! — обратился капитан к охраннику, стоявшему на посту. Тот выдвинулся вперед, выразительно взявшись за ручку плетки; крестьяне переглянулись, пожали плечами и вернулись к своему костру. Самое главное, подумал капитан Иден, не разговаривать с ними и не позволять им разговаривать с тобой. Спустилась ночь, черная, с проливным дождем. В Столице дождь никогда не лил с такой силой; да и вообще там были крыши. В темноте шум дождя был поистине ужасен, он, казалось, слышался отовсюду; на многие мили вокруг, по всему этому дикому краю лил проливной дождь. Костры удавалось поддерживать с трудом, огонь отплевывался, но буквально тонул в потоках дождя. Охранники, жалкими кучками сгрудившись под деревьями и уронив свои мушкеты прямо в хлюпающую грязь, ругались и дрожали от холода. А когда наступил рассвет, жителей Шанти рядом не оказалось; они растворились в ночи и в этом дожде. Не хватало также четырнадцати охранников.

С белым лицом, охрипнув, побежденный, поверженный, ошеломленный, капитан Иден собрал остатки своего продрогшего и до костей промокшего войска и отправился обратно в Столицу. Да, капитанского чина он, конечно, лишится; возможно, его даже высекут кнутом или подвергнут

пытке в наказание за эту неудачу, но сейчас ему это было безразлично. Пусть они сделают с ним что угодно, только не отправляют в ссылку. Ну должны же они понять, что это не его вина! Никто, никто не смог бы справиться с подобным заданием! Ссылка была очень редким наказанием, только для самых отпетых преступников — предателей, убийц. Отправляли в ссылку следующим образом: сажали человека в лодку и отвозили далеко на побережье, высаживали там в диком краю, где не было ни души, и оставляли. Если бы сосланный осмелился когда-либо вернуться в Столицу, его подвергли бы пыткам, а потом расстреляли. Но никто ни разу из ссылки не вернулся. Они умирали в одиночестве, гибли в ужасной равнодушной пустоте и тишине. Капитан Иден задохнулся, но продолжал шагать; глаза его неустанно смотрели вперед в надежде издали увидеть первые крыши домов Столицы.

В темноте и под проливным дождем шантийцы решили держаться Южной Дороги — они бы тут же заблудились, если бы попытались группами разбрестись по окрестным холмам, чтобы сбить со следа преследователей. И дороги-то придерживаться оказалось достаточно трудно — собственно, это была даже не дорога, а широкая тропа, протоптанная рыбаками и пробитая груженными тележками с лесом. Они вынуждены были идти очень медленно, буквально нащупывая путь, пока дождь не стал чуть слабее и не забрезжил рассвет. Большая часть шантийцев ушли из лагеря вскоре после полуночи, но к рассвету даже они преодолели чуть менее половины пути до дома. Несмотря на опасность погони, люди предпочитали оставаться на дороге, чтобы идти быстрее. Лев ушел с самой последней группой и сейчас тоже намеренно держался в хвосте, чтобы в случае чего громким криком предупредить остальных, и тогда те успели бы спрятаться в густом кустарнике. Особой нужды в этом, собственно, не было: не только Лев, все держали ушки на макушке и постоянно оглядывались; но для него это служило предлогом побыть в одиночестве. Ему не хотелось сейчас быть среди людей, с кем-то разговаривать. Хотелось одному встретить рассвет, когда восточный край неба засверкает над холмами влажным серебром. Лев хотел пройти этот путь наедине со своей победой.

Да, они победили. Его идеи оказались верны. Шантийцы одержали победу в этой битве, не применяя насилия.

Ни одной смерти; одно ранение. «Рабы» освободились, никому не угрожая, не поднимая восстания, не размахивая мачете. А их «хозяева» бросились к своим Хозяевам — докладывать о провале, и, возможно, теперь у них будет время поудивляться этой неудаче и начать думать и видеть правду... И ведь вполне приличные люди — например, этот капитан да и другие тоже... Когда они наконец хотя бы задумаются над тем, что такое истинная свобода, то и сами в итоге придут к ней. И тогда Столица присоединится к Шанти. А когда охранники перестанут служить им, и Боссы непременно тоже откажутся от своей жалкой игры в правительство, от своих претензий на власть над другими людьми. Они тоже непременно придут к пониманию свободы — медленнее, чем рабочий люд, но тоже обязательно придут: для того чтобы стать действительно свободными, они должны сложить оружие, перестать от кого-то обороняться, выйти из-за своих крепостных стен, стать равными среди равных, стать братьями других людей. И тогда солнце свободы взойдет над миром Людей — жителей планеты Виктория — вспыхнет, как сейчас, ясным серебристым светом из-под тяжелой массы облаков. В лучах восходящего солнца каждая тень черной отчетливой полосой ложилась поперек узкой дороги и каждая лужица, оставленная вчерашним ливнем, сверкала, точно веселая улыбка ребенка.

И ведь именно я, думал Лев с восторгом, именно я говорил от их имени, именно ко мне они обратили свои взоры, и я не дал им испытать разочарование. Мы оказались стойкими! О Господи, когда он выстрелил из своего ружья в воздух, я ведь решил сперва, что он меня убил, а потом — что оглох! Но вчера при разговоре с этим капитаном мне даже в голову ни разу не пришло: «А что, если он выстрелит?», потому что я знал: он никогда не сможет поднять ружье и выстрелить в меня, и он понимал это, и ружье для него было совершенно бесполезным... Если тебе что-то непременно нужно, то это всегда возможно. Можно выстоять. Мне выстоять удалось, нам всем удалось. О Господи, как я их всех люблю, всех, всех! Я и не знал, понятия не имел, что можно быть таким счастливым!

Он спешил в светлеющем воздухе утра к своему дому, а пролившийся ночью дождь под его босыми ногами взлетал ледяными брызгами, словно короткий холодный смешок.

Глава 7

Нам нужно больше заложников, особенно хорошо бы захватить их вожаков, их лидеров. Надо разозлить их, вызвать на бой, но только не испугать, иначе они будут бояться действовать, понимаешь? Их сила именно в пассивности и в разговорах, разговорах, разговорах. Мы хотим, чтобы они нанесли ответный удар, если их лидеры окажутся у нас в руках, и тогда попытка открытого неповиновения с их стороны потерпит полный крах, а сами они будут деморализованы настолько, что можно будет делать с ними что угодно. Ты должен попытаться непременно захватить этого мальчишку — как там его? — Шульца. И еще этого Илию. И вообще всех, кто особенно любит митинговать. А ты уверен, что твои люди остановятся, если ты скажешь им «Стоп!»?

Люс не расслышала ответа Германа Макмиллана. Ей почудилось вместо слов какое-то монотонное злобное ворчание — ему явно не нравилось, что его поучают да еще спрашивают, понял ли он.

— Итак, постарайся взять этого Льва Шульца. Его дед считается у них одним из великих вождей. Мы можем пригрозить смертной казнью. И даже осуществить ее, если возникнет необходимость. Но лучше бы она не возникла. Если их слишком сильно напугать, они снова возьмутся за свои теории и станут претворять их в жизнь — ничего другого-то у них ведь нет. А нам нужно — но это потребует от нас терпения и одержимости, — чтобы они предали соб-

ственные идеалы, утратили веру в своих лидеров, в их аргументы, в их мирные теории.

Люс стояла у стены дома, под окном отцовского кабинета. Окно было настежь открыто; стояло полное безветрие, воздух был пропитан дождем. Несколько минут назад Герман Макмиллан с топотом ворвался в их дом. Он принес тревожные новости, и вскоре она услышала его гневные обвиняющие выкрики:

— ...с самого начала надо было использовать только моих людей! Я же говорил вам!

Ей очень хотелось узнать, что случилось, и было интересно послушать, как это Герман осмеливается говорить с ее отцом подобным тоном. Однако бешеная тирада Германа оказалась краткой. К тому времени как она, выбежав из дому, спряталась под окном отцовского кабинета и стала подслушивать, Фалько уже полностью взял себя в руки, и теперь Герман только злобно ворчал себе под нос: «Да-да, конечно». Так ему и надо, этому горластому Макмиллану! Получил урок? Понял, кто командует в Каса Фалько и в Столице? Однако сейчас приказания ее отца...

Люс схватилась руками за щеки, мокрые от мелкого дождя, и тут же быстро отряхнула руки, словно коснулась чего-то покрытого слизью. Ее серебряные браслеты звякнули, и она застыла, как кролик, плотно прижавшись к стене дома, чтобы Герман или отец, выглянув наружу, не заметили ее. Один раз, говоря что-то, Фалько подошел к окну и оперся руками о подоконник; его голос звучал прямо у Люс над головой, ей казалось, что она даже чувствует тепло его тела, так близко он был. Она испытывала огромное желание выскочить и громко крикнуть: «Буу!», и в то же время судорожно подыскивала предлоги, извинения, объяснения... «Я искала наперсток... я его где-то тут обронила...» Ей хотелось громко рассмеяться, и в то же время слезы закипали у нее на глазах и комок стоял в горле, в такой растерянности она была от того, что слышала. Неужели это ее отец? Ее отец говорит такие ужасные вещи? Вера сказала тогда, что у него великая душа. Неужели человек с великой душой станет вести разговоры о том, как обмануть людей, испугать их, убить? Как их **ИСПОЛЬЗОВАТЬ**?

Вот именно это он и делает с Германом Макмилланом, подумала Люс. **ИСПОЛЬЗУЕТ** его.

А почему бы, собственно, и нет? На что еще годится Герман Макмиллан?

А на что годится она сама? На то, чтобы ее использовать. И отец ее тоже использовал — во имя собственного тщеславия, собственного комфорта, как используют любимого ручного зверька. Всю жизнь он использовал ее и теперь использует — для того, чтобы Герман Макмиллан оставался ручным. Вчера вечером он приказал ей развлекать Германа любезными разговорами, если тому захочется поговорить с ней. Герман без сомнения пожаловался — ведь она тогда от него просто сбежала. Здоровенный, жалобно ноющий бык. Да оба они быки, все они такие! С широкой грудью, с вечной похвальбой, с желанием приказывать другим и мошенническими планами.

Люс больше уже не слушала этих двоих. Она отступила от стены и стояла выпрямившись, словно ей было безразлично, увидит ее кто-нибудь или нет. Потом обошла дом кругом и через черный ход, через мирные грязные кухни и кладовые, где царила сиеста, направилась прямо в комнату Веры Адельсон.

Вера тоже прилегла отдохнуть: вид у нее был заспанный.

— Я подслушала разговор моего отца с Германом Макмилланом, — заявила Люс, остановившись посреди комнаты, а Вера сидела на кровати и изумленно смотрела на нее. — Они планируют налет на Шанти. Они намерены захватить Льва и других ваших лидеров, посадить их в тюрьму и попробовать этим разозлить шантийцев, заставить их драться, а потом справиться с ними с помощью силы и оружия и в качестве наказания отослать большую часть мужчин на принудительные работы в новые поместья. Они уже некоторых туда отправили, но только все убежали, а может, это охранники убежали — я не очень ясно расслышала. Так что теперь Макмиллан берет «свою маленькую армию» и направляется туда, а мой отец внушает ему, что нужно заставить жителей Шанти ответить ударом на удар — тогда они предадут свои идеалы и можно будет ИСПОЛЬЗОВАТЬ их как угодно.

Вера по-прежнему сидела молча и смотрела на Люс во все глаза.

— Вы ведь понимаете, что он имел в виду? Ну, во всяком случае, Герман-то понимал его отлично! Ведь в случае победы люди Германа получают свободный доступ к вашим женщинам. — Голос Люс звучал холодно, хотя говорила она очень быстро. — Вы должны пойти и предупредить их.

Вера так ничего и не сказала в ответ. Она как-то отрешенно посмотрела на свои босые ступни — не то еще в тумане сна, не то соображая что-то с такой же лихорадочной скоростью, с какой Люс говорила.

— Неужели вы даже теперь отказываетесь пойти? Неужели ваше слово все еще держит вас? После такого?

— Да, держит, — слабым голосом, словно в забытьи сказала Вера. Потом прибавила более твердо: — Да.

— В таком случае пойду я.

— Куда ты пойдешь?

Она все прекрасно поняла и спросила, только чтобы выиграть время.

— Предупредить их, — сказала Люс.

— Когда планируется налет?

— Завтра ночью, по-моему. Ночью — это я слышала, — но вот не совсем поняла, какой именно.

Обе молчали. Потом Люс снова заговорила:

— Возможно, даже сегодня ночью. Они еще сказали: «Лучше застать их прямо в постелях».

Это сказал ее отец, а Герман Макмиллан в ответ рассмеялся.

— А если ты пойдешь, то... как ты поступишь?

Вера все еще говорила как бы во сне — очень тихо, часто делая паузы.

— Я все расскажу им и сразу вернусь назад.

— Сюда?

— Никто ничего не узнает. Я оставлю записку, что пошла к Эве. Впрочем, это неважно. А если я все расскажу жителям города — что они будут делать?

— Не знаю.

— Но им ведь поможет, если они будут знать о налете заранее и успеют как-то подготовиться? Вы же говорили мне, как четко вам приходится все планировать, чтобы...

— Да. Это им поможет. Но...

— Тогда я пойду. Сейчас же.

— Люс, послушай. Подумай, что ты делаешь. Разве ты можешь уйти из Столицы среди бела дня, чтобы никто не заметил? Да и сможешь ли ты вернуться назад? Подумай...

— Мне все равно, смогу ли я вернуться назад. Этот дом переполнен ложью, — быстро и холодно ответила девушка и ушла.

Уйти было легко. Трудно оказалось заставить себя идти дальше.

Легко было взять старую черную шаль, висевшую у двери, обернуться в нее как в плащ, спрятав лицо, и выскользнуть через черный ход, а потом по боковой улочке быстро отбежать подальше, притворившись служанкой, которая торопится домой. Легко было оставить позади Каса Фалько, оставить позади Столицу — это даже возбуждало. Она не боялась того, что ее могут остановить. Если ее остановят, нужно лишь сказать: «Я дочь Советника Фалько!»; и больше у нее не осмелятся спросить ни слова. Но никто ее не остановил. И она была совершенно уверена, что никто ее не узнал; она пробиралась боковыми улочками и переулками, самым коротким путем, ведущим из Столицы мимо школы. Она была с головой укутана в большую черную шаль, а морской ветер с дождем, который готов был, казалось, унести ее, дул в глаза и всем тем, кто попадался ей навстречу. Уже через несколько минут она очутилась на окраине Столицы, пробежала задами принадлежащего Макмилланам огромного склада пиломатериалов, мимо штабелей бревен и досок; потом поднялась на окружавшие Столицу холмы и вышла на дорогу, ведущую в Шанти-таун.

Вот тут-то и начались первые трудности. По этой дороге она ходила лишь однажды, с группой своих приятелей и в сопровождении множества тетушек, дуэний и охранников, на праздник Танца в Доме Собраний. Это было летом, они всю дорогу болтали и смеялись, тетушка Эвы Катерина ехала на велорикше, у коляски отвалилось колесо, и тетушка шлепнулась прямо в пыль, а потом весь день у нее на заднице, обтянутой черным платьем, красовалось огромное белое пятно, так что во время выступления танцоров Люс и ее подружки все время хихикали и никак не могли остановиться... Но тогда они даже по городу не прошлись. На что он, интересно, похож? Какие у них там порядки? Кого ей следует спросить? И что она им вообще скажет? Что, интересно, они ответят ей? Да и пустят ли ее в дом, если она явилась из Столицы? Не будут ли пялить на нее глаза, насмехаться, дразнить? Нет, они вроде бы никому зла не причиняют. Но, возможно, они просто не станут с ней разговаривать. Теперь она наконец ощутила, какой холодный ветер дует ей в спину. Дождь насквозь промочил и шаль, и платье у нее на спине, а подол юбки был не только мокрым, но и тяжелым от прилипшей грязи. Вдоль дороги тянулись пустые, серые, осенние поля. Когда она оглянулась, позади ничего уже не было видно, кроме Памятника — бледной

унылой спицы, бессмысленно указывающей в небеса. Весь знакомый ей мир теперь лежал где-то там, за этой отметиной. Слева порой поблескивала серая река; дождь и ветер морщили ее поверхность широкими полосами.

Она скажет, что хотела, первому же встречному и тут же повернет обратно, а они пусть делают с этим, что хотят. Она будет дома самое большее через час, задолго до ужина.

Люс увидела слева от дороги среди садовых деревьев маленький крестьянский домик, какую-то женщину во дворе и несколько убавила скорость. Вот сейчас она свернет к дому, все расскажет этой женщине, и та уж сама передаст новости жителям Шанти-тауна, а она, Люс, сможет прямо отсюда вернуться домой. Люс колебалась. Потом все-таки двинулась к ферме, но вдруг остановилась, развернулась и бегом припустила прямо по мокрой траве на дорогу. «Я все-таки дойду куда надо, все сделаю сама и тогда вернусь, — шептала она. — Ну давай же, давай, иди скорее — и домой!» Она пошла еще быстрее, она почти бежала. Щеки ее пылали, она задыхалась. Она уже многие месяцы, несколько лет не ходила так далеко и так быстро. Нет, нельзя появляться среди незнакомых людей в таком виде — красной, запыхавшейся. Она заставила себя умерить шаг, идти спокойно, выпрямившись. Во рту и в горле пересохло. Ей хотелось напиться дождевой воды, слизывая ее прямо с листьев — свернуть язык трубочкой и втягивать холодные капли влаги, что висели на каждой травинке. Но это было бы слишком по-детски. Да, дорога оказалась куда длиннее, чем она воображала. А действительно ли этот путь ведет в Шанти-таун? Вдруг она что-то перепутала и попала на одну из тех дорог, по которым лесорубы привозят в Столицу лес? Или на какую-нибудь тропу, не имеющую конца и ведущую прямо в дикие края?

Эти слова — дикие края — окатили ее холодной волной ужаса, и она застыла, словно споткнувшись.

Она оглянулась назад, надеясь увидеть Столицу, дорогу низенькую теплую, забитую народом, прекрасную Столицу, всю состоящую из стен, крыш и улиц, из лиц и голосов, свой дом, свой родной дом, свою жизнь, но позади ничего не было, теперь даже Памятник скрылся за пологим холмом, исчез из виду. Поля и холмы вокруг были безлюдны. Сильный теплый ветер дул со стороны пустынного моря.

Здесь же нечего бояться, уверяла себя Люс. Ну почему ты такая трусиха? Ты никак не можешь заблудиться, ведь ты идешь по дороге, а если эта дорога ведет не в Шанти, тебе нужно будет всего лишь повернуть назад, и ты так или иначе попадешь домой. Тебе не придется карабкаться по скалам, так что на горного скорпиона ты не наткнешься; тебе не придется идти через лес, так что ты не уколешься о ядовитую розу — чего же ты боишься? Здесь ничто тебе не угрожает. Здесь, на дороге, ты в полной безопасности.

Однако она шла, по-прежнему цепenea от ужаса, вглядываясь в каждый камень и кустик, в каждую кучу деревьев, пока наконец, поднявшись на каменистый холм, не разглядела впереди крытые красными пальмовыми листьями крыши домов и не почувствовала в воздухе запах очага. Перед ней был Шанти-таун. Лицо ее тут же исполнилось решимости, спина гордо выпрямилась, но в шаль она куталась по-прежнему плотно.

Домишки были разбросаны среди деревьев и огородов. Домов было довольно много, однако они стояли как-то чересчур свободно, не имели вокруг ни стен, ни заборов и казались незащищенными, в отличие от столичных. Под проливным дождем вид у них был какой-то жалкий. Никого из людей поблизости не было видно. Люс медленно прошла по извилистой улочке, пытаясь решить, что лучше — окликнуть вон того мужчину или постучать в эту дверь?

Как бы ниоткуда вдруг появился какой-то малыш и устался на нее. Кожа у него была светлой, но ноги вымазаны в коричневой грязи до колен, а руки — до локтей, да и весь он был заляпан той же коричневой грязью, так что казался пестрым или пегим. Его жалкая одежонка тоже была покрыта самыми различными грязными пятнами весьма занятой расцветки.

— Привет, — сказал он, немного помолчав. — Ты кто?

— Люс Марина. А ты кто?

— Мариус, — сказал он и начал бочком отодвигаться от нее.

— А ты не знаешь, где... где живет Лев Шульц? — Ей не хотелось спрашивать про Льва, она бы предпочла скорее встретиться с незнакомым человеком; однако не сумела припомнить больше ни одного имени. Вера рассказывала

ей о многих, да и отец не раз упоминал имена их вожаков, но сейчас она ничего не могла вспомнить.

— Какой это Лев? — спросил Мариус и почесал за ухом, добавив туда изрядное количество грязи. Она знала, что жители Шанти-тауна почти никогда не называют друг друга по фамилиям — только в Столице.

— Ну, он такой молодой и... он... — Она не знала, кем считается здесь Лев. Вожаком? Капитаном? Боссом?

— Сашин дом вон там, — сказал ей пятнистый мальчик, указывая пальцем в конец грязной, заросшей травой улочки, и на этот раз так ловко скользнул куда-то в сторону, что, казалось, растворился в тумане и дожде.

Люс, сжав зубы, пошла к указанному ей дому. Бояться здесь нечего. Это всего-навсего маленькая грязная улочка, уверяла она себя. Дети все как один перепачканы грязью, а взрослые кажутся самыми обыкновенными крестьянами. Она только сообщит новости первому, кто откроет дверь, и все будет кончено. И тогда она сможет вернуться домой, в высокие чистые комнаты Каса Фалько.

Она постучала. Дверь открыл Лев.

Она сразу узнала его, хотя не видела года два. Он был полуодет, волосы всклокочены — видимо, спал и она разбудила его. Он смотрел на нее, сияя глупейшей детской улыбкой и еще не совсем проснувшись.

— Ага, сейчас, — сказал он. — А где Андре?

— Я Люс Марина Фалько. Из Столицы.

Его сияющий взгляд стал более сосредоточенным: он наконец начал просыпаться.

— Люс Марина Фалько? — переспросил он. Его смуглое тонкое лицо вспыхнуло и ожило; он посмотрел на нее, потом куда-то мимо нее, ища ее спутников, снова на нее. В его глазах мелькали самые различные чувства — тревога, осторожность, восторг, недоверие. — Так ты здесь... с...

— Я пришла одна. Я должна... Я должна кое-что рассказать тебе...

— О Вере? — Улыбка с его взволнованного лица тут же исчезла. Теперь он был точно натянутая стрела.

— С Верой все в порядке. И со всеми остальными тоже. Но мои новости касаются тебя и вашего города. Что-то случилось вчера ночью... я не знаю что... а ты знаешь?..

Он кивнул, внимательно на нее глядя.

— Они очень разозлились и намерены явиться сюда — завтра ночью, по-моему. Это люди, которых специально

натаскивал молодой Макмиллан. Это бандиты, и они хотят арестовать тебя и других ваших лидеров, а потом... разозлить всех шантйцев настолько, чтобы они ответили ударом на удар, и тогда шайка Макмиллана легко одержит победу, а потом заставит мужчин работать на своих латифундиях в качестве наказания за неповиновение. Они придут, когда стемнеет; я думаю, скорее всего завтра. Впрочем, я не уверена. У Макмиллана человек сорок этих бандитов, и все они вооружены мушкетами.

Лев по-прежнему внимательно смотрел на нее. Но ничего не говорил. И лишь некоторое время спустя в этом его молчании Люс услышала тот вопрос, на который сама так и не ответила.

И этот его незаданный вопрос застал ее настолько врасплох, она была настолько не готова хоть что-то сказать на сей счет, что тоже застыла, уставившись на него и мучительно краснея от растерянности и страха, но больше не могла выдать ни слова.

— Кто послал тебя, Люс? — мягко спросил в конце концов Лев.

Совершенно естественно, что он сказал именно так: он и должен думать, что она скорее всего лжет или это Фалько использует ее для какого-нибудь своего мошенничества. Совершенно естественно предположить, что она служит своему отцу; вряд ли Льву могло бы прийти в голову, что она своего отца предаст. Люс смогла лишь покачать головой. Руки и ноги у нее дрожали, перед глазами мелькали вспышки света; она чувствовала, что сейчас упадет в обморок.

— Мне пора возвращаться, — сказала она, но с места не двинулась: ноги ее не слушались.

— Тебе плохо? Да входи же, присядь. Ну хоть на минутку.

— У меня голова очень кружится, — сказала она тоненьким жалобным голосом. Ей даже стало стыдно за себя. Лев провел ее в дом, и она уселась на плетеный стул возле стола в темной, с низким потолком комнате. Потом раскрутила шаль на голове — стало полегче и не так жарко; щеки перестали гореть, и пятна света уже не вспыхивали перед глазами. Она постепенно приходила в себя. Лев стоял рядом, у стола, и не шевелился. Он был босиком, в одних штанах; она не могла поднять на него глаза, однако не ощущала ни малейшей угрозы ни в его напряженной позе,

ни в его молчании. И никакого гнева или презрения она тоже с его стороны не ощущала.

— Я очень спешила, — пояснила она. — Я хотела побыстрее вернуться назад, а идти пришлось долго, вот у меня голова и закружилась. — Вскоре она взяла себя в руки и обнаружила, что под волнением и страхом где-то в глубине ее души есть местечко, тихий уголок, и там ее внутреннее «я» может свернуться клубочком и подумать. Она помолчала, подумала и наконец снова заговорила:

— Вера все это время жила у нас, в Каса Фалько. Ты об этом знал? Мы с ней виделись каждый день. И много разговаривали. Я рассказала ей о том, что слышала и что происходит вокруг. Она рассказывала... обо всем... Я пыталась уговорить ее вернуться сюда. Предупредить вас. Она не согласилась — сказала, что дала слово не совершать побега и должна свое слово сдержать. Так что пришла я. Я подслушала их разговор — Германа Макмиллана и моего отца. Да, я подслушивала! Я стояла прямо под окном специально, чтобы подслушивать! Их речи привели меня в ярость. Просто тошно было слушать. И когда Вера наотрез отказалась пойти, я пошла сама. Ты знаешь об этих новых охранниках, о гвардии Макмиллана?

Лев покачал головой, внимательно и напряженно глядя на нее.

— Я ничего не выдумываю, — холодно сказала она. — Никто меня не использует. Никто, кроме Веры, даже не знает, что я ушла из дому. Я пришла как раз потому... мне осточертело, что мной все время пользуются! И мне отвратительна эта постоянная ложь! И меня тошнит от ничегонеделания. Можешь мне не верить. Мне это безразлично.

Лев снова покачал головой и захлопал глазами, словно в лицо ему вдруг ударило солнце.

— Нет, я не... Но рассказывай немножко помедленнее, ладно?

— Времени нет. Я должна вернуться, прежде чем кто-нибудь заметит. Ну ладно. Мой отец велел молодому Макмиллану подготовить специальный отряд, состоящий из сыновей Боссов. Этот отряд они хотят использовать против вашего народа. Уже недели две они только об этом и говорят. Они намерены явиться сюда, потому что что-то у них там случилось — не знаю уж, что именно, — в Южной Долине, и схватить тебя и других ваших лидеров, чтобы заставить жителей Шанти ответить насилием на насилие,

предать идеалы мирного сосуществования или — как вы это называете? — ненасилия. И когда вы вступите с гвардией Макмиллана в бой, то непременно проиграете, потому что у них бойцы куда лучше обучены и вооружены к тому же. Ты знаешь Германа Макмиллана?

— Чисто внешне, по-моему, — сказал Лев. Сам он настолько сильно отличался от того человека, чье имя Люс только что произнесла и чье лицо все время мерещилось ей — прекрасное лицо, и мускулистое тело, и широкая грудь, и длинные ноги, и сильные руки, и тяжелый мундир, и заправленные в высокие ботинки штаны, и широкий ремень, и плащ, и ружье, и плетка, и нож... А этот стоял перед ней босой, и она видела, как под его смуглой гладкой кожей проступают ребра и кости грудины.

— Я ненавижу Германа Макмиллана, — проговорила Люс гораздо медленнее, чем прежде, словно сейчас она разговаривала со Львом из того маленького прохладного спокойного местечка внутри нее, где можно было подумать. — У него душа не больше ногтя. А тебе, по-моему, следует его опасаться. Я вот его просто боюсь. Ему нравится причинять людям боль. И не пытайся с ним разговаривать, как это у вас тут принято: он слушать не станет. Для него в мире существует только он сам. Таких людей можно только бить. Или бежать от них прочь. Я, например, убежала. ...Ты мне веришь? — Теперь она уже могла наконец это спросить.

Лев кивнул.

Она посмотрела на его руки, крепко сжимавшие деревянную спинку стула; руки у него под смуглой кожей словно состояли из одних только нервов и костей; они были сильные и одновременно хрупкие.

— Хорошо. Тогда я должна идти, — сказала она и встала.

— погоди. Ты должна рассказать это остальным.

— Я не могу. Ты сам им расскажешь.

— Но ты же сказала, что убежала от Макмиллана. Неужели теперь ты к нему возвращаешься?

— Нет! Я возвращаюсь к своему отцу... к себе домой!

Однако Лев сказал правду: это было одно и то же.

— Я пришла предупредить тебя, — холодно сказала она. — Макмиллан собирается подло вас обмануть и вполне заслуживает, чтобы его самого провели. Вот и все.

Но это было далеко не все.

Она выглянула в раскрытую дверь и увидела переулок, по которому ей придется идти, за ним улицу, потом предстала себе обратный путь, Столицу, ее улицы, свой дом, своего отца...

— Я ничего не понимаю, — сказала она. И снова вдруг села: ее опять всю затрясло, хотя теперь уже не от страха — скорее от гнева. — Я не думала об этом... Вера говорила...

— Что же она сказала?

— Она сказала, чтобы я прежде всего остановилась и подумала.

— А она...

— погоди. Я должна подумать. Тогда я не подумала, так что должна сделать это хотя бы теперь.

Несколько минут Люс сидела неподвижно, стиснув руки на коленях.

— Ну хорошо, — сказала она наконец. — Это война, говорила Вера. И, видимо... я предала отца и его союзников. Вера — заложница в Столице. Раз так, я должна стать заложницей в Шанти-тауне. Если она не имеет права уходить и приходить, когда захочет, то и я не имею. Я ДОЛЖНА через это пройти... — Воздух вдруг застрял у нее в горле, и голос в конце фразы сорвался.

— Мы не берем заложников и никого не сажаем в тюрьму, Люс...

— Я и не говорила, что вы это сделаете. Я сказала, что должна остаться здесь. Я РЕШИЛА остаться здесь. Ты мне позволишь?

Лев умчался куда-то в глубь комнаты, машинально нагибаясь, когда на пути его попадалась очередная низкая балка. На ходу он надел свою рубашку, которая сохла на стуле перед очагом; потом исчез в дальней комнате и появился оттуда с ботинками в руках. Потом сел на стул возле стола и стал обуваться.

— Смотри сама, — сказал он, топая ногой, чтобы ботинок наделся скорее. — Ты, разумеется, можешь остаться здесь. Любой человек может здесь остаться. Мы никого не прогоняем и никого насильно здесь не удерживаем. — Он выпрямился и смотрел прямо на нее. — Но что подумает твой отец? Даже если он поверит, что ты осталась здесь по собственному выбору...

— Он ни за что этого не позволит. И непременно явится, чтобы забрать меня.

— Силой?

— Да, силой. И притом, конечно же, вместе с Макмилланом и его «маленькой армией».

— В таком случае ты сама окажешься тем предлогом для применения насилия, который им так нужен. Ты должна вернуться домой, Люс.

— Ради вас? — спросила она, вернее, подумала вслух, представляя в том числе и неизбежные последствия совершенного ею поступка, но Лев вдруг застыл с ботинком в руке — грязным, разбитым, самым обыкновенным, как она уже заметила раньше.

— Да, — подтвердил он. — Ради нас. Ты же пришла сюда ради нас? А теперь ради нас ступай обратно. Но если они обнаружат, что ты была здесь... — он не договорил. — Нет. Ты не можешь вернуться туда. Ты обязательно запутаешься во лжи — или своей собственной, или их. Ты ведь пришла именно сюда. Из-за Веры, из-за нас. Ты — с нами!

— Нет, я не с вами! — сердито сказала Люс; но свет и тепло, исходившие от лица Льва, смутили ее душу. Он говорил так просто, так уверенно! Теперь вот он улыбался.

— Люс, — сказал он, — помнишь, когда мы учились в школе, ты всегда была... мне всегда хотелось поговорить с тобой, но у меня не хватало смелости... И все-таки мы однажды поговорили по-настоящему — солнце садилось, помнишь, и ты еще спросила, почему я не хочу драться с Ангелом и его дружками. Ты всегда была непохожа на других столичных девчонок, ты как-то не подходила к их компании, словно вообще была не из их числа. Ты наша. Тебе тоже больше всего важна истина. А помнишь, как ты однажды разозлилась на учителя, когда он сказал, что кролики якобы не впадают в зимнюю спячку, а Тиммо попытался его переубедить и рассказал, как отыскал зимой целую пещеру с кроликами, погруженными в спячку, и тогда учитель хотел выпороть Тиммо плеткой за то, что он «возражает учителю», помнишь?

— Я тогда пообещала, что все расскажу отцу, — тихо проговорила Люс. Она очень побледнела.

— Да, ты встала и на весь класс заявила, что учитель сам ничего об этом не знает, а Тиммо собирается выпороть только потому, что тот доказал свою правоту — тебе было всего четырнадцать, не больше. Люс, послушай, пойдем сейчас со мной, а? Пойдем к Илие, и ты сможешь рассказать всем то,

что рассказала мне, и тогда мы сможем решить, как нам быть дальше. Домой тебе сейчас нельзя — там тебя накажут, опозорят! Послушай, ты можешь пожить пока у Южного Ветра — она живет за городом, там спокойнее. А сейчас, пожалуйста, пойдем со мной! Нам нельзя терять времени. — Он протянул к ней руку через стол — тонкую, теплую, полную жизни; она взяла ее, посмотрела ему в лицо и вдруг расплакалась.

— Я не знаю, что мне делать, — сказала она с отчаянием; слезы текли у нее по щекам. — Ты надеет только один ботинок, Лев.

Глава 8

Времени оставалось мало. Нужно было побыстрее собрать всех членов общины, чтобы в полной готовности плечом к плечу встретить опасность. Спешка оказалась даже на пользу — без всякого нажима трусливые и нерешительные могли отсеяться сами; однако под угрозой возможного налета всем хотелось держаться центральной, самой сильной группы.

И такой сильный центр у них действительно был, он сам, Лев, был в нем вместе с Андре, Южным Ветром, Мартином, Италией, Сантой и другими, молодыми и решительными шантийцами. Вот Веры с ними, к сожалению, не было, и все-таки она тоже участвовала во всех принятых ими решениях, они постоянно ощущали ее тихий голос и неколебимую твердость. Илия остался в стороне, как и Сокровище, и еще несколько человек — главным образом людей старшего поколения, — потому что таковы были их взгляды. Илия никогда не был особенно горячим сторонником переселения на новое место; он и теперь продолжал спорить и уверял, что они зашли слишком далеко и девушку немедленно следует отослать назад, к отцу, причем в сопровождении целой делегации, которая «села бы за стол переговоров с членами Совета». Он считал, что стоит как следует поговорить с представителями Столицы, и сразу исчезнет проблема недоверия и неповиновения...

— Вооруженные люди не садятся за стол переговоров, Илия, — устало заметил старый Лион.

И большинство шантийцев примкнули не к Илию, а к «Вериным ребятам», к молодежи. Лев чувствовал силу сво-

их друзей и всего города, выразившуюся в полной поддержке их решения. У него было ощущение, словно он, оставаясь самим собой, невероятно, беспредельно расширился, его «я» слилось с тысячью других «я» и обрело такую свободу, какой ни один человек в одиночку обрести никогда не смог бы.

Вряд ли стоило специально совещаться, объяснять людям, что и как нужно делать, чтобы противопоставить мощное пассивное сопротивление Шанти вооруженному насилию Столицы. Все и так все понимали, словно их мысли были его мыслями и наоборот; словно, когда говорил он, его устами говорили они.

А присутствие в Шанти этой девушки, Люс, жительницы Столицы, которая сама себя отправила в изгнание, как бы обострило ощущение абсолютной общности шантийцев — прежде всего, благодаря состраданию к Люс. Они знали, почему она пришла сюда, и старались быть к ней добры. Среди них она казалась одинокой, напуганной, недоверчивой, куталась в плащ собственной гордости и высокомерия, как истинная дочь Босса, особенно если чего-то не понимала. Но на самом-то деле она все понимает, думал Лев, несмотря на то что понимание это для нее мучительно; она все понимает сердцем, ибо пришла к ним с доверием.

Когда он сказал ей об этом — что она всегда в душе была одной из них, всегда принадлежала Народу Мира, — она тут же сделала презрительное лицо и заявила:

— Я и представления не имею об этих ваших идеях! — Это была неправда: она уже довольно много успела узнать от Веры, да и Лев в эти странные напряженные и одновременно бездеятельные дни ожидания, когда все обычные работы были приостановлены и «Верины ребята» по большей части держались вместе, разговаривал с ней очень часто, используя каждую свободную минуту и страстно желая окончательно привлечь ее на свою сторону, на сторону мирных сил, на сторону таких людей, среди которых никто никогда не чувствовал себя одиноким.

— На самом деле, если начать рассказывать теорию, то это довольно скучно. Нет, правда, как в школе, — говорил Лев. — Заучиваешь нечто вроде длинного списка — сперва нужно делать это, потом то. Сперва всегда переговоры и мирное обсуждение проблемы, какой бы она ни была. Обязательно мирное, с помощью любых средств и социальных институтов. Так сказать, попытка решить проблему с помощью слов. Так у нас любит говорить Илия. Именно этот

шаг и предприняла группа Веры, отправившись на переговоры с Советом. Но у них ничего не вышло. Если первая попытка потерпела неудачу, следует перейти ко второму шагу: прекращению сотрудничества. Это должно сопровождаться соблюдением полного спокойствия и отсутствием каких-либо активных действий, чтобы противоположная сторона поняла, что намерения ваши достаточно тверды. В сущности, это и есть наше теперешнее состояние. Затем предполагается третий шаг, к которому мы сейчас готовимся: предъявление ультиматума, то есть предложение конструктивного решения и ясное изложение того, каковы будут последствия в случае отказа противоположной стороны принять ультиматум.

— Ну и каковы могут быть эти последствия? — спросила Люс.

— На этот случай предусмотрен четвертый шаг: социальный протест.

— А в чем он выражается?

— В отказе подчиняться любым приказам или законам властей, представляющих враждебную сторону. В противовес мы должны выдвинуть собственные законы и приказы, создать параллельное и независимое правительство и следовать собственным политическим курсом.

— Так-таки уж и собственное правительство?

— Так-таки, — и он улыбнулся. — А знаешь, на Земле это срабатывало не один раз, снова и снова. Причем против любой угрозы — арестов, пыток, вооруженных провокаций. Можешь сама прочесть об этом, я дам тебе одну книгу. Ее автор — Мировская, она называется «История...»

— Я не могу читать книги! — прервала его Люс. Лицо ее выражало презрение. — Я один раз попробовала... Но если все эти теории применялись и действовали так успешно, то почему же вы позволили отослать ваш народ с Земли?

— Нас было еще недостаточно много. А правительства, представлявшие враждебные нам силы, были многочисленны и сильны. Впрочем, они вряд ли стали бы отправлять нас в ссылку, если бы не боялись нас, верно?

— Именно это говорит мой отец и о своих предках, — заметила Люс. Ее брови слились в сплошную черную линию; глаза скрылись в их тени. Лев наблюдал за ней, очарованный ее необычностью. Ибо, несмотря на его настойчивые уверения в том, что она «одна из них», одной из них она не была; она не была похожа ни на Веру, ни на

Южный Ветер, ни на одну из тех женщин, которых он знал. Она была другой — чужой ему. Как та серая цапля на пруду у Дома Собраний. И еще в ней была некая странная тишина, и эта тишина влекла его куда-то в сторону, к какому-то другому центру...

Он был так заворочен, так поглощен созерцанием этой необычной девушки, что не расслышал, когда Южный Ветер что-то сказала ему, он не расслышал, а когда снова заговорила сама Люс, вздрогнул от неожиданности, встрепенулся, и на какое-то время знакомая комната в домике Южного Ветра показалась ему совершенно чужой.

— Хорошо бы мы смогли забыть обо всем, что было на Земле, — сказала Люс. — Земля — это сто лет назад, там совсем другой мир, другое солнце, какое имеет это значение для нас теперь, здесь? Почему мы не делаем здесь все по-своему? Я родилась не на Земле. Ты тоже. Наш мир — здесь... Он должен иметь свое собственное имя. «Виктория» звучит просто глупо, это же абсолютно земное слово. Мы должны дать нашему миру настоящее имя, его собственное!

— Какое же?

— Хотя бы такое, которое на Земле ничего не значит. Бубу, или Баба, или, например, Грязь. Тут кругом грязь, и если Земля называется «землей», то почему другую планету нельзя назвать «грязью»? — Голос Люс звучал сердито, с ней это часто бывало, но, когда Лев рассмеялся, она тоже рассмеялась. Южный Ветер только улыбнулась, однако сказала своим тихим голосом:

— Да, Люс права. Мы действительно смогли бы создать свой собственный мир, вместо того чтобы вечно подражать тем, кто остался на Земле. Кроме того, если бы на Земле не существовало насилия, то и движения нашего не возникло бы...

— Итак, начнем с грязи и построим новый мир? — сказал Лев. — По-моему, мы как раз этим и занимаемся, разве нет?

— Пока что лепим из грязи пирожки, — сказала Люс.

— Нет, строим новый мир.

— Из осколков старого?

— Если люди позабудут о своем прошлом, то непременно повторят все ошибки снова и снова; без прошлого нельзя достичь будущего. Именно по этой причине люди на Земле продолжают развязывать войны: они уже забыли, какова была последняя война. Мы же здесь действительно

начинаем все сначала. Потому что помним старые ошибки и не станем их повторять.

— Иногда мне кажется, — сказал Андре, сидевший у самого очага и мастеривший сандалии для Южного Ветра — он всегда подрабатывал как сапожник, — ты уж извини, Люс, что я так говорю, но в Столице, похоже, действительно помнят все старые ошибки исключительно для того, чтобы снова и снова их повторять.

— Не знаю, — как-то равнодушно откликнулась Люс, встала и подошла к окну. Окно было закрыто: дождь так и не перестал да еще и похолодало, с востока дул ледяной ветер. Неяркий огонь очага делал комнату уютной и теплой, но Люс, повернувшись спиной к этому уюту и теплу, смотрела в маленькое запотевшее окошко на темные поля и несомые ветром тучи.

Наутро после своего прихода в Шанти и разговора со Львом и остальными Люс написала письмо отцу. Коротенькое письмецо — однако ей потребовалось все утро, чтобы его написать. Сперва она показала письмо Южному Ветру, потом Льву. И сейчас, глядя на нее, прямую, сильную, четким черным силуэтом вырисовывавшуюся на фоне окна, Лев снова увидел перед собой строки этого письма, прямые, тесно стоящие черные буквы:

Уважаемый сэр!

Я навсегда ушла из вашего дома и останусь в Шанти-тауне, потому что не одобряю ваших планов. Я сама так решила. Никто меня здесь не удерживает — ни в качестве пленницы, ни в качестве заложницы. Для этих людей я гостья. Если вы что-либо сделаете против них, меня на вашей стороне не будет. Я должна принять чью-то сторону, и мой выбор таков. Сеньора Адельсон не имеет к моему уходу ни малейшего отношения. Повторяю, это мой собственный выбор.

*С глубоким почтением,
ваша дочь Люс Марина Фалько Купер*

И ни слова любви; ни единой просьбы о прощении.

И никакого ответа. Юный гонец, самый быстрый в Шанти, тут же отнес письмо; это был Желанный. Он подсунил письмо под дверь Каса Фалько и сразу убежал прочь. Стоило ему невредимым вернуться в Шанти, как Люс начала ждать ответа от отца; она страшилась этого ответа, но

явно ожидала его с нетерпением. С тех пор прошло двое суток. Но ответа так и не последовало; как и ночного налета на Шанти — вообще ничего. Все шантийцы без конца обсуждали, какие перемены в планах Фалько могло вызвать бегство Люс, однако старались вести подобные разговоры не в присутствии девушки, пока она сама первой не заговорила с ними об этом.

— Теперь, — сказала она, — я совсем перестала вас понимать, правда, перестала. К чему все эти бесконечные шаги и правила, и эти бессмысленные разговоры?

— Это наше оружие, — ответил ей Лев.

— Но зачем вам вообще вступать в борьбу?

— Другого выхода у нас нет.

— Нет, есть! Можно уйти.

— Уйти?

— Да! Уйдите на север, в ту долину, которую вы нашли. Просто уйдите. Оставьте все это. Я-то, между прочим, как раз так и поступила, — добавила она, высокомерно поглядев на него, когда он замешкался с ответом. — Я просто ушла.

— Но они придут за тобой, — мягко возразил он.

Она пожала плечами:

— Они же не пришли. Им все равно. Они не придут.

Южный Ветер издала какой-то легкий звук — то ли предупреждая, то ли протестуя, то ли сочувствуя; все понятно было и без слов, однако Лев «перевел» для Люс:

— Да нет, им не все равно, и они придут. Твой отец...

— Если он придет за мной, я убегу. Я пойду еще дальше.

— Куда?

Она снова отвернулась и умолкла. И все одновременно подумали об одном и том же: о диких краях. Им вдруг показалось, будто дикие края вошли в эту хижину, заполнили ее, и стены домика пали под их натиском, и убежища у них больше нет. Лев уже не раз бывал там, и Андре тоже; они прожили несколько месяцев в этом безмолвии и одиночестве, и оно осталось в их душах, поселилось в них навсегда. Южный Ветер в диких краях никогда не была, но там была похоронена ее любовь. Даже Люс, которая никогда не видела диких краев, рожденная теми, кто в течение целых ста лет отторгался от жизни этой планеты крепкими и высокими стенами, делая эти стены все выше и крепче и не желая признавать, что со всех сторон их окружают дикие края, — даже Люс знала о них, и боялась, и понимала, как глупы ее слова о том, чтобы в одиночку уйти из

колонии. Лев молча наблюдал за ней. Он испытывал к ней жалость, острую жалость, словно она была упрямым ребенком, который поранился и отказывается от утешения, ото всех отворачивается и старается во что бы то ни стало не заплакать. Однако Люс ребенком не была. Она была женщиной, и он видел в ней женщину — особенно когда она стояла у окна — и представлял ее в тех местах, в той долине без помощи, без убежища, одинокую женщину в диком краю; и жалость в его душе сменилась восхищением и страхом. Он боялся ее. В ней чувствовалась сила, источником которой была не любовь, не доверие и не чувство единения с остальными; нет, эта сила не имела истоков в понятных и известных ему отношениях. Он боялся этой силы Люс и страстно жаждал приобщения к ней. Эти три дня он почти целиком провел в обществе девушки; он постоянно думал о ней, всех сопоставляя с нею, на все старался смотреть ее глазами — как если бы даже их борьба имела смысл только в том случае, если в ее необходимости можно было убедить Люс, словно ее выбор оказался для него вдруг весомее всех их общих планов и идеалов, которыми они до сих пор жили. Она вызывала в нем сострадание и восхищение, она была для него драгоценна, как, впрочем, была для него драгоценна всякая человеческая душа. Однако он не должен допустить, чтобы она полностью овладела его разумом. Она должна стать одной из них, действовать с ним вместе, поддерживать его, но не смущая его душу и не заполняя ее целиком, как сейчас. Потом, позже у него еще будет время думать о ней сколько угодно и постараться понять ее — потом, когда противостояние закончится, когда они одержат победу, когда установится долгожданный мир. Потом, позже...

— Мы не можем сейчас отправиться на север, — терпеливо сказал он, и в голосе его послышался холодок. — Если хотя бы одна группа сейчас уйдет, это ослабит единство тех, кто должен будет остаться. И столичные охранники все равно выследят поселенцев. Нет, сперва мы должны завоевать свою свободу здесь — чтобы иметь возможность уйти. А потом мы уйдем.

— Зачем вы отдали им карты, показали путь туда! — горячо и нетерпеливо воскликнула Люс. — Как это глупо! Вы же могли просто взять и исчезнуть.

— Мы представляем собой сообщество людей на этой планете, — сказал Лев, — Столица и город. — И больше не сказал ни слова.

Однако вмешался Андре, чуть все не испортил:

— Да нельзя же просто взять и удрать потихоньку! Кроме того, слишком большое количество людей при передвижении всегда оставляет очень много следов, так что по следу нас будет легко отыскать.

— Ну и что? Если бы они даже действительно выследили вас и следом за вами явились на север, к этим вашим горам... вы бы ведь уже были там, и вы могли бы сказать: ах как нехорошо, это ведь наше, ступайте и ищите себе другую долину, тут таких долин более чем достаточно!

— И тогда-то они уж точно применили бы силу. Сперва всегда должен восторжествовать принцип равенства и свободного выбора. По крайней мере здесь.

— Но они-то и здесь применяют силу! Вера уже узница, другие тоже сидят в тюрьме, и старик этот потерял глаз, а бандиты Макмиллана вот-вот появятся и станут бить и расстреливать людей — и все это лишь во имя торжества некоего «принципа»? Вы только после этого сможете уйти отсюда свободными?

— На пути к свободе жертвы неизбежны, — тихо сказала Южный Ветер. Лев посмотрел на нее, потом — быстро — на Люс; он не был уверен, что Люс знает о гибели Тиммо. Возможно, конечно, за эти три ночи, проведенные с Южным Ветром, она уже все узнала. Так или иначе, но она стала говорить спокойнее:

— Я понимаю. Вы должны пойти на риск. Но жертвы... Мне ненавистна даже сама идея о жертвах!

Лев невольно улыбнулся:

— И что же сделала бы ты?

— Уж во всяком случае не жертвовала бы собой во имя идеала! Я просто убежала бы — разве ты не понял? И вы все тоже должны убежать! — Люс говорила вызывающе, немного свысока, словно защищала себя, а не свои убеждения; однако куда больше озадачил Льва ответ Южного Ветра.

— Возможно, ты и права, — сказала она. — Оставаясь здесь и ведя с ними борьбу — даже мирными средствами, — мы будем продолжать участвовать в затеянной ими войне.

Ничего себе! Люс Фалько здесь — аутсайдер, чужак; она, возможно, понятия не имеет о мыслях и чувствах жителей Шанти, но чтобы Южный Ветер сделала столь безответственное заявление? Это просто невероятно! Это настоящий вызов их безупречному единству.

— Удрать и прятаться в лесу — это что ж, выбор? — возмутился Лев. — Для кроликов — пожалуй, да. Но не для людей. Разве можно жить в одиночку, когда нужно все время прятаться, ползать по земле, выискивая себе пищу, трусить и ненавидеть каждого... — Лев заикался, он чувствовал, как горит у него лицо. Вдруг он увидел глаза Люс и стал заикаться еще сильнее, а потом и вовсе умолк. В ее взгляде было такое восхищение, какое он и не надеялся, даже не мечтал когда-либо заслужить; восхищение и радость были в ее глазах, и он понял: она его поддерживает! Именно тогда, когда ссора казалась неизбежной, он понял, что она его поддерживает, целиком и полностью, поддерживает его мысли, его слова, дело его жизни.

Вот теперь все правильно, и мы никуда не отклонились от центра, подумал он. Эта мысль промелькнула быстро и ясно, и он больше о ней не вспоминал, но отныне все вокруг него и впереди было иначе, чем прежде. Он уже преодолел их, эти горы.

Его правая рука так и повисла в воздухе, протянутая к Люс в требовательно-умоляющем жесте. Они оба заметили этот его незаконченный жест. Но он уже овладел собой и уронил руку как ни в чем не бывало. Но память о том незавершенном жесте осталась. Люс резко отвернулась и заговорила с гневом и отчаянием:

— Ах, я ничего не понимаю! Все это так странно. Я, наверное, никогда не пойму! Ты вот знаешь все, а я даже никогда ни о чем как следует не задумывалась... — Сейчас она выглядела значительно меньше ростом — маленькая, сердитая, покорившаяся. — Я только хотела бы... — Она вдруг умолкла.

— Это все придет, Люс, — сказал Лев. — Не нужно чересчур спешить. Все придет к тебе само, обязательно. И я обещаю тебе...

Она не стала спрашивать, что именно он обещает. Как и он не смог бы сейчас это выговорить.

Когда Лев вышел из дома, ветер с дождем так ударил ему прямо в лицо, что у него перехватило дыхание и на глазах выступили слезы. Впрочем, слезы были не только от ветра. Он вспомнил о том ярком светлом утре, о том серебряном рассвете на мокрой дороге, о той великой радости, которую испытывал всего три дня назад. Сегодня все было серо, неба не видно, света совсем мало, кругом бесконечный дождь, грязь... Грязь — вот подходящее название для этого

мира, Люс права. Ему захотелось рассмеяться, но глаза его все еще были полны слез. Она уже переименовала для него этот мир. Тогда утром, на дороге, все вокруг было наполнено счастьем, но теперь... и у него не нашлось подходящих слов — только ее имя. Люс. Все теперь заключалось для него в этом имени — и тот серебряный рассвет на дороге, и тот великолепный пылающий закат над Столицей много лет назад... но все это в прошлом, и самое главное еще только должно случиться. И вся работа им теперь только предстоит, и разговоры, и планы, и конфронтация со Столицей, и несомненная победа, их победа, победа света. «И я обещаю, обещаю тебе, — шептал он ветру, — всю мою жизнь, каждый ее день и год».

Ему хотелось пойти помедленней, остановиться, удержаться, продлить этот миг, но уже сам ветер, дувший прямо ему в лицо, заставлял скорее идти вперед. Еще так много нужно сделать, так мало осталось времени! Потом, позже... Возможно, сегодня ночью заявится банда Макмиллана; хотя пока что ничего не известно. Очевидно, догадавшись, что Люс выдала их планы, они перенесли сроки. Ничего не оставалось делать — только ждать и быть готовыми. Быть готовыми сейчас означало все. Не должно возникнуть никакой паники. Вне зависимости от того, кто, Шанти или Столица, сделает первый шаг, Люди Мира в любом случае обязаны знать, что им делать и как вести себя. Он пошел еще быстрее, он почти бежал по направлению к городу. Вкус дождя на губах казался ему сладким.

Лев был дома, когда — уже в сумерках — отец принес ему из Дома Собраний ту записку.

— Какой-то охранник со шрамом через всю физиономию примчался на всех парах и спросил Шульца, — рассказывал Саша своим тихим ироничным голосом. — По-моему, ему был нужен ты, а не я.

Записка была написана на плотной шершавой бумаге, которую делали в Столице. На мгновение Льву показалось, что эти тесные черные буквы написаны рукой Люс...

Шульц, я приду к Вонючему Кольцу сегодня на закате. Можешь привести с собой сколько угодно людей. Я приду один.

Луис Бурнье Фалько

Обман, явный обман. А не слишком ли явный? Времени как раз хватило, чтобы сбежать в домик Южного Ветра и показать записку Люс.

— Если он говорит, что придет один, значит, он будет один, — сказала она твердо.

— Ты же сама слышала, как он договаривался с этим Макмилланом, рассчитывая обмануть нас, — вмешался Андре.

Она презрительно посмотрела куда-то мимо него.

— Это его имя, — сказала она. — Он бы не стал подписываться собственным именем под ложью или фальшивкой. Он будет там один.

— Почему ты так уверена?

Она пожала плечами.

— Хорошо, я пойду, — сказал Лев. — Но вместе с тобой, Андре, и, если хочешь, пусть пойдет еще столько людей, сколько ты сочтешь нужным. Поторопитесь: до заката осталось не более часа.

— Ты ведь знаешь, что они именно тебя хотят получить в заложники, — упрекнул его Андре. — И все-таки намерен идти? Прямо им в руки?

Лев решительно кивнул.

— Я — как уотсит, — сказал он и засмеялся. — Сел на ладошку — и нет его! Пошли, пора. Давай-ка лучше вместе соберем людей, Андре. Люс... А ты хочешь пойти?

Она стояла в нерешительности.

— Нет, — ответила она и нахмурилась. — Я не могу; я боюсь.

— Это естественно.

— И все же я, наверное, должна пойти. И должна сама сказать ему, что вы не держите меня здесь силой, что это мое собственное решение. Он не верит...

— Что ты там решила и верит он в это или нет, в общем-то, для них значения не имеет, — заявил Андре. — Ты для них всего лишь предлог; ты их собственность. Лучше не ходи, Люс. Если ты там будешь, они, возможно, все-таки попытаются вернуть тебя назад силой.

Она кивнула, но все еще колебалась. Потом с отчаянной решимостью сказала:

— Я должна пойти!

— Нет!.. — вырвалось у Льва, но она продолжала:

— Я должна. Обязана. Я не желаю оставаться в стороне, когда кто-то решает мою судьбу; я не желаю, чтобы из-за меня дрались и тянули туда-сюда.

— Никто тебя обратно не отдаст, — сказал Лев. — И вообще — ты принадлежишь сама себе. Хорошо, мы пойдем вместе, если ты так решила.

Она молча кивнула.

Вонючим Кольцом называлось древнее кольцевое дерево с южной стороны дороги, примерно на середине пути от Столицы до города; оно было, наверное, на несколько веков старше всех остальных кольцевых деревьев в этой местности. Собственно, сами деревья в кольце давным-давно рухнули и сгнили, остался только круглый пруд в центре. Именно здесь были построены первые плавильные печи Столицы. Они тоже уже разрушились, поскольку позже, лет сорок назад, была обнаружена более богатая руда в Южных Холмах. Оборудование отсюда увезли, и старые сараи со сгнившими стенами, поросшие выюнком и ядовитой розой, безобразной осевшей кучей торчали на плоском берегу пруда.

Андре и Лев успели собрать человек двадцать, и Андре повел их в обход, чтобы убедиться, что ни в старых сараях, ни за ними не прячутся охранники. Сараи были пусты, а другого места, чтобы спрятаться, на расстоянии по крайней мере нескольких сотен метров не было — местность казалась плоской как блин, лишенной растительности, пустынной и довольно неприятной, особенно в сумеречном вечернем свете. Мелкий дождь покрывал рябью серую гладь круглого пруда, который тоже выглядел каким-то неприкрытым, незащитным, точно слепой, вечно разверстый глаз. На противоположном берегу пруда стоял ожидавший их Фалько. Они видели, как он вылез из-под куста, где пытался хоть как-то укрыться от дождя, и пошел по берегу к ним. Один.

Лев отделился от остальных и пошел ему навстречу. Андре, позволив ему отойти достаточно далеко, двинулся следом, держась метрах в сорока. С ним вместе пошли Саша, Мартин, Люс и кое-кто еще. Остальные, охраняя подходы, рассыпались по берегу серого пруда и на склоне холма у тропы, что вела к дороге.

Фалько и Лев остановились лицом друг к другу на самом берегу пруда, где проходила тропа. Их разделяла небольшая грязная бухточка — место впадения в пруд ручейка; это был заливчик не шире полуметра, с берегами из

чистого песочка, точно специально созданный для игрушечной детской лодочки. Чрезвычайно обостренное восприятие Льва тут же отметило и этот заливчик, и этот чистый песок, и то, как хорошо мог бы здесь играть какой-нибудь малыш, хотя он глаз не сводил с прямой напряженной фигуры Фалько, его красивого лица, очень похожего на лицо Люс и все же совсем иного, с его подпоясанного ремнем плаща, потемневшего от дождя на плечах...

Фалько явно заметил дочь в той группе, что следовала за Львом, но, казалось, даже не посмотрел на нее и не стал говорить с нею. Он заговорил со Львом — тихим сухим голосом, который было трудно слышать из-за бесконечного шелеста и шепота дождя.

— Как видишь, я один и без оружия. И говорю только от себя лично. Не как Советник Фалько.

Лев кивнул. Ему вдруг очень захотелось назвать этого человека по имени — не Сеньор и не Фалько, а по имени: Луис. Он не понял, откуда взялось это желание, и промолчал.

— Я бы хотел, чтобы моя дочь вернулась домой.

Лев, легко повернувшись, указал ему на Люс.

— Поговорите с ней сами, сеньор Фалько, если хотите, — сказал он.

— Я пришел, чтобы поговорить с тобой, если тебе дано право говорить от имени восставших.

— Восставших? Вы снова за свое, сеньор Фалько? И я, и любой другой имеем право говорить от имени Шанти, если угодно. Но Люс Марина тоже имеет полное право сама говорить за себя.

— Я пришел не для того, чтобы спорить, — сказал Фалько. Он держался исключительно корректно, вежливо, однако лицо его было суровым. За этим спокойствием и сдержанностью чувствовалась внутренняя мука. — Послушай. На ваш город будет совершена атака. Теперь ты это знаешь. А я теперь уже не могу предотвратить ее, даже если б захотел. Хотя мне удалось ее отсрочить. Но я не желаю, чтобы во всем этом была замешана моя дочь. Она должна быть в безопасности. Если вы сейчас отошлете ее домой со мной вместе, то я этой же ночью пришлю сюда сеньору Адельсон и остальных заложников в сопровождении моей охраны. И сам приду с ними вместе, если хочешь. Или же отпусти мою дочь после того, как я приведу заложников. И пусть все это будет исключительно между нами. Остальное же —

впрочем, вы сами начали проявлять неповиновение — мне уже неподвластно, и я не могу помешать противостоянию Столицы и города, как не можешь этого и ты, по крайней мере теперь. Единственное, что мы можем еще сделать, — *это обменяться заложниками и таким образом спасти их.*

— Сеньор, я ценю вашу искренность, но я не отнимал у вас Люс Марину и не могу вернуть ее вам.

И тут Люс подошла и встала с ним рядом, кутаясь в свою черную шаль.

— Отец, — сказала она внятно и твердо, совсем не так, как только что разговаривали мужчины, — ты, конечно же, можешь остановить бандитов Макмиллана, если захочешь!

Лицо Фалько не дрогнуло; видимо, все его спокойствие могло разлететься на куски, дай он себе хоть чуточку воли. Повисла тишина, нарушаемая лишь шумом дождя. Сгустились сумерки; свет пробивался лишь у самого горизонта далеко на западе.

— Я не могу, Люс, — сказал он, как и прежде, тихо, полным боли голосом. — Герман... решительно настроен во что бы то ни стало забрать тебя обратно.

— А если я вернусь с тобой? Ведь тогда у него не будет никакого предлога, чтобы атаковать Шанги. Тогда ты прикажешь ему отменить атаку?

Фалько застыл, с трудом глотая слюну, словно горло у него совершенно пересохло. Лев стиснул руки: ему было мучительно видеть перед собой человека, столь сильного и гордого, что любое унижение было для него физически непереносимо, но все же терпевшего унижения и свое вынужденное бессилие.

— Я не могу. Все это зашло слишком далеко. — Фалько снова сглотнул и предпринял еще одну попытку уговорить дочь. — Вернись домой, Люс Марина, и я тут же отошлю назад Веру и остальных заложников. Даю слово. — Он быстро глянул на Льва, и по его побелевшему лицу юноша понял то, что словами Фалько выговорить не мог: он просил помощи.

— Отошли их! — сказала Люс. — Ты не имеешь никакого права держать их в тюрьме.

— И ты придешь... — Это был даже не вопрос.

Она покачала головой:

— И меня ты не имеешь права держать в тюрьме.

— Не в тюрьме, Люс! Ты же моя дочь... — Он сделал шаг вперед. Она отступила назад.

— Нет! — крикнула она. — Ни за что! Ведь я просто ставка в твоей игре. Я никогда к тебе не вернусь — ты нападаешь на невинных людей, ты п-преследуешь их! — Она заикалась и с трудом подбирала слова. — И я никогда не выйду замуж за Германа Макмиллана! Я видеть его не могу, я его н-ненавижу! Я вернусь, когда буду вольна приходить и уходить, и вообще — делать, что мне захочется. Но пока Герман Макмиллан вхож в Каса Фалько, ноги моей там не будет!

— Макмиллан? — трепеща, воскликнул ее отец. — Но, Люс, тебе вовсе не обязательно выходить замуж за Макмиллана... — Он умолк и перевел растерянный взгляд на Льва. — Пожалуйста, пойдем домой, — сказал он дрогнувшим голосом, но тут же взял себя в руки. — Я постараюсь предотвратить нападение на Шанти, если смогу. Мы... мы договоримся, — сказал он, обращаясь ко Льву, — мы непременно договоримся...

— Да, с удовольствием — сейчас, позже, когда вам будет угодно, — сказал Лев. — Мы, собственно, больше ни о чем никогда и не просили, сеньор. Но и вы не должны просить вашу дочь торговать собственной свободой — даже во имя освобождения Веры, или во имя вашей доброй воли, или во имя нашей безопасности. Это недопустимо, неправильно. Вы не можете так поступать; да и мы этого никогда не примем.

И снова Фалько застыл в неподвижности, но то была уже иная неподвижность: Лев не сразу понял, что она означает — поражение или же окончательный отказ выполнить поставленные условия. Лицо Фалько, совершенно белое и мокрое то ли от дождя, то ли от испарины, было мертвым, лишенным всякого выражения.

— Значит, вы ее не отпустите, — проговорил он.

— Я сама не пойду с тобой, — ответила Люс.

Фалько коротко кивнул и медленно пошел прочь по берегу пруда, мимо густых кустов, совершенно растрепанных и утративших всякую форму, а потом стал подниматься по пологому склону к дороге, что вела в Столицу. Его прямая невысокая темная фигура быстро растворилась в сумерках.

Глава 9

Служанка Тереза, постучав в дверь Веринной комнаты, приоткрыла ее и сказала полунаглым-полузастенчивым тоном, каким обычно пользуется прислуга, выполняя приказания господ:

— Сеньора Вера, Дон Луис хотел бы поговорить с вами. Он в большой гостиной, пройдите туда, пожалуйста!

— Ах ты Господи, — вздохнула Вера. — Он все еще в дурном настроении?

— В отвратительном! — тут же охотно откликнулась Тереза, забыв про господский наказ и про наглый тон. Она опустила голову и почесала мозоль на загрубевшей босой подошве. К Вере теперь все слуги в доме относились как к подруге, доброй тетушке или старшей сестре; даже суровая пожилая повариха Сильвия на следующий день после исчезновения Люс пришла к Вере, чтобы поговорить с ней об этом и явно ничуть не задумываясь, что ищет поддержки у «врага».

— Вы разве не видели, что у Микаэла с лицом? — продолжала между тем Тереза. — Дон Луис вчера выбил ему два зуба, потому что Микаэл слишком медленно снимал с него ботинки да еще и что-то там бормотал и ворчал по своему обыкновению — ну вы же знаете, как он все делает, — и Дон Луис вдруг вышел из себя и с размаху ударил его в лицо той ногой, с которой ботинок еще не сняли. У Микаэла все распухло, и он стал похож на сумчатую летучую мышь. Линда говорит, что Дон Луис вчера вечером ходил в Шанти-таун. Совсем один. Томас, слуга Маркесов, видел его — он шел прямо по дороге в город. Как вы думаете, что

случилось? Может, он пытался выкрасть бедненькую сеньориту Люс и вернуть домой, а?

— О Господи, — снова вздохнула Вера. — Ну что ж, не стоит заставлять его ждать. — Она пригладила волосы, поправила одежду и сказала Терезе: — Какие хорошенькие у тебя сережки. Ну пошли! — И последовала за девушкой в гостиную Каса Фалько.

Луис Фалько сидел в глубоком кресле у окна и смотрел куда-то вдаль на Залив Мечты. По морю пробегали беспокойные блики утреннего солнца; пышные кучевые облака словно кипели; их вершины сверкали ослепительной белизной, а низ был темным и мрачным, особенно когда эти несомые ветром облачные горы закрывали солнечный свет. Фалько, увидев входящую Веру, встал ей навстречу. Лицо его было жестким и страшно усталым. Он не смотрел на нее, когда сказал:

— Сеньора, если у вас здесь есть какие-то вещи, которые вы хотели бы взять с собой, соберите их, пожалуйста.

— У меня здесь ничего нет, — медленно ответила Вера. Фалько никогда так не пугал ее прежде своим видом; и за месяц, проведенный у него в доме, она действительно стала испытывать к нему искреннюю симпатию и уважение. Но сейчас он сильно переменился, и на лице его были написаны не боль и не гнев, как раньше и все время с тех пор, как убежала Люс; это было бы понятно; нет, в нем самом словно произошла некая перемена, тяжкий внутренний надлом, как если бы этот человек был смертельно болен или тяжело ранен. Вере хотелось что-нибудь сказать ему, но она не знала, как к нему подступить.

— Вы дали мне разную одежду, Дон Луис. И еще кое-какие вещи, — осторожно сказала она. Та одежда, которую она носила сейчас, принадлежала его жене, это она знала; он давно уже велел перенести в ее комнату сундук, полный красивых тонкотканых юбок, блузок и шалей; все это бережно хранилось, аккуратно переложенное лепестками сухой лаванды, хотя ее запах давно выветрился. — Мне, наверное, следует пойти и переодеться в мою одежду? — спросила она.

— Нет... Да, если хотите. Впрочем, как угодно... Возвращайтесь сюда как можно скорее, пожалуйста.

Когда она через пять минут вернулась в своем костюме из белого шелка-сырца, он снова сидел неподвижно у окна

и смотрел на огромный залив, над которым висели серебристые облака.

И снова встал ей навстречу, и снова заговорил, не глядя на нее:

— А теперь, сеньора, пойдете, пожалуйста, со мной.

— Куда вы хотите пойти? — спросила Вера, не двигаясь с места.

— В Шанти. — Он сказал это так, словно забыл упомянуть название города прежде, словно думая о чем-то совершенно ином. — Надеюсь, что это будет возможным... и вы воссоединитесь со своим народом.

— Я тоже надеюсь. А почему это может стать невозможным, Дон Луис?

Он не ответил. Она чувствовала, что он вовсе не избегает ответа на ее вопрос — ответить на него выше его сил. Он чуть отступил в сторону, пропуская ее вперед. Она оглядела большую гостиную, поневоле ставшую ей так хорошо знакомой, потом взглянула ему в лицо.

— Я бы хотела поблагодарить вас за доброе отношение ко мне, Дон Луис, — сказала она с холодноватой вежливостью. — Мне никогда не забыть того гостеприимства, благодаря которому узник становится гостем.

Его усталое лицо ничуть не переменялось; он только молча покачал головой и выждал, когда она пройдет в дверь.

Она шла впереди, а он последовал за нею — через вестибюль и на улицу. Она не переступала порога этого дома с тех пор, как ее сюда привели.

Она надеялась, что на улице ее, возможно, ждут Ян, Хари и все остальные, но их что-то видно не было. Там стояли человек десять — она узнала личную охрану Фалько и его слуг, — которые чего-то ждали, собравшись кучкой. Чуть поодаль беседовали несколько пожилых мужчин и среди них Советник Маркес, зять Фалько Купер и кое-кто из их свиты, всего, наверно, человек тридцать. Фалько быстро окинул собравшихся взглядом, затем по-прежнему вежливо пропустил Веру вперед и двинулся следом за нею по ступеням крыльца и дальше — по крутой улице, сделав знак остальным следовать за ними.

На ходу Вера услышала, как старый Маркес что-то говорит Фалько, но слов не разобрала. Охранник со шрамом на лице, Анибал, осторожно подмигнул ей, ловко подобравшись поближе вместе со своим братом. Сила ветра и яркость

солнечного света ошеломили ее после столь долгого пребывания в доме или в окруженном со всех сторон стенами садике, и она чувствовала, что ступает неуверенно, словно после долгой болезни.

Перед Капитолием их поджидало гораздо больше людей — не меньше сорока, а то и пятидесяти мужчин, молодых и одетых в одинаковые мундиры темно-коричневого цвета из грубой толстой материи; ткацкие фабрики, должно быть, работали сверхурочно, подумала Вера. Мундиры были перетянуты ремнями и украшены большими металлическими пуговицами. В таком виде эти люди казались чуть ли не близнецами. Мужчины в мундирах были вооружены плетками и мушкетами. Да они же в точности как те, на картине в Капитолии, вспомнила Вера. Среди них был и Герман Макмиллан, высокий, широкоплечий, улыбающийся. Он вышел вперед и поклонился:

— К вашим услугам, Дон Луис!

— Доброе утро, Дон Герман. Все готово? — Фалько по-прежнему говорил каким-то мертвым, задушенным голосом.

— Все готово, сеньор. Эй, парни, идем в город! — И он, не дожидаясь Фалько, развернул свой отряд и повел его вверх по Морской улице. Фалько схватил Веру за руку и поспешил с нею, проталкиваясь среди одетых в темные мундиры молодых людей, в голову отряда, к Макмиллану. Его группа попыталась протиснуться за ним следом, но тщетно. Веру чуть не раздавили эти молодые здоровенные парни с ружьями, плетками и с жесткими мощными руками. Они враждебно смотрели на нее сверху вниз. Улица была узкой, и Фалько с трудом пробивался вперед, таща Веру за собой. Однако стоило ему поравняться с Макмилланом, как он отпустил ее руку и пошел спокойно и уверенно, словно с самого начала шагал здесь, во главе вооруженной колонны.

Макмиллан глянул на него и удовлетворенно усмехнулся. Зато потом изобразил целую пантомиму, заметив идущую рядом Веру.

— Кто это, Дон Луис? Вы что, с собой дуэнью взяли?

— Были ли какие-нибудь еще донесения из Шанти за последние часы? — не обращая на его гримасы внимания, спросил Фалько.

— Они все еще собирают силы; согласно последнему донесению, марш еще не начат.

— Охранники ждут нас у Памятника?

Макмиллан кивнул:

— Ангел позаботился о дополнительном подкреплении. Самое время выступить! Моих людей заставили слишком долго ждать.

— Я надеюсь, вы сможете управлять своими людьми и сохранять порядок? — сухо спросил Фалько.

— Парни прямо-таки рвутся в бой, — ответил Макмиллан с фальшивой доверительностью, и Вера заметила, как Фалько быстро глянул на него своими пронзительными черными глазами.

— Послушайте, Дон Герман, если ваши люди не станут подчиняться вашим же приказам — и если вы не станете подчиняться моим приказам, — тогда давайте лучше остановимся прямо здесь, сейчас. — Фалько резко остановился, и таково было воздействие его личности на окружающих, что и Вера, и Макмиллан, и все, кто шел за ними, остановились тоже, словно связанные одной веревочкой.

Улыбка с лица Макмиллана исчезла.

— Командующий здесь вы, Советник, — сказал он льстиво, не скрывая, однако, своего недовольства.

Фалько кивнул и двинулся дальше. Теперь уже он задавал темп марша, заметила Вера.

Когда они приблизились к окружавшим Столицу холмам, то возле Памятника к ним присоединился еще больший отряд, который двинулся за ними следом — позади сторонников Фалько и одетых в коричневые мундиры молодцов Макмиллана, так что, когда они вышли на дорогу, ведущую в Шанти, в войске было уже не меньше двухсот человек.

Но что они намерены предпринять? — тревожилась Вера. Неужели напасть на Шанти? Но зачем в таком случае им я? Что у них на уме? Этот обезумевший от горя Фалько и этот Макмиллан, бешеный от ревности, да еще целая толпа вооруженных мужчин, здоровенных, злобных, в дурацких мундирах и так бодро вышагивающих по дороге, что я за ними просто не успеваю... Ах если бы Хари и остальные были здесь и я могла бы видеть хоть одно нормальное человеческое лицо! Почему они взяли с собой только меня? Где остальные заложники? Неужели они их убили? Они все сумасшедшие, от них прямо-таки разит безумием, этот запах похож на запах крови... А там, в Шанти, знают, что они идут? Господи, знают ли они? И что они собираются

делать? Илия! Андре! Лев, дорогой мой мальчик! Как вы там? Как вы поступите? Сможете ли устоять? Нет, я не могу поспеть за ними, они идут слишком быстро, я не могу поспеть за ними...

Хотя жители Шанти и деревень уже давно, еще с раннего утра начали собираться для Короткого Марша, как без улыбки назвал его Саша, они успели подойти к дороге лишь где-то около полудня; и стояли большой хаотичной толпой вместе с детьми. Все время прибывали новые люди, они начинали искать в толпе приятелей и друзей, так что продвигались к Столице шантийцы очень медленно.

Фалько и Макмиллан со своим войском, напротив, шли очень быстро и к полудню продвинулись уже далеко, когда им сообщили об огромной толпе жителей Шанти-тауна, собравшейся на дороге.

Итак, обе армии встретились на холме Роктоп, ближе к Шанти, чем к Столице. Авангард шантийцев, поднявшись на невысокую вершину холма, увидел, что столичный отряд как раз начал подъем по направлению к ним. Шантийцы сразу же остановились. У них было преимущество — они успели занять высоту, что, однако же, было и недостатком их положения, ибо большинство участников Марша все еще находились у подножия холма с восточной стороны и не только не могли видеть, что происходит, но и сами тоже видны не были. Илия предложил Андре и Льву отступить вниз метров на сто, чтобы встретить столичный отряд примерно посередине склона; и хотя это отступление могло быть расценено противником как трусость или слабость, они все же решили, что так будет лучше. Стоило сделать этот шаг назад хотя бы для того, чтобы полюбоваться физиономией Германа Макмиллана, когда он с важным видом взобрался на вершину холма и впервые увидел то, с чем ему предстояло столкнуться: перед ним было море из четырех тысяч людей, сгрудившихся вдоль дороги, затопивших все подножие холма, его склон и близлежащую равнину — дети, женщины, мужчины, самое большое скопление людей, когда-либо наблюдавшееся в этом мире. И все они пели. Багровое лицо Макмиллана побелело. Он отдал какой-то приказ своим людям в коричневых мундирах, и те молча взяли ружья на изготовку. Зато многие из охранников и большинство добровольцев начали галдеть, стараясь заглу-

шить это мощное пение, и потребовались определенные усилия, чтобы заставить их замолчать, ибо предводители обеих групп готовились говорить.

Первым начал Фалько, однако шум все еще продолжался и его суховатый голос оказался почти не слышен. Тогда вперед вышел Лев и перехватил инициативу. Его звонкий голос заставил всех замолчать и торжествующе разлетался с вершины холма в наполненном ветром и серебристым светом пространстве.

— Люди Мира дружески приветствуют представителей Столицы! Мы пришли, чтобы рассказать о своих планах и намерениях и о том, что просим сделать вас, а также о том, каковы будут последствия, если вы наши решения отвергнете. Послушайте же нас, люди Виктории, ибо мы возлагаем на эту встречу большие надежды! Во-первых, наши люди, находящиеся у вас в заложниках, должны быть немедленно освобождены. Во-вторых, больше не будет никаких облав и принудительных работ. В-третьих, представители города и Столицы встретятся, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество и выработать более справедливое торгово-экономическое соглашение. И наконец, планы Шанти о том, чтобы основать новую колонию на севере, будут претворены в жизнь без вмешательства Столицы, как и планы Столицы относительно новых поселений в Южной Долине вдоль Мельничной реки — без вмешательства со стороны Шанти. Эти четыре пункта были всесторонне обсуждены и единодушно приняты жителями нашего города, так что дальнейшему обсуждению они не подлежат. Если они неприемлемы для Совета, то население Шанти вынуждено предупредить Столицу, что всякое сотрудничество, в том числе — торговля, снабжение продовольствием, топливом, лесом, одеждой, рудой и прочим, немедленно прекратится и не возобновится до тех пор, пока эти четыре условия не будут выполнены. Данное решение не терпит никаких компромиссов. Мы ни при каких условиях не станем применять против вас силу, однако, пока вы не пойдете навстречу нашим требованиям, сотрудничать с вами мы не станем. Повторяю: на компромисс мы не пойдём. Я говорю от имени всего моего народа. Мы намерены твердо держаться принятых решений.

Со всех сторон окруженная широкими темно-коричневыми спинами и плечами вооруженных мужчин, так что ей

ничего не было видно, Вера стояла, все еще не отдышавшись после этого мучительного для нее марш-броска, и смаргивала набегающие слезы. Ее била дрожь. В ясном, мужественном, сильном, молодом голосе Льва не слышалось ни гнева, ни какой-либо неуверенности, он словно выпевал слова Истины и Мира, рвавшиеся из его прекрасной души, из ее души, из души их народа, бросающего вызов и одновременно взывающего к надежде...

— Даже вопрос не может стоять, — прозвучал тусклый сухой голос Фалько, — о заключении каких-либо сделок или компромиссов. С этим мы согласны. Ваша демонстрация численного превосходства также весьма впечатляюща. Но имейте в виду: именно мы стоим на страже закона, и мы вооружены. Я бы не хотел применять силу. Пока в этом нет необходимости. Однако вы сами вынуждаете нас к этому, собрав такое количество народа и рассчитывая силой заставить нас принять ваши требования. С этим мы мириться не намерены. Если ваши люди сделают еще хотя бы шаг по направлению к Столице, я отдам приказ остановить их. Ответственность за нанесенные увечья или смерти ляжет целиком на вас. Вы вынуждаете нас пойти на крайние меры в целях защиты сообщества людей на планете Виктория, и мы не колеблясь прибегнем к этим мерам. А сейчас я требую, чтобы эта толпа немедленно разошлась по домам. Если этого не произойдет, я прикажу своим людям применить оружие. Но прежде я бы хотел обменяться заложниками, как мы договорились. Здесь ли Вера Адельсон и Люс Марина Фалько? Тогда пусть без опаски перейдут разделяющую нас границу.

— Мы ни о каком обмене не договаривались! — сказал Лев, и теперь в его голосе отчетливо слышался гнев.

Герман Макмиллан протолкался сквозь стену бандитов в темно-коричневых мундирах и схватил Веру за руку, не то желая помешать ей сбежать, не то, наоборот, отвести ее к несуществующей, но осязаемой границе. Его тяжелая жесткая хватка возмутила и рассердила ее; она снова задрожала, однако не вырвалась и ничего Макмиллану не сказала. Теперь она хорошо видела их обоих — Льва и Фалько — и вела себя совершенно спокойно.

Лев стоял лицом к ней, метрах в десяти, на самой вершине холма. Его ясное лицо странно светилось в беспоконном мелькании облаков и солнечных лучах. Рядом с ним стоял Илия и что-то быстро говорил ему. Лев, выслушав его, покачал головой и снова посмотрел на Фалько.

— Мы ни о каком обмене не договаривались, — повторил он, — и никакого обмена не будет. Отпустите Веру и остальных заложников. Ваша же дочь и без того совершенно свободна. Мы в торги не вступаем, разве вы этого не поняли? И угроз не боимся.

Ни звука не доносилось из многотысячной толпы, что разлилась у Льва за спиной вдоль дороги по склону холма. Хотя не всем было хорошо слышно, молчание волной захватило и задние ряды, и только там, в задних рядах, возникал порой тихий шепот или плач малыша, протестующего против слишком крепких объятий матери. Ветер тяжело вздохнул на вершине холма и улегся. Облака над Заливом Мечты становились все гуще, однако пока еще не совсем закрыли стоявшее в зените солнце.

Фалько по-прежнему молчал, не отвечая Льву.

Наконец он резко обернулся. Вера увидела его лицо — совершенно застывшее, словно отлитая из металла маска. Он сделал ей знак рукой — да, именно ей, ошибки быть не могло, — приказывая подойти к нему. Еще шаг, и она могла оказаться на свободе. Макмиллан отпустил наконец ее плечо. Сама себе не веря, она шагнула вперед, потом еще. Ее глаза нашли глаза Льва; он улыбался. Неужели победа действительно дается так легко? Неужели это возможно?

Грохот ружья в руках Макмиллана возле самого ее уха заставил ее дернуться всем телом назад, словно отдача от выстрела ударила в плечо именно ее. Она пошатнулась и тут же была сбита с ног ринувшимися вперед молодыми мужчинами в коричневых мундирах. Потом она лежала ничком на земле, тщетно пытаясь подняться хотя бы на четвереньки. Что-то вокруг трещало, свистело, ревело, визжало тонко и высоко, словно огромный пожар, но только где-то далеко-далеко, а рядом были лишь эти бандиты в тяжелых ботинках, которые спотыкались об нее, наступали, круша все на своем пути... Она проползла немного вперед и вжалась в землю, пытаясь как-то укрыться от них, но укрыться было негде, ничего вокруг не осталось, только шипение того страшного пожара, топот ног, глухой стук падающих тел и насквозь промокшая каменистая земля.

Наступила тишина, но не настоящая, а какая-то глупая, бессмысленная, возникшая внутри ее головы, где-то возле правого уха. Она потрясла головой, чтобы вытряхнуть эту

тишину. Не хватало света. Солнце зашло. Стало холодно, дул ледяной ветер, но почему-то дул совершенно беззвучно. Вера, дрожа от холода, села, держась руками за живот. Что за дурацкое место она выбрала, чтобы лежать, да еще ничком; она даже рассердилась на себя. Ее красивый белый костюм из шелка-сырца был весь в грязи и крови, прилип к груди и к рукам. Рядом с ней лицом вниз лежал какой-то человек в коричневом мундире. Совсем небольшой. Все они выглядели такими огромными, когда стояли вокруг нее толпой, но вот, лежа без движения, этот человек казался невысоким и очень худым. Он был буквально втоптан в землю, словно сам пытался стать ее частью, воссоединиться с нею; собственно, он уже наполовину погрузился в жидкую грязь. Да и вообще это был уже не человек — просто грязь; торчали только волосы и грязный коричневый мундир. Да, это был уже больше не человек. Никто не ушел. Она совсем замерзла. Ну что за дурацкое место она все-таки выбрала и теперь сидит здесь и никуда не идет. Она попробовала немножко проползти. Вокруг никого не осталось, и некому было сбить ее с ног, впрочем, она и сама не могла встать и пойти. Теперь ей, наверно, всегда придется только ползать. Теперь уже никто больше не сможет стоять в полный рост. Не за что теперь держаться. Никто больше не сможет нормально ходить по земле. Больше никогда. Они все лежат на земле — те немногие, что остались. Она еще немного проползла вперед и нашла Льва. Мальчик не был так втоптан в грязь, как тот человек в коричневом мундире; лицо его было цело, темные глаза открыты и смотрели в небо; но ничего не видели. Света было так мало. Вообще почти не было, да и ветер затих совсем. Скоро должен пойти дождь, вон тучи собираются над головой, тяжелые, точно свинцовая крыша. Одна из рук Льва раздроблена, растоптана тяжелыми ботинками, все кости переломаны и торчат белыми осколками сквозь кожу. Она еще немного протащила по земле, чтобы не видеть этого, и взяла Льва за вторую, неповрежденную руку. Рука его была очень холодной. «Ну вот, — сказала она, пытаясь хоть немного его утешить, — ну вот, Лев, мальчик мой дорогой. — Она сама едва слышала слова, которые произносила, они тонули в окружающей их тишине. — Скоро все будет хорошо, мальчик».

Глава 10

-Все хорошо, — сказала Люс. — Все в порядке. Не волнуйтесь. — Она вынуждена была говорить очень громко и чувствовала, как это глупо — все время повторять одно и то же; но ее слова каждый раз помогали, хотя и ненадолго. Вера сразу ложилась и затихала. Но вскоре снова порывалась сесть и начинала спрашивать, что происходит, встревоженная и испуганная. И обязательно спрашивала про Льва: «А как там Лев? У него же рука была сломана». Потом она начинала говорить, что должна вернуться в Столицу, в Каса Фалько, и ей, конечно же, ни в коем случае не следовало приходиться сюда с этими вооруженными людьми, это все ее вина, слишком уж ей хотелось вернуться домой, а вот если бы она сразу вернулась назад и продолжала оставаться заложницей, ничего страшного не случилось бы, верно? — Все в порядке, не волнуйтесь, — громко повторила Люс, потому что слышала Вера теперь очень плохо. — Все хорошо.

И действительно, люди ночью ложились спать, а утром вставали, что-то делали, готовили еду, ели, разговаривали друг с другом; жизнь продолжалась. И Люс продолжала жить. А ночью она ложилась спать, хотя заснуть было очень трудно. Но она все-таки засыпала и просыпалась среди ночи, в полной темноте от того, что ужасная толпа толкающихся, орущих людей наступала на нее, наступала... На самом деле все это уже произошло. В комнате было темно и тихо. Все уже в прошлом, все кончено — и все продолжается.

Похороны семнадцати погибших шантийцев состоялись через два дня после марша; кого-то хотели похоронить в родной деревне, однако общая панихида была в Доме Собраний. В эти дни Люс чувствовала себя совершенно чужой здесь; ей казалось, что Андре, Южному Ветру да и остальным тоже будет легче, если она не пойдет с ними вместе. Она сказала, что лучше останется с Верой, и они ушли без нее. Прошло довольно много времени; кругом стояла полная тишина — и в доме, и в исхлестанных дождями полях; Вера спала, и Люс, чтобы чем-нибудь занять руки, принялась выбирать семена из шелковичного волокна. Вдруг дверь отворилась, и в дом вошел невысокий стройный мужчина с седой головой. Сперва она его не узнала. «Я Александр Шульц, — сказал он. — Вера спит? Тогда пойдем. Они не должны были оставлять тебя здесь одну». И он пришел с нею вместе в Дом Собраний, когда панихида уже подходила к концу, и был с нею рядом во время похорон, в молчаливой процессии, что следовала за семнадцатью гробами на городское кладбище. Так что Люс, завернувшись в черную шаль, стояла у могилы Льва рядом с его отцом. Она была очень благодарна Саше, хотя не сказала ему ни слова и он тоже все время молчал.

Днем они с Южным Ветром работали на картофельном поле; картошку необходимо было убрать — еще несколько дней, и она просто сгнила бы в этой размокшей земле. Они трудились вместе, пока Вера спала, а когда она просыпалась, сменяли друг друга в доме и на поле, потому что за большой требовался постоянный уход. Часто приходили мать Южного Ветра и крупная, молчаливая, спокойная Италия; и Андре тоже забегал по крайней мере раз в день, хотя у него тоже было полно работы в поле да еще приходилось каждый вечер проводить в Доме Собраний, решая разные вопросы вместе с Илией и другими активистами. Теперь главным у них был Илия; именно он вел переговоры с представителями Столицы. Андре подробно рассказывал Люс и Южному Ветру, что уже сделано, однако никаких оценок не давал; Люс так и не знала, одобряет ли он действия Илии. Все мнения, упования, теории и принципы точно ветром унесло; все это было теперь мертво. Тяжкое горе огромной толпы, собравшейся на панихиду, тучей висело в воздухе, заполняло все вокруг. Они потерпели поражение. Там, на дороге погибли семнадцать человек из Шанти и еще восемь из Столицы. Да, эти шантийцы умерли во имя

мира, но во имя мира они и убивали. И вот все распалось. Глаза Андре были черны как уголь. Он шутил, стараясь как-то развеселить девушек (и Люс видела — теперь она видела все ясно и бесстрастно, — что он давно уже любит Южный Ветер), и обе они улыбались его шуткам и старались, чтобы он хоть капельку отдохнул у них, рядом с Верой. А днем Люс и Южный Ветер снова выходили в поле. Картофелины были маленькие, твердые и чистые; выкопанные из земли, они висели на целом пучке тонких длинных корней. Люс нравилась эта работа; все остальное было ей почти безразлично.

Порой Люс думала, что ничего на самом деле не происходило и не происходит, что все это понарошку, словно в театре теней, когда настоящие актеры прячутся за ширмой, словно в кукольном театре. И, в конце концов, даже с ней самой происходит нечто странное. Что, например, она делает в чужом поле целый день под тучами, под морозящим дождем, одетая в грязные штаны, заляпанные глиной до бедер, с перепачканными до локтей руками? Зачем она копает эту картошку для жителей Шанти-тауна? Ей и нужно-то всего-навсего проснуться и пойти домой. Любимая синяя юбка и вышитая блузка, конечно, уже висят в шкафу, чистые и отглаженные; Тереза принесет горячей воды, можно будет принять ванну... В камине, у западной стены гостиной Каса Фалько будут гореть крупные поленья, в такую промозглую погоду огонь будет особенно жарким... За толстыми стеклами окон, над заливом стгустится синева вечерних сумерек. Может быть, зайдет доктор со своим приятелем Валерой — поболтать; или забредет старый Советник Ди Джулио, надеясь на партию в шахматы с ее отцом...

Нет. Вот там-то как раз и живут марионетки; маленькие яркие одушевленные куклы. Там пустота, ничто; настоящее — здесь: эти картофелины, поскрипывание соломенного тюфяка на чердаке хижины в ночной тьме и тишине. Да, все это странно, может быть, даже неправильно, но только это и осталось в ее жизни.

Вера поправлялась. Ее лечила Сокровище, которая была врачом и считала, что, хотя тяжелое сотрясение мозга еще дает себя знать и Вера должна по крайней мере неделю провести в постели, она непременно вскоре встанет на ноги. Она уже просила, чтобы ей дали какую-нибудь работу. Южный Ветер поставила возле нее большую корзину хлопка,

собранного с хлопковых деревьев в далекой Красной Долине, и Вера его потихоньку пряла.

В тот день они втроем как раз пообедали, и Южный Ветер мыла посуду, а Люс убирала со стола, когда в комнату вошел Илия. Вера сидела в кровати с подложенной под спину подушкой и тихо вращала веретено. Илия показался Люс похожим на те маленькие картофелины — таким же чистым и твердым, с решительными голубыми глазами на круглом лице. Голос его оказался неожиданно низким, но звучал очень мягко. Илия сел, смахнул со стола крошки и заговорил, обращаясь главным образом к Вере.

— Все идет хорошо, — сообщил он ей. — Все в порядке.

Вера вообще теперь говорила мало. Левая сторона ее лица, по которой ударили ногой или дубинкой, все еще была опухшей, с заметными до сих пор синяками и ссадинами, однако она поворачивалась к собеседнику именно этой стороной, чтобы хоть что-то расслышать: в правом ухе у нее от удара лопнула барабанная перепонка. Она сидела, не выпуская из рук веретено, и кивала в такт словам Илии. Люс к нему не очень-то прислушивалась. Андре давно уже все рассказал им: заложники освобождены; условия сотрудничества со Столицей согласованы, обещан более справедливый обмен продуктов, производимых Шанти-тауном, на запчасти и рыбу; теперь обсуждается некий план совместного поселения в Южной Долине — сперва столичные отряды расчистят участки и подготовят землю, а потом переехавшие туда добровольцы из Шанти станут эту землю возделывать.

— А как же северная колония? — тихим слабым голосом спросила Вера.

Илия опустил голову и погрузился в изучение собственных ладоней. Потом наконец проговорил:

— Это была мечта, сон.

— А может, и все случившееся было сном, Илия?

Голос Веры изменился; Люс отставила в сторону кастрюли и прислушалась.

— Нет, конечно, нет! — воскликнул он. — Но мы хотели слишком многого и слишком скоро... да, слишком скоро. И нам не следовало делать такую ставку на этот марш, это ведь был акт открытого неповиновения...

— А что, скрытое неповиновение было бы лучше?

— Нет. Но конфронтация — путь ошибочный. Сотрудничество, совместные переговоры... разъяснения, аргумен-

тация... разумные аргументы... Я говорил Льву... Все время я пытался ему доказать...

Люс заметила слезы в голубых глазах Илии. Она тихонько сунула кастрюли и миски в кухонный шкаф и присела у очага.

— Советник Маркес — человек, в общем, разумный. Если бы тогда он был во главе Совета... — Илия не договорил. Вера молчала.

— Андре говорил, что ты главным образом общаешься теперь именно с Маркесом, — сказала Люс. — Так теперь он возглавляет Совет?

— Да.

— А мой отец в тюрьме?

— Под домашним арестом, как они выражаются, — ответил Илия, страшно смущенный. Люс молча кивнула, но Вера смотрела на них во все глаза.

— Дон Луис? Так он жив? А я думала... Он арестован? За что же?

Илия еще больше смутился, просто больно было на него смотреть. Вере ответила Люс:

— За то, что он убил Германа Макмиллана.

Вера изумленно вскинула брови, чувствуя, как в висках, особенно в том, опухшем, израненном, болезненно пульсирует кровь.

— Я сама этого не видела, — продолжала Люс сухо и спокойно. — Мы с Южным Ветром стояли далеко, в задних рядах. Зато Андре был впереди, вместе со Львом и Илией, и все видел. Он и рассказал мне. Это случилось сразу после того, как Макмиллан застрелил Льва; когда наши еще не поняли, что происходит, а люди Макмиллана как раз начали стрелять по толпе шантйцев. Мой отец выхватил у одного из них ружье и ударил Макмиллана прикладом. Во всяком случае, по словам Андре, из ружья отец не стрелял. Я думаю, потом трудно было определить, отчего именно умер Макмиллан, ведь люди метались туда-сюда прямо по телам, но Андре считает, что тот удар Макмиллана и прикончил. Так или иначе, он был мертв, когда они туда вернулись.

— Я тоже это видел, — с трудом выговорил Илия своим густым басом. — Это было... Я думаю, именно его удар... удержал тех людей из Столицы, и они перестали стрелять, они были сбиты с толку...

— Никакого приказа отдать так и не успели, — сказала Люс, — и участники марша первыми бросились в атаку. Андре думает, что если бы мой отец не ударил Макмиллана, то никакого сражения бы не получилось: столичные просто стреляли бы, а шантйцы бежали бы от них.

— И мы не предали бы свои идеалы, — сказала Южный Ветер ясно и твердо. — Если бы наши не набросились на столичных первыми, те, возможно, вообще больше не стали бы стрелять. Ведь они стреляли в целях самообороны.

— И тогда был бы убит только один Лев? — так же громко и ясно спросила Люс. — Нет, Южный Ветер, Герман Макмиллан непременно отдал бы приказ стрелять! Он, собственно, уже его отдал. Если бы участники марша бросились бежать раньше, да, тогда, возможно, убито было бы меньше людей. И не погиб бы ни один из столичных. Но Лев-то все равно был бы мертв. А Макмиллан был бы жив.

Илия смотрел на нее, и в его глазах она увидела то, чего никогда не замечала прежде; она не могла бы точно определить это чувство — возможно, ненависть или даже страх.

— Почему он сделал это? — прошелестел сухой, исполненный боли и сожаления шепот Веры.

— Не знаю! — воскликнула Люс. Она испытывала неслышанное облегчение: наконец-то она высказала все вслух, перестала таить свои чувства в себе и твердить, что все в порядке. Она чуть не рассмеялась. — Разве я способна понять, что и почему делает мой отец, что он думает, что он вообще такое? Может быть, он сошел с ума? Именно это старый Маркес сообщил Андре на прошлой неделе. Я знаю твердо: окажись я тогда на его месте, я бы тоже непременно убила Макмиллана. Но это вовсе не объясняет, почему так поступил он. У меня этому нет объяснения. Самое простое — сказать, что он сошел с ума. Видишь, Южный Ветер, вот тут-то и кроется ваша общая ошибка. Вы себя считаете кругом правыми, вы уверены, что насилием ничего не добьешься, что, убивая, ничего не завоеешь — только порой это «ничего» и есть то, что людям нужно. Смерти им нужно. И они ее получают.

Воцарилась полная тишина.

— Советник Фалько просто понимал, сколь безумен поступок Макмиллана, — начал было Илия, — и хотел предупредить, предотвратить...

— Нет, — оборвала его Люс, — не хотел. Он вовсе не пытался предотвратить стрельбу или ненужные жертвы, и

он отнюдь не был вашим сторонником. Неужели вам в голову ничего больше не приходит, сеньор Илия, кроме ваших «разумных аргументов»? Вам непременно нужна «обоснованная причина»? Ну так вот, мой отец убил Макмиллана по той же самой «причине», по которой Лев стоял перед этими вооруженными людьми и открыто презирал их, и был за это убит... Потому что он был настоящим мужчиной, и настоящие мужчины ведут себя именно так. А «причины» и «аргументы» отыскиваются потом.

Илия стиснул руки; лицо его настолько побледнело, что светлые голубые глаза казались неестественно яркими. Он смотрел прямо на Люс. Потом сказал, впрочем, довольно миролюбиво:

— Почему ты живешь здесь, Люс Марина?

— Куда же еще мне идти? — спросила она почти насмешливо.

— К своему отцу.

— Да, именно так обычно и поступают женщины...

— Пойми, он в отчаянии, он унижен; ты нужна ему.

— А вам нет.

— Неправда, нам ты нужна! — с отчаянием проговорила Вера. — Илия, неужели ты тоже с ума сошел? Ты что, пытаешься выгнать ее отсюда?

— Это все из-за нее... Если бы она сюда не явилась, Лев... Это ее вина!.. — Илия больше не в силах был справиться со своими чувствами, голос его звенел, широко раскрытые глаза сверкали. — Это ее вина!

— Что ты такое говоришь? — прошептала Вера, и Южный Ветер закричала яростно:

— Нет! Ничего подобного!

Люс молчала.

Илия, весь дрожа, закрыл руками лицо. Долгое время никто не проронил ни слова.

— Простите, — сказал он наконец, поднимая голову. Глаза его были сухими и блестящими, рот странно кривился, он с трудом выговаривал слова. — Прости меня, Люс Марина. Я сам себя не помнил, нес какой-то бред... Ты пришла к нам, и мы, конечно же, тебе рады. Просто я... я, видимо, очень устал. Я все пытался понять, как следует поступить, как действовать правильно... А это так трудно — понять, что правильно...

Все три женщины хранили молчание.

— Говорят, я иду на компромиссы... Да, я иду на компромиссы, а что еще мне остается делать? И снова возникают разговоры: Илия предает наши идеалы, продает нас Маркесу, навечно привязывает нас к Столице, мы теряем все, за что боролись. Но чего же вы хотите? Еще смертей? Или новой конфронтации? Хотите видеть, как Народ Мира снова пойдет под пули? Как наших людей будут бить, убивать... и снова люди будут гибнуть... а мы, которые... которые верили в мир, в ненасилие...

— Никто ничего подобного о тебе не говорит, Илия, — медленно проговорила Вера.

— Нам нельзя торопиться. Нужно быть благоразумными. Ведь невозможно сделать все сразу. Мы не должны действовать второпях, используя насилие. Конечно, это нелегко... это очень трудно!

— Да, — подтвердила Вера, — это трудно.

— Мы собрались со всего света, — рассказывал старик. — Из больших городов и совсем крохотных деревень. Люди приходили отовсюду. В начале Марша, в Москве, в нем участвовало четыре тысячи, а у западных границ страны под названием Россия — уже семь тысяч. Они прошли через всю Европу, и каждый день сотни и сотни людей присоединялись к участникам Марша — семьями и поодиночке, молодые и старые. Они приходили пешком из близлежащих селений, они приезжали издалека, из-за морей и океанов, из Индии, из Африки. Все старались принести с собой хоть что-нибудь — прежде всего нужна была еда и деньги, чтобы покупать еду, ибо такому большому количеству людей еды все время не хватало. Жители городов выстраивались вдоль дорог, чтобы посмотреть, как идут участники Марша, и порой дети подбегали к ним и дарили им еду и драгоценные монетки. Множество солдат из армий великих держав тоже стояли вдоль дорог и как могли защищали участников Марша, а также следили за тем, чтобы те не нанесли вреда полям, деревьям и постройкам, ведь людей собралось такое множество. Участники Марша пели, и иногда солдаты пели с ними вместе, а порой бросали свое оружие и ночью, в темноте убегали и присоединялись к Маршу. Люди все шли и шли. Когда по ночам они разбивали лагерь, то казалось, будто целый огромный город вдруг вырастал в чистом поле. Люди все шли, и шли, и шли — по полям Франции, по

полям Германии, по высоким горам Испании, неделями, месяцами, и пели песни Мира. И вот наконец они добрались до берега моря — десять тысяч самых сильных. Здесь суша кончалась, здесь был город Лиссабон, где им были обещаны корабли. И корабли действительно оказались в гавани.

Таков был Долгий Марш. Но путешествие этих людей еще не закончилось, нет! Они сели на корабли, чтобы плыть к Свободной Земле, где, как они надеялись, их будут радостно встречать, однако участников Марша теперь оказалось чересчур много. На кораблях могло уплыть не более двух тысяч, а их, как я уже говорил, было целых десять тысяч, и толпа на берегу все росла. Что же они стали делать? Они делали раскладные кровати, они набивались по десять человек в каюту, рассчитанную на двоих, и капитаны этих больших кораблей сказали: остановитесь, нельзя перегружать суда, к тому же у нас не хватит запасов воды, ведь плавание предстоит долгое. И, поскольку все сесть на корабли не могли, люди начали покупать лодки, рыбацьи баркасы, яхты; и знатные богатые владельцы собственных яхт часто сами приходили к ним и говорили: «Возьмите мое судно, я могу отвезти пятьдесят человек на Свободную Землю». И часто приплывали рыбаки из одного города, который назывался Англия, и предлагали: «Вот мой баркас, я могу отвезти пятьдесят человек». Кое-кто боялся плыть на маленьких суденышках через такое громадное море; кое-кто решил вернуться домой. Но все время приходили новые и новые люди, желавшие присоединиться к участникам Марша, и число их росло. И вот наконец все суда вышли из гавани Лиссабона, играла музыка, на ветру развевались ленты и флаги, и люди — на больших кораблях и на маленьких, на лодках и на рыбацких баркасах — пели.

Но в открытом море суда не могли держаться вместе. Большие корабли шли быстро, маленькие медленно. Через восемь дней большие корабли уже приплыли в город Монраль, в страну Кан-Америку. Потом стали приплывать и другие суда, их караван растянулся по всему океану, некоторые приплыли на несколько дней позже, некоторые — на несколько недель. Мои родители были на одном из маленьких судов, на красивой белой яхте под названием «Анита», которую одна благородная дама одолжила участникам Марша, чтобы люди смогли переправиться через океан на Свободную Землю. На этой яхте плыли сорок

человек. Моя мать рассказывала, какие это были хорошие деньки. Погода стояла прекрасная, люди сидели на палубе; грелись на солнышке и строили планы, как создадут Столицу Мира на той земле, которую им обещали, — в одной горной долине на севере Кан-Америки.

Но когда они приплыли в Монтраль, их встретили люди с ружьями, арестовали и посадили в тюрьму; в тюрьмах оказались и все остальные участники Марша, в том числе и с больших кораблей.

Правительство Кан-Америки заявило, что их, к сожалению, оказалось слишком много, не две тысячи, как здесь рассчитывали, а целых десять, и в стране не найдется места для стольких людей. Кроме того, в таком количестве участники Марша казались правительству опасными. Тем более что люди продолжали прибывать отовсюду и присоединяться к ним, устраивали лагеря вокруг города Монترалья и вокруг тюрем и лагерей для заключенных и пели песни Мира. Даже из Бразилии стали приходить люди, которые начали свой собственный Долгий Марш, продвигаясь на север вдоль всего континента. Правители Кан-Америки испугались и заявили, что не в состоянии поддерживать порядок в такой орде и обеспечивать ее пищей. Они назвали это Нашествием. Они говорили, что идеи Мира — сплошная ложь; просто потому, что не понимали их и не хотели понять. Они видели, что жители их собственной страны присоединяются к Народу Мира и переходят на его сторону, и понимали, что этого допустить нельзя, ведь все их население должно было участвовать в Войне с Республикой, которая длилась уже двадцать лет и не думала кончаться, она продолжается до сих пор. И тогда они сказали, что все Люди Мира — предатели и шпионы Республики, и поместили их в специальные лагеря вместо обещанной горной долины на севере страны. Там я и родился, в лагере для заключенных, в Монтрале.

Наконец правители Кан-Америки додумались; хорошо, сказали они, мы выполним свое обещание и дадим вам хорошую землю, но на Земле для вас места нет, и мы предоставим вам космический корабль, специально построенный в Бразилии, чтобы вывозить с Земли воров и убийц. Таких кораблей у них было построено три, два они уже отослали на планету Виктория, а третьим так и не воспользовались, потому что законы у них переменялись. И никому этот корабль не был нужен — ведь он мог совершить

только один перелет, с Земли на Викторию, а вернуться назад уже не мог. Так вот, они сказали, что Бразилия отдает этот космический корабль Народу Мира. На нем могли улететь две тысячи человек, больше он не вмещал. Остальные участники Марша должны были либо самостоятельно возвращаться к себе на родину, за океан, в Россию и другие страны, либо жить в лагерях для заключенных и делать оружие для Войны с Республикой. Они потребовали также, чтобы все вожди Народа Мира улетели на корабле — Мехта, Адельсон, Каминская, Вичевска, Шульц... Нам здесь, на Земле, такие люди не нужны, заявили правители Кан-Америки, потому что они не любят Войну. Вот и пусть везут свой Мир на другую планету.

Итак, две тысячи были выбраны с помощью жребия. И тяжким был тот выбор; то был самый горький из самых горьких дней нашей жизни. Для тех, кто улетал, еще оставалась надежда, но какой ценой! Ведь они должны были лететь в бескрайнем космическом пространстве даже без пилота, их ждал неведомый мир, откуда нет ни малейшей возможности когда-либо вернуться назад! Но для тех, кто должен был остаться, надежда погасла совсем. Ибо на Земле больше не было места для Мира.

И вот выбор был сделан, и все слезы выплаканы, и корабль улетел. И для тех двух тысяч, и для их детей, и для детей их детей Долгий Марш завершился. Здесь, в долине, на планете Виктория мы построили город и назвали его Шанти. Но мы не забываем тот Долгий Марш, и великое путешествие через океан, и тех, кто остался на Земле, их протянутые к нам руки... Мы никогда не забываем Землю.

Дети слушали: светлокожие и темнокожие лица; черные и каштановые волосы; у многих взгляды напряжены, полны боли; а кому-то просто интересно, кто-то тронут до глубины души, кому-то уже наскучило без конца слушать одно и то же... Все они уже слышали раньше эту историю, хотя многие из них были совсем малышами. Эта история была одной из непрменных составляющих их мира. И только Люс слушала все это впервые.

В мозгу у нее роились сотни вопросов, их было, пожалуй, чересчур много, так что она предоставила возможность спрашивать детям.

— А почему Дружба такая черная? Потому что ее бабушка родом из Черной России?

— Расскажи о космическом корабле! О том, как они там все спали!

— Расскажи, какие на Земле животные!

Некоторые из вопросов задавались специально для Люс; дети хотели, чтобы она, чужая здесь и уже такая взрослая, хотя ничего толком не понимает, услышала их любимые места из саги о Народе Мира.

— Расскажи Люс о самолетах! — крикнула страшно возбужденная девочка и, обернувшись к Люс, сама начала рассказывать: когда отец и мать старого Хари плыли на лодке через океан, над ними пролетел самолет, это такая летающая машина, потом раздался грохот, самолет упал в море и взорвался. Это был самолет Республики, и они увидели в воде людей, попытались подобрать их, но никого не нашли, а вода оказалась ядовитой, и они вынуждены были плыть дальше.

— Расскажи о тех людях, которые приходили из Аферки! — потребовал какой-то малыш. Но Хари уже устал.

— Хватит на сегодня, — сказал он. — Давайте лучше споем одну из песен Долгого Марша. А ну-ка Мария!

Девочка лет двенадцати встала, улыбнулась и повернулась к остальным лицом.

— О, когда придем, — начала она нежным звенящим голосом, и остальные подхватили:

Когда дойдем до Лиссабона,
Нас будут ждать
На рейде белые суда...
О, когда придем...

Облака уплывали прочь. Тяжелые, с растрепанными краями, они плыли над рекой и северными холмами. Далеко на юге виднелась серебристая полоска залива. Капли последнего ливня все еще падали время от времени с листьев огромных хлопковых деревьев на холме, высившемся к востоку от домика Южного Ветра. Больше не было слышно ни звука. Молчаливый мир, серый мир. Люс в одиночестве стояла под деревьями и смотрела на раскинувшуюся перед ней пустынную землю. Она уже очень давно не была одна. Она понятия не имела, отправившись на этот холм, куда идет, что ищет. Наверное, место, где можно побыть в тишине и одиночестве. Ноги сами повели ее сюда, и она оказалась наедине с самой собой.

Земля промокла насквозь и была скользкой; травы тяжело склонились, пропитанные влагой, зато теплое пончо, которое дала ей Италия, оказалось достаточно толстым и уютным. Люс, завернувшись в него, села на пружинящую кучу листьев под деревом и сидела неподвижно, обхватив руками колени и глядя на запад, за излучину реки. Она долго сидела так, видя перед собой лишь безлюдные неподвижные просторы, медленно плывущие облака и реку.

Одна, одна. Она осталась одна. Раньше у нее как-то не хватало времени, чтобы понять это. Она работала вместе с Южным Ветром в поле, ухаживала за Верой, беседовала с Андре, потихоньку-помаленьку участвовала в жизни Шанти, помогая устраивать новую школу, ибо теперь двери в столичную школу для жителей Шанти были закрыты. Она ходила в гости то в один дом, то в другой; ее приглашала то одна семья, то другая, ей были рады, старались угодить — это были добрые люди, не привыкшие отталкивать кого-то или кому-то не доверять. И только по ночам, на своем соломенном тюфяке в темноте чердака, оно приходило к ней, ее одиночество, и у него было белое и горькое лицо. И она пугалась его, и кричала в душе: что же мне теперь делать? И пряталась в подушку, чтобы не видеть этого горького лица, и спасалась от него в своей усталости, во сне.

И сейчас оно снова возникло перед ней, тихонько подкравшись по серым склонам холма. Теперь лицо одиночества было лицом Льва. И ей уже не хотелось отворачиваться.

Настала пора увидеть, что же она потеряла. Увидеть все целиком. Тот закат над крышами Столицы много лет назад, его лицо, освещенное этим великолепным заревом... «Ты ведь можешь увидеть — можешь понять, как это должно быть и что есть на самом деле...» Вечерние сумерки, домик Южного Ветра и его глаза... «...жить и умирать ради чего-то, во имя каких-то духовных ценностей...» Тот ветер и свет на холме Роктоп и его звонкий голос... И все остальное — все те дни, и весь солнечный свет, и все те ветра, и годы, которые они должны были бы прожить вместе и никогда уже не проживут вместе, дни, которые должны были бы наступить, но не наступят, потому что он умер. Застрелен на той дороге, на ветру, в двадцать один год. Он так и не взобрался на свои горы и никогда уже не взберется.

Если его душа сейчас здесь, в этом мире, подумала Люс, то она улетела туда, на север, в ту долину, которую он

нашел, в те горы, о которых он ей столько рассказывал в ту последнюю ночь перед маршем в Столицу — рассказывал с такой радостью, с таким восторгом... «Они куда выше, чем ты можешь себе вообразить, Люс, выше и белее. Ты смотришь, смотришь вверх, без конца задираешь голову, а видишь только белоснежные вершины — одну над другой».

Да, он, конечно же, сейчас там, не здесь. Это всего лишь ее собственное одиночество — то, что явилось ей, то, что носило его лицо.

— Иди вперед, Лев, — прошептала она. — Иди вперед, не оглядываясь, иди к своим вершинам, поднимайся все выше и выше...

Но куда же пойти мне? Куда пойти мне, такой одинокой?

У меня больше нет Льва и нет матери, хотя я никогда ее и не знала, и нет отца, ведь я никогда не смогу его понять, и нет дома, и Столицы, и друзей... Впрочем, друзья у меня есть — Вера, Южный Ветер, Андре и все остальные тоже... Это очень милые добрые люди, но это не мой народ. Только Лев, один лишь Лев был мне близок, но он не мог остаться со мной, не захотел подождать — спешил, должен был взобраться на свою вершину и отложил жизнь на потом... Он был для меня единственной удачей, счастьем. И я для него — тоже. Но он не желал этого видеть, не желал остановиться и посмотреть. Он просто от этого отвернулся.

Что ж, постою здесь, над этими долинами, среди деревьев и как следует подумаю. И вот что мне осталось: Лев мертв, его надежды рухнули, мой отец стал убийцей и сошел с ума, а я предала Столицу и осталась чужой в Шанти-тауне.

Но может быть, есть что-то еще?

Да, конечно: весь остальной мир. Вон та река, и те холмы, и тот свет над заливом. Молчаливый, но живой мир, в котором нет людей. И только я — одна.

Спустившись с холма, она увидела Андре, который выходил из домика Южного Ветра и в дверях обернулся, что-то говоря Вере. Она окликнула его, и они пошли друг другу навстречу через вспаханные поля. Он дождался ее на повороте тропинки, что вела в Шанти, и спросил:

— Ты где это была, Люс? — Спрашивал он как всегда озабоченно и смущенно. Он никогда, в отличие от осталь-

ных, не пытался во что-то втянуть ее, привлечь к какой-то работе, увлечь идеей; он просто всегда был рядом, такой надежный и спокойный. С тех пор как погиб Лев, Андре, казалось, больше не знал радости, зато знал много тревог. Он стоял перед ней — крепкий, чуть сутулый, терпеливо неся на своих плечах слишком тяжелое для него бремя.

— Нигде, — ответила она, и это была чистая правда. — Просто гуляла. Думала. Андре, скажи мне... Я ни за что не спрошу тебя об этом в присутствии Веры, не хочу ее расстраивать. Что за отношения теперь между Столицей и Шанти? Я знаю недостаточно, чтобы понять то, что говорит Илия. Неужели все будет как прежде... до того?

Андре довольно долго молчал, потом кивнул. Его смуглое лицо с высокими скулами, точно вырезанное из дерева, казалось замкнутым.

— Или даже хуже, — сказал он. Потом прибавил, стараясь быть справедливым по отношению к Илие: — Кое-что, правда, стало лучше. Новое торговое соглашение, например... если, конечно, они станут выполнять условия. И строительство нового поселения в Южной Долине. Надеюсь, там теперь не будет ни принудительных работ, ни всяких там «частных владений» и тому подобного. Я очень на это надеюсь. Тогда, по крайней мере, мы могли бы поработать там вместе.

— Ты пойдешь туда?

— Я не знаю. Наверное, да. Я должен.

— А как же северная колония? Та долина, которую вы отыскали? И те горы?

Андре вскинул на нее глаза. И покачал головой.

— Это невозможно? — продолжила Люс.

— Только если мы отправимся туда как их слуги.

— Неужели Маркес не согласится, чтобы шантийцы отправились туда одни?

Он снова молча покачал головой.

— А что, если вы все-таки уйдете туда?

— Думаешь, я не об этом мечтаю ночи напролет? — вырвалось у него, и впервые в голосе его отчетливо послышалась горечь. — Особенно после того, как мы с Илией, Сокровищем и Сэмом вместе с Маркесом и Советом обсуждаем всяческие компромиссы и наше с ними сотрудничество, и они учат нас, как нужно быть благоразумными... Но если мы уйдем туда, они отправятся следом.

— Тогда давайте пойдём в такие места, куда они последовать за нами не смогут.

— Это куда же? — Голос Андре снова звучал терпеливо, чуть иронично и вяло.

— Куда угодно! Далеко на восток, в леса. Или на юго-восток. Или на юг, на дальнее побережье, куда не добираются их люди — должны же быть и другие заливы, другие подходящие места для городов! Это ведь огромный континент, целый мир... Ну почему мы должны все время торчать здесь, тесниться, жить друг у друга на голове, уничтожать друг друга? Ты же не раз бывал в диком краю, и ты, и Лев, и другие, ты же знаешь, что это такое...

— Да. Знаю.

— Вот ты вернулся. А почему ты должен был возвращаться? Почему люди просто не могут взять и уйти? Пусть не все сразу, но какая-то группа — просто возьмет и уйдет ночью, и пойдет все дальше и дальше. Может быть, несколько человек пойдут впереди нее, чтобы подготовить места для ночевки. Но нельзя оставлять после себя следов! Совсем! Нужно просто идти вперед как можно дальше. И когда пройдешь километров сто, или пятьсот, или тысячу, то непременно найдешь хорошее место. И тогда можно остановиться. И строить новый город. Свой. Без них.

— Это не... это же разрушит наше общество, Люс! — проговорил Андре. — И потом, это очень похоже... на бегство.

— Ах вот как! — воскликнула Люс, и глаза ее вспыхнули гневом. — На бегство? Вы сами заползаете в ловушку Маркеса, поставленную в Южной Долине, однако считаете, что стоите во весь рост! И вы еще говорите о свободе и выборе пути... Мир, целый мир перед вами — вы можете там жить и быть свободными! И это вы называете бегством? От чего? К чему? Может быть, мы действительно не способны стать абсолютно свободными, ведь от себя никуда не денешься, но хоть попробовать-то новую жизнь нужно! Иначе для чего был этот ваш Долгий Марш? И почему вы считаете, что он уже кончился?

Глава 11

Вера собиралась непременно проводить их и ни в коем случае не спать, однако все же уснула у очага, и даже тихий стук в дверь ее не разбудил. Южный Ветер и Люс вошли, посмотрели друг на друга, и Южный Ветер покачала головой. Тогда Люс опустилась на колени и ловко сунула еще один брикет торфа поглубже в очаг, за тлеющие угли, чтобы дом не выстыл за ночь, а Южный Ветер, ставшая неуклюжей в тяжелом плаще и с громадным рюкзаком за плечами, осторожно наклонилась и коснулась губами седых волос Веры; потом огляделась — взгляд у нее стал растерянным, торопливым — и вышла за порог. Люс последовала за ней.

Ночь была облачной, очень темной, но дождь не шел. Холод пробудил Люс от затянувшегося сонливого ожидания, и она вздохнула и поежилась. Рядом с ней в темноте слышались тихие голоса. «Обе здесь? Ну хорошо, пошли». И они двинулись в путь — мимо дома, через картофельное поле, к невысокой гряде холмов, что лежала за восточным краем этого поля. Когда глаза Люс привыкли к темноте, она обнаружила, что рядом с ней шагает отец Льва, Саша. Почувствовав ее пристальный взгляд, он спросил:

— Ну как рюкзак? Не тяжело?

— Нормально, — прошептала она еле слышно. Говорить нельзя, нельзя вообще шуметь, думала Люс, во всяком случае, пока они не уйдут достаточно далеко от города, не минуют последнюю деревушку за Мельничной рекой, пока не окажутся как можно дальше от населенных мест. Нужно идти очень быстро и очень тихо, чтобы никто не смог

остановить их. Господи, только не допусти, чтобы они нас нагнали и остановили!

— А в мой, наверно, железок насовали или непрощенных грехов, — прошептал Саша; и они пошли дальше молча — двенадцать теней во мраке, окутавшем этот мир.

Было еще темно, когда они добрались до Мельничной реки, на несколько километров южнее того места, где она впадала в залив. Лодка была уже на месте. Рядом ждали Андре и Упорный. Хари перевез сперва первую шестерку, потом вторую. Люс была во второй. Когда они подплывали к восточному берегу, плотный ночной мрак начал редеть, легкий сумеречный свет окутал все вокруг, над водой сгустился туман. Дрожа, Люс выбралась из лодки на берег. Когда Хари остался в лодке один, Андре и еще несколько мужчин оттолкнули ее подальше от берега.

— Счастливо вам, счастливо! Идите с миром! — прошелестел с воды тихий голос Хари, и лодка исчезла в тумане, точно призрак, а двенадцать путешественников остались стоять на песке, тоже призрачно расплывающемся под ногами в волнах тумана.

— Поднимайтесь сюда, — послышался голос Андре. — Они нам тут завтрак оставили.

Это была последняя и самая маленькая из трех групп, покинувших Шанти — уходили они ночью по очереди. Две первые группы ждали их дальше, где-то среди высоких холмов на восточном берегу Мельничной реки; в эти края заглядывали разве что трапперы, охотники на кроликов. Следуя гуськом за Андре и Упорным, путешественники углубились в просторы дикого края.

В течение многих часов, с трудом переставляя ноги, она только и думала о том, как рухнет на землю — прямо в грязь или на песок — рухнет и больше не двинется с места до утра. Но когда они остановились, она увидела перед собой Мартина и Андре, которые что-то обсуждали, и пошла вперед, к ним, и хотя по-прежнему едва переставляла ноги, но почему-то на землю не рухнула, а продолжала стоять и слушать то, о чем они говорили.

— Мартин считает, что компас неправильно показывает направление, — сказал Андре. С сомнением во взоре он протянул компас Люс, словно та с первого взгляда способна была определить, исправен ли инструмент. Однако ей в

первую очередь бросилось в глаза лишь его изящество, красивый полированный деревянный корпус, золоченое кольцо, в котором держалось стекло, хрупкая блестящая полированная игла, что дрожала и колебалась между тонко вырезанными буквами; что за чудесная вещь, просто невероятно красивая вещь, думала она. Однако Мартин смотрел на компас с неодобрением.

— Я уверен, что стрелка отклоняется к востоку, — сказал он. — Там, в этих горах, наверное, залежи железной руды, они и влияют на показания компаса.

Уже полтора суток они шли через эту странную, поросшую низким кустарником местность, где не росло ни одного дерева-кольца, ни одного хлопкового дерева, только колючий спутанный кустарник не более двух метров высотой. Это невозможно было назвать ни лесом, ни полем; и очень редко можно было разглядеть, что там дальше, впереди. Однако они знали, что на востоке, слева от них тянется гряда довольно высоких холмов или гор, которые они впервые увидели шесть дней назад. И каждый раз, поднимаясь хотя бы на небольшой бугорок среди этих бесконечных зарослей, они видели высоко в небесах слева темно-красные скалистые вершины.

— Ну и что, — сказала Люс, впервые за долгие часы услышав свой собственный голос, — разве это так уж важно?

Андре пожевал нижнюю губу. Выглядел он изможденным, скулы обтянуты, опухшие глаза потухли.

— Для того чтобы просто идти вперед, особого значения это, конечно, не имеет, — вымолвил он. — Можно ориентироваться по солнцу или по звездам, когда они видны. Но вот для составления карты...

— А что, если нам снова свернуть на восток? И прямо здесь перебраться через эти горы — они ведь, похоже, ниже не станут, — сказал Мартин. Он был моложе Андре и казался значительно менее усталым. На Мартина всегда можно было положиться, он был надежной опорой для всей группы. Люс чувствовала себя с ним особенно легко: он был похож на жителя Столицы, плотный, темноволосый, мускулистый, немногословный и мрачноватый; даже его имя было одним из самых распространенных в Столице. Но, несмотря на несомненные достоинства Мартина и его силу, со своим вопросом Люс обратилась все-таки к Андре.

— Мы по-прежнему не должны оставлять никаких меток?

Стараясь замести след, они не оставляли никаких вех на своем пути и лишь тщательнейшим образом заносили маршрут на карту. Такую карту можно было бы отправить с посыльным в Шанти, и через пару лет вторая группа легко отыскала бы по ней поселение первых колонистов. Это было, собственно, главной причиной для составления карты, и они все время говорили об этом. На Андре, отвечавшего за карту во время предыдущего путешествия на север, эта ответственность была возложена и теперь, оказавшись довольно тяжким бременем, ибо идея последующей пересылки карты в Шанти не выходила у первопроходцев из головы. Им это казалось единственной ниточкой, связывающей их сейчас с друзьями, с прошлым, с представителями человечества на этой планете; единственным твердым доказательством того, что они не просто скитаются без цели, затерявшись в диком краю, а выполняют конкретную задачу; но теперь, поскольку оставлять какие-либо вехи они не могли, надежда на возвращение таяла на глазах.

Временами Люс становилась горячей сторонницей составления карты, временами же идея эта ее раздражала. Мартин считал, что карту составлять обязательно нужно, однако куда больше его заботило то, чтобы после них не оставалось никаких следов; он хмурился, а Италия делала замечание каждому, кто неосторожно наступал на ветку или ломал ее. Разумеется, за десять дней своего путешествия они оставили так мало следов, насколько это вообще было возможно при группе в шестьдесят семь человек.

Когда Люс задала свой вопрос, Мартин только покачал головой.

— Смотри, — сказал он, — и без того с самого начала любому ясно, в какую сторону мы ушли: это же самый легкий путь!

Андре улыбнулся. Это была даже не улыбка, а нечто, похожее на трещину в пересохшей жесткой коре дерева. Глаза его сузились настолько, что превратились в щелочки, тоже напоминавшие трещинки на стволе дерева. Вот потому-то Люс и любила общество Андре: она черпала в нем силы, ей нравилась его добродушная терпеливая улыбка, похожая на улыбку дерева.

— Ты совсем не учитываешь того, что у нас было множество других возможностей выбрать направление, Мартин! — сказал он, и Люс явственно представила себе следующую картину: отряд бандитов Макмиллана с ружьями и плетками, в высоких ботинках и темно-коричневых мундирах стоит на крутом обрывистом берегу реки и смотрит — на север, на восток, на юг — и всюду видит лишь бескрайнюю, лишенную чьих-либо следов и голосов, темную от бесконечных дождей равнину и серо-ржавые скалы на горизонте, и тщетно пытается определить, какое из сотни возможных направлений избрали беглецы...

— Раз так, — сказала она, — тогда давайте начнем подниматься в горы прямо отсюда.

— Во всяком случае, лезть вверх будет не труднее, чем продирааться через эти чертовы колючки, — сказал Андре.

Мартин согласно закивал.

— Значит, снова поворачиваем на восток?

— Ну да. В общем-то, все равно — здесь или чуть дальше, — и Андре вытащил свою грязноватую, с загнутыми от частого употребления уголками карту, чтобы сделать на ней соответствующую пометку.

— Прямо сразу? — спросила Люс. — Или сначала разобьем лагерь?

Обычно они не устраивали стоянки до самого заката, однако сегодня они и так прошли уже очень много. Люс огляделась; вокруг были колючие, высотой ей по плечо, бронзового цвета густые кусты, росшие примерно в метре или двух друг от друга; миллионы чьих-то следов, кажущихся бессмысленными тропками, вились вокруг каждого куста, уходя в заросли. Сейчас она видела всего несколько человек изо всей группы; стоило объявить остановку, как большая часть людей сразу же уселась на землю, чтобы хоть немного отдохнуть. Над головой висели удивительно ровные серо-свинцовые тучи. Уже две ночи дождя не выпадало совсем, но с каждым часом становилось холоднее.

— Ну, если мы пройдем еще несколько километров, — сказал Андре, — то доберемся до подножия холмов, а там, возможно, найдем какое-нибудь убежище. И воду. — Он оценивающе посмотрел на Люс, ожидая ее решения. Он, Мартин, Италия и другие, прокладывающие тропу, воспринимали Люс и нескольких пожилых женщин как наиболее слабосильных, не способных выдержать тот темп,

который могли бы задать лидеры. Она не возражала. К концу каждого дня ее физические силы бывали полностью исчерпаны и даже больше того. Первые три дня пути, когда они шли очень быстро, опасаясь погони, совершенно измотали ее, и хотя постепенно она становилась все более выносливой, восстановить первоначальную потерю сил так и не смогла. Она принимала жалостливое отношение к себе более сильных и все накапливавшееся раздражение изливала на проклятый рюкзак, ненавидя его, как чудовищное и непосильное бремя, из-за которого у нее подгибались колени и чуть ли не ломалась шея. Ах если бы только им не нужно было тащить с собой буквально все необходимое! Но они не могли даже погрузить вещи на тележки — непременно остались бы хорошо заметные колеи. С другой стороны, шестьдесят семь человек просто не выжили бы в диком краю в течение столь длительного перехода, тем более что и для нового поселения нужно было множество различных вещей и инструментов, даже если бы сейчас было лето, а не поздняя осень, готовая вот-вот смениться зимой...

— Ну что ж, тогда пройдем еще несколько километров, — бодро сказала Люс. Она всегда бывала поражена собственной храбростью, когда говорила что-либо подобное. «Еще несколько километров» — словно это сущий пустяк, а ведь последние часов шесть она только и мечтала о том, чтобы сесть, просто сесть на землю хотя бы на минуту, или на месяц, или на год! Но сейчас, после разговора о том, чтобы снова повернуть на восток, она почувствовала, что не менее сильно желает выбраться наконец из этого ужасного лабиринта и оказаться в горах, где по крайней мере можно будет хорошо видеть все вокруг.

— Но только сперва несколько минуток отдохнем, — прибавила она и тут же села, выскользнув из лямок рюкзака, и принялась растирать ноющие плечи. Андре тоже мгновенно опустился на землю рядом с нею. Мартин прошел дальше, чтобы поговорить с людьми и обсудить дальнейшее изменение маршрута. Никого из отряда видно не было, все люди словно растворились в море колючих ветвей, растянувшись на песчаной сероватой земле, покрытой слоем острых шипов, и стараясь полностью использовать те краткие мгновения, что были им отпущены на отдых. Люс даже Андре почти не видела — только краешек его рюкзака. Северо-западный ветер, несильный, но очень холодный, слегка шуршал в сухова-

тых ветках кустарника. Больше никаких звуков слышно не было.

Шестьдесят семь человек — и ни одного не видно, не слышно. Пропали. Исчезли, точно капля воды в реке, точно унесенное ветром слово. Словно только что по дикому краю двигались какие-то некрупные живые существа, шуршали в кустах, но далеко не ушли и вскоре двигаться перестали; дикому краю, как и колючим зарослям, продвижение этих существ было совершенно безразлично — во всяком случае, не более важно, чем еще один упавший на землю шип, присоединившийся к миллиону других шипов, или еще одна осыпавшаяся песчинка среди бесчисленного множества других песчинок.

Тот страх, который она узнала за эти десять дней пути, подбирался к ней, окутывая разум подобно негустому серому туману в полях, когда все вокруг будто застилает холодная пелена слепоты. Среди путешественников лишь ей одной был знаком этот страх, он достался ей по наследству, а также — благодаря воспитанию; ведь именно для того, чтобы уберечься от этого страха, жители Столицы возводили свои дома с прочными стенами и окружали их заборами, именно этот страх сделал улицы в Столице такими прямыми, а входы в дома такими узкими. Вряд ли Люс понимала это, живя за стенами родного дома, за закрытыми узкими и низкими дверями. Она тогда чувствовала себя в полной безопасности. Даже в Шанти она вскоре забыла об этом страхе, несмотря на то что чувствовала себя там чужой, ибо стены, окружавшие ее в этом городе, тоже были очень крепки, хотя и невидимы глазу: дружба, взаимопомощь, любовь — тесный круг человеческих отношений. Но она сама, по собственному выбору покинула этот круг, вышла за его пределы, отправилась в дикие края и наконец лицом к лицу встретилась с тем страхом, к которому ее готовили всю жизнь.

Это оказалось не просто, и она вынуждена была бороться, когда страх впервые стал овладевать ею, иначе он затмевал все вокруг и она совершенно теряла способность ориентироваться в собственных действиях и поступках, теряла способность выбора. Но она вынуждена была бороться с этим страхом вслепую, ибо разум ее противостоять ему не мог: страх был куда древнее и сильнее разума, сильнее любых разумных аргументов и идей...

Можно было бы, например, уцепиться за идею существования Бога. Там, в Столице детям часто рассказывали о Боге. Он создал все миры, и он наказывал дурных людей, а хороших после смерти отправлял в Рай. Рай был прекрасным домом с золотой крышей, где добрая Мария, Матерь Божья и мать всех людей на свете, поджидала души умерших. Люс когда-то очень нравилась эта история. Когда она была маленькой, то молилась Богу, чтобы он устроил одно и не позволил случиться другому — ведь он мог сделать все на свете, если его попросить как следует; позже ей нравилось представлять себе Матерь Божью, и свою собственную мать, и то, как они вместе ведут хозяйство в Раю. Но когда она думала о Рае здесь, то он казался очень далеким и маленьким; и Столица тоже. Здесь никакого Бога существовать не могло; Бог принадлежал людям, а там, где не было людей, не было и Бога. На похоронах Льва и других погибших тоже говорили о Боге, но все это теперь осталось далеко позади. Здесь ничего подобного не было. Никто не создавал этот дикий край, и не было в нем ни зла, ни добра; он просто существовал.

Колючей сухой веточкой Люс нарисовала на песчаной земле возле своей ступни кружок, стараясь сделать его как можно ровнее. Этот кружок изображал некий мир, или некую самостоятельную личность, или Бога — можно было назвать его как угодно. Больше никто и ничто в диком краю не могло бы ТАК подумать о каком-то нарисованном кружке — и она вдруг вспомнила изящное золотистое кольцо, которым было закреплено стекло компаса. Так думать об абстрактном кружке могла здесь только она — потому что она была человеком, обладала разумом, и глазами, и умелыми руками, и способна была что-то вообразить, а потом выразить возникший образ в рисунке, пусть даже в очень простом. Но ведь и любая капля росы, упавшая с листа в пруд, любая из капель здешнего вечного дождя могли создать окружность и притом куда более правильную — ровный, расходящийся от центра круг, — и если бы у этого пруда или лужицы не было берегов, то созданная каплей окружность могла бы расширяться до бесконечности, становясь все менее заметной, но все более широкой. Она, Люс, не могла сделать того, что могла сделать любая капля воды. И что, собственно, было там, внутри ее кружка? Песчинки, пыль, несколько крохотных камешков, полузасыпанная колючка, усталое лицо Андре, голос Южного Ветра,

глаза Саши, так похожие на глаза Льва, непроходящая боль в плечах, натруженных лямками тяжелого рюкзака, и еще ее страх. Этот кружок не мог удержать в своих границах ее страх. И она стерла его, разгладила песок рукой, и все стало как прежде, как было всегда и как будет всегда после того, как они уйдут отсюда и пойдут дальше.

— Сперва мне казалось, что я бросаю Тиммо, расстаюсь с ним навсегда, — говорила Южный Ветер, изучая самый большой из водяных пузырей на своей левой ступне. — Особенно когда мы ушли из нашего дома. Мы ведь с ним строили его вместе... ты знаешь. Мне казалось, что я уйду прочь и оставляю его там одного. Но теперь мне так не кажется. Ведь он погиб где-то здесь, в этих краях. Я знаю, что не прямо здесь, а немного севернее и выше, но сейчас я чувствую, что он не так ужасно далеко от меня, как всю осень, пока я жила в нашем домике; наоборот, сейчас я почти уверена, что иду ему навстречу. Не для того, чтобы умереть — я вовсе не это имела в виду; просто там я все время думала, что он умер, а здесь, почти с самого начала путешествия, я думаю о нем, как о живом. Как если бы он сейчас был рядом со мной.

Они расположились лагерем в ложбине у подножия красных холмов, возле веселого ручейка с каменистым руслом. Давно уже были разложены костры, приготовлена и съедена пища. Многие даже успели забраться в спальные мешки и уснуть. Еще не совсем стемнело, но было очень холодно, так что, если не двигаться, оставалось только жаться к огню или же как следует закутаться и лечь спать. В первые пять ночей путешествия они не разжигали костров, опасаясь погони, и эти ночи были поистине ужасны; Люс никогда прежде не знала столь простого и явственного наслаждения, какое она испытала, когда, после нескольких мучительных ночевок, на стоянке впервые разожгли большой костер — это произошло еще на пустошах южного склона, внутри большого дерева-кольца, и с тех пор каждый вечер она снова и снова с наслаждением приобщалась к этой роскоши: горячей пище и долгожданному теплу. Те три семьи, вместе с которыми они с Южным Ветром устраивались на ночлег и готовили еду, уже укладывались спать; младший из детей — и самый младший среди путешественников — мальчик одиннадцати лет уже свернулся в своем

спальном мешке калачиком, как сумчатая летучая мышь, и крепко спал. Люс подбрасывала в костер топливо, пока Южный Ветер занималась своими стертymi в кровь ногами. Вверх и вниз по берегу реки горели еще семь таких же костров, и самый дальний казался всего лишь пламенем свечи в серо-голубых сумерках, пятнышком золотистого неверного света. Говор ручейка заглушал людские голоса, звучащие возле костров.

— Пойду соберу еще немного дров, — сказала Люс. Она вовсе не избегала ответа на то, что рассказала ей Южный Ветер. Просто никакого ответа не требовалось. Южный Ветер была человеком удивительно добрым и великодушным; она отдавала, как и рассказывала: не ожидая чего-то взамен или в ответ. В целом мире не нашлось бы лучшего друга, не требующего ничего, но всегда способного поддержать и ободрить.

Они много прошли в этот день, километров двадцать семь по подсчетам Мартина, и выбрались наконец из этого монотонного кошмарного лабиринта колючих кустарников. Они приготовили горячий ужин, костер горел жарко, и не было дождя. Когда она снова встала, то даже боль в плечах показалась Люс приятной (потому что рюкзак не оттягивал их назад). Именно эти мгновения в конце дня, у костра искупали для нее всю тяжесть мучительных голодных дней пути, когда шагаешь, шагаешь и шагаешь без конца и только пытаешься ослабить врезающиеся в плечи лямки мешка, часами шлепая по грязи, под дождем, когда кажется, что идти дальше совершенно бессмысленно; эти вечера искупали и самое страшное — одинокие часы в черной ночной тиши, когда она просыпалась от одного и того же страшного сна: ей казалось, что их лагерь окружают какие-то неведомые существа, не понятно, живые или нет, но недоступные, невидимые в темноте; они стояли вокруг и наблюдали за ними.

— Вот здесь уже поджило, — сказала Южный Ветер, когда Люс вернулась к костру с целой охапкой хвороста, набранного в зарослях на склоне, — а на пятке никак не заживает. Ты знаешь, сегодня весь день у меня было такое чувство, что нас больше никто не преследует.

— Не думаю, чтобы нас вообще кто-то пытался преследовать, — откликнулась Люс, подбрасывая ветки в костер. — Мне всегда казалось, что они не осмелятся пойти за нами, даже если б знали, куда идти. Там, в Столице, люди не

хотят и думать о диких краях. Им хочется считать, будто ничего этого не существует.

— Надеюсь, что ты права. Отвратительное ощущение, когда от кого-то убегаешь. Ощущать себя просто исследователями, первопроходцами куда лучше.

Люс добилась того, чтобы костер горел не слишком сильно, но ровно, и присела возле него на корточки, некоторое время прямо-таки всем своим существом впитывая идущее от огня тепло.

— Я соскучилась по Вере, — сказала она. Горло у нее пересохло, насквозь пропыленное за долгие дни пути, да и вообще в последние дни она не слишком часто пользовалась собственным голосом; он звучал хрипловато, сухо и был похож на голос ее отца.

— Она придет со второй группой, — сказала Южный Ветер с успокаивающей уверенностью, перебинтовывая лоскутом свою прелестную истертую в кровь ступню и крепко завязывая концы лоскутка на лодыжке. — Ну вот, так-то лучше. Я завтра обмотаю ноги тряпками, как это делает Упорный. Кстати, и теплее будет.

— Только бы дождь не пошел.

— Ночью дождя определено не будет. — Жители Шанти куда лучше разбирались в погоде, чем Люс. В отличие от нее, они никогда не находились столько времени в закрытом помещении и понимали, что может принести тот или иной ветер, даже здесь, где все ветры были иными, чем на Земле. — Но вот завтра, возможно, он и пойдет, — прибавила Южный Ветер, заползая в спальный мешок; голос ее уже звучал сонно и уютно.

— Завтра мы уже будем высоко в горах, — сказала Люс. Она посмотрела вверх, на восток, но ближний склон холма над ручьем и серо-голубые сумерки скрывали скалистые вершины совсем близких гор. Облака поредели; какое-то время высоко в небесах, на востоке сияла одинокая звездочка, маленькая и полускрытая дымкой, потом исчезла — видимо, ее закрыли облака. Люс все ждала, когда она появится вновь, но звездочка не появилась. Люс почувствовала себя глупо разочарованной. Теперь небо казалось совсем черным, как и земля. Нигде не было видно ни огонька, за исключением восьми золотистых светлячков — их костров, маленького созвездия в сплошной темной ночи. И где-то там, далеко, за много дней пути отсюда, на западе, за колючими зарослями, за пустошами, холмами и долинами, за

ручьями и за широкой рекой, что бежит к морю, светились еще огни: Столица и город, небольшие скопления светящихся желтым светом окон. А река была темна и бежала сквозь тьму. И море тоже было окутано тьмой.

Она поправила большой сук в костре и, чтобы он горел медленнее, подгрестила к нему золу и угли. Потом разыскала свой спальный мешок и заползла в него, устроившись рядом с Южным Ветром. Вот сейчас ей хотелось поговорить. Южный Ветер редко так много говорила о Тиммо. Люс хотелось еще послушать, как она говорит о нем. И о Льве. Впервые ей захотелось и самой поговорить о Льве. Здесь было слишком много тишины. В тишине все как-то пропадает, теряется. Нужно непременно говорить. И Южный Ветер это поймет. Она тоже потеряла свое счастье, и тоже познала смерть, и продолжала жить.

Люс тихонько позвала ее по имени, но теплый сверток рядом с нею даже не пошевелился. Южный Ветер спала.

Люс осторожно повозилась, устраиваясь поудобнее. Берег ручья хоть и был каменистым, все же являл собой куда лучшее ложе, чем вчерашние колючки. Однако утомленное тело само по себе казалось тяжелым, неуклюжим, твердым; в груди болезненно жгло. Люс закрыла глаза. И тут же увидела перед собой гостиную в Каса Фалько, продолговатую и чистую; в окна лился серебристый свет, отраженный водами залива; и там стоял ее отец, прямой, сосредоточенный, как всегда. Но он просто стоял и ничего не делал, что на него похоже не было. Микаэл и Тереза торчали в дверях и перешептывались. Они отчего-то стали ей неприятны. Ее отец как будто не знал, что они шепчутся у него за спиной, а если и знал, то почему-то боялся дать им это понять. Потом он как-то странно вскинул руки, и она на мгновение увидела его лицо. Он плакал. Люс вдруг утратила способность дышать, ей хотелось вздохнуть глубоко-глубоко, но она не могла: дыхание у нее перехватило, ибо плакала она сама — вся содрогалась от тяжких рыданий и с трудом успевала перевести дыхание. Измученная, потрясенная, с истерзанной душой лежала она на земле этой чужой планеты, в этой бескрайней ночи и плакала по умершим, по утраченным. Теперь уже не страх, а печаль, бесконечная печаль охватила ее, нестерпимая горечь, которую все же приходится терпеть.

Усталость и тьма выпили ее слезы, и она уснула раньше, чем перестала плакать. И всю ночь спала без сновидений, без кошмаров и ни разу не проснулась — спала как камень среди камней.

Горы оказались высокими, с каменистыми склонами. Подниматься, в общем-то, сперва было не так уж и трудно, потому что они шли зигзагом среди валунов и осыпей, однако, поднявшись наверх, где громоздились скалы, похожие на башни и дома города, увидели, что преодолели лишь самую первую преграду: вдали виднелись еще по крайней мере три или четыре горные гряды. И все они были куда выше первой.

В ущельях толпились деревья-кольца, собственно колец здесь не образующие, притиснутые друг к другу и из-за этого неестественно вытянувшиеся к небу. Тяжелые ветки кустарника, названного «алоз», торчали повсюду меж красных стволов деревьев, очень затрудняя продвижение вперед; однако на «алоз» еще сохранились плоды с плотной темной сочной мякотью, чуть сморщенной вокруг косточки, что было желанной добавкой к их скудному рациону. В этих местах можно было только прорубать себе путь в густых зарослях, оставляя за собой явственный след. Целый день они потратили только на то, чтобы выбраться из ущелья, потом еще целый день — чтобы взобраться на вторую гряду холмов, за которой снова оказались в таком же ущелье, заросшем деревьями с бронзовыми стволами и сплошным алым подлеском. Вдали по-прежнему виднелись великолепные островерхие пики, каменистые склоны гор и голые скалы на их вершинах.

На следующую ночь им пришлось разбить лагерь в горловине ущелья. Даже Мартин, после того как с самого утра ему пришлось шаг за шагом прорубать тропу в густой растительности, к полудню настолько вымотался, что идти дальше уже не мог. Устроив стоянку, те, кому не пришлось прорубать тропу и кто не слишком устал, разбрелись кто куда, стараясь, однако, не отходить далеко от лагеря: в сплошном подлеске ничего не стоило заблудиться. В основном люди искали и собирали плоды алоэ, а несколько мальчишек под предводительством Желанного нашли в ручье пресноводных мидий, так что в тот вечер у них получился отличный сытный ужин, который был им просто необходим, потому что снова пошел дождь. Туман, дождь и

вечерние сумерки притушили яркие живые красные тона лесной растительности. Путешественники построили шалаши и сгрудились у костров, никак не желавших разгораться.

— Любопытную вещь я видел, Люс.

Странный он был человек, этот Саша: старше их всех, но упрямый, жилистый и куда более выносливый, чем значительно более молодые мужчины. И он никогда не выходил из себя, всегда был в себе уверен и почти всегда очень молчалив. Люс ни разу не видела, чтобы он принимал участие в разговорах, где от него требовалось бы больше, чем просто «да» или «нет», вместо которых можно было улыбнуться или покачать отрицательно головой. Она знала, что он никогда не выступал в Доме Собраний, никогда не принадлежал ни к группе Веры, ни к группе Илии, никогда не предлагал никаких решений своему народу, хотя был сыном великого Шульца, одного из героев и вождей Долгого Марша, который вел тогда людей от Москвы до Лиссабона и дальше. У Шульца были и другие дети, но все они умерли в первые годы жизни на планете Виктория; только Саша, последыш, родившийся уже здесь, выжил. И стал отцом; и видел, как умирал его сын. Он никогда ни с кем помногу не разговаривал. Только иногда с ней, с Люс.

— Любопытную вещь я видел, Люс.

— Что же это?

— Какое-то животное. — Он показал куда-то вправо и вверх, на крутой, заросший кустарником и деревьями-кольцами склон; сейчас, в меркнувшем свете вся эта растительность казалась темной стеной. — Там что-то вроде поляны, возле двух упавших деревьев, так вот, на одном конце этой прогалины я обнаружил несколько плодов алоэ и потянулся за ними, а потом вдруг обернулся — почувствовал, что кто-то на меня смотрит. Он был на противоположном конце поляны и тоже собирал алоэ. — Саша немного помолчал, но не для пущего эффекта, а чтобы обдумать свое описание. — Я сперва решил, что это человек. Во всяком случае, он был очень похож на человека. Однако оказался ненамного выше кролика, особенно когда опустился на четвереньки. Кожа у него была темная, а волосы рыжеватые. Голова большая — слишком большая для такого хрупкого тела — и один глаз в центре, как у уотсита. Этот глаз все время смотрел на меня. По бокам тоже по глазу, на-

сколько я успел заметить, но не смог рассмотреть достаточно хорошо. Это существо с минуту смотрело на меня, потом повернулось и исчезло среди деревьев.

Он говорил тихим, ровным голосом.

— Звучит пугающе, — прошептала Люс, — хотя я и сама не знаю почему. — Но на самом-то деле она знала прекрасно, сразу же вспомнив тот свой кошмарный сон, в котором неведомые существа приходили и наблюдали за ними; хотя видения эти не тревожили ее больше с тех пор, как они покинули колючие заросли на равнине.

Саша покачал головой. Они сидели рядом на корточках под покровом густых ветвей. Он рукой стряхнул с волос и густых седых усов капельки дождя.

— Здесь нет никого, кто мог бы нам повредить, — сказал он. — Кроме нас самих. А в Столице не рассказывают историй о каких-нибудь животных, которых не знаем мы?

— Нет... разве что о скьюрах.

— О скьюрах?

— Ну это все старые сказки. Скьюры — такие существа, похожие на людей, у них светящиеся глаза и они волосатые. Моя кузина Лорес все время о них рассказывает. А отец сказал, что они когда-то действительно были людьми — что это либо изгнанники, либо вечные бродяги, которые стараются держаться от людей подальше, сумасшедшие, почти дикие.

Саша кивнул.

— Никто даже из таких людей не смог бы забраться так далеко, — сказал он. — Мы первые.

— Мы ведь раньше жили только там, на побережье. Мне кажется, здесь вполне могут быть животные, которых мы никогда раньше не видели.

— И растения тоже. Посмотри, например, на это: оно почти такое, как то, которое мы здесь называли «белой ягодой», но все же не совсем такое. Я таких до вчерашнего дня никогда не видел. — Он снова немного помолчал и сказал: — У нас нет названия и для того животного, которое я встретил.

Люс понимающе кивнула, и теперь замолчали оба; однако между нею и Сашей продолжала существовать некая прочная связь — да, именно это молчание вдвоем. Он больше никому не рассказал о встреченном существе, и она тоже промолчала. Они ничего не знали об этом мире, ставшем теперь их миром — только то, что должны идти по

нему в молчании, пока не научатся языку, на котором единственно возможно говорить здесь. И Саша охотно готов был ждать сколько угодно.

Вторую горную грядку они преодолели на третий день после начала вновь зарядивших дождей. На этот раз перед ними открылась просторная и довольно плоская равнина; идти стало значительно легче. Где-то к полудню ветер повернул и подул с севера, очищая вершины гор от облаков и тумана. Потом целый день они ползли вверх и к вечеру, в ясном холодном свете заката увидели восточные земли, остановившись среди скал на вершине.

Все вместе они собрались не сразу — последние усталые путешественники еще с трудом преодолевали подъем по каменистому склону, а идущие впереди давно уже поджидали их среди скал — несколько темных фигурок, которые казались поднимавшимся в гору людям совсем крохотными на фоне ставшего вдруг очень просторным и ярким неба. Короткая колючая трава на вершине отливала в закатных лучах красным. Все шестьдесят семь человек стояли там, глядя на открывшийся перед ними новый мир, и молчали. Слишком велик оказался этот неведомый мир.

Тени от горной гряды, на которую они только что поднялись, простирались далеко по лежащей перед ними равнине. Вдали, где тени кончались, земля была золотистого цвета, она прямо-таки тонула в золотисто-красноватой прохладной дымке, сквозь которую полосами и пятнами поблескивали ручейки и речки, темнели то ли холмы, то ли купы деревьев-колец. У самого горизонта, на фоне бескрайнего, бесцветного, расчищенного ветром неба виднелись едва различимые глазом горы.

— Далеко еще? — спросил кто-то.

— До подножия гор километров сто, наверное.

— Большие горы...

— Такие же были на севере, у Безмятежного озера.

— Возможно, это одна и та же горная гряда. Помнишь, она тянулась как раз на юго-восток.

— Эта равнина, как море — ни конца, ни края.

— Ну и холодно же здесь!

— Давайте-ка спустимся вниз, там не будет такого ветра.

Горные долины давно уже утонули в серых сумерках, но залитые солнцем ледяные вершины далеких гор на востоке

долго еще горели закатным пламенем на фоне поблекшего неба. Потом и они побледнели и словно растворились в сумерках; ночь была ветреной, на черном небе сияли крупные звезды; казалось, отсюда видны все здешние созвездия сразу, похожие на огни светящихся во тьме городов, ни один из которых не был для этих людей родным.

В этой горной долине вдоль ручьев росло много дикого риса; им они в основном и питались в течение тех восьми дней, что шли по направлению к горам. Железные Горы у них за спиной становились все меньше, превращаясь в извилистую красноватую линию на фоне западного края неба. В долине водилось множество кроликов, более длинноногих, чем на побережье; берега ручьев и речек были испещрены их следами; утром целые стаи кроликов грелись на солнышке и смотрели на людей, проходивших мимо, спокойными равнодушными глазами.

— Нужно быть полным дураком, чтобы здесь остаться голодным, — приговаривал Упорный, наблюдая, как Италия ставит силки у брода, поблескивающего мокрыми камнями.

Но они шли дальше. Здесь, на высокогорной долине дули холодные пронзительные ветры, а деревьев, чтобы построить шалаши или разжечь костры, вокруг не было. Они шли до тех пор, пока земля под ногами не начала как бы вспухать — начинался подъем, и наконец у подножия гор они вышли к большой реке, бежавшей на юг, которую Андре, ответственный за составление карты, назвал Скалистой. Чтобы перебраться на тот берег, обязательно нужно было отыскать брод, которого они поблизости не нашли, или построить плоты. Одни были за то, чтобы переправиться через реку и оставить позади и эту преграду, другие считали, что нужно повернуть на юг и продвигаться вдоль западного берега реки. Решая, как поступить, они пока что разбили лагерь и устроили настоящую стоянку. Один из путешественников сильно повредил ногу при падении, у других также имелись травмы и недомогания, хотя и менее серьезные; зато обувь абсолютно у всех нуждалась в починке; да и сами люди страшно устали, и несколько дней отдыха были им просто необходимы. Они сразу построили шалаши из веток и тростника, потому что было очень холодно и на небе собирались тучи, хотя пронзительный ветер сюда не долетал. В ту ночь впервые выпал снег.

На берегах Залива Мечты снег шел редко и никогда не выпадал так рано. Здесь был иной, куда более суровый климат. Холмы на побережье, обширные пустоши и Железные Горы задерживали дожди, несомые западными ветрами с океана; здесь должно было быть гораздо суше, хотя и холоднее.

Огромная горная гряда с островерхими ледяными пиками, по направлению к которой они все это время шли, редко бывала видна, пока они пересекали долину, поскольку снеговые тучи спускались почти к самому подножию гор. Теперь они достигли холмов в предгорьях — тихой гавани, лежавшей между насквозь продуваемой ветрами просторной долиной и мрачными скалистыми горами с заснеженными вершинами. Они остановились в неширокой долине в устье энергичного горного ручья, впадавшего в Скалистую реку; ручей этот, прорыв себе проход в скалах, все расширял его, пока созданное им ущелье не расступилось, открывая выход на поросшие лесом просторы. Главным образом там росли деревья-кольца, но встречались и весьма крупные хлопковые деревья, среди которых было много прогалин и полян. Склоны гор с северной стороны долины были крутые, каменные, словно стеной отгораживая ее и более пологие южные холмы от холодных ветров. Место вообще оказалось очень приятным. Все путешественники сразу почувствовали себя здесь в безопасности — еще в первый день, когда строили свои шалаши. Но утром все поляны и прогалины были белы от снега, а под деревьями-кольцами, густая бронзовая листва которых удержала большую часть первого легкого снежка, каждый камень, каждый упавший листок посверкивал, покрытый морозным инеем. Людям пришлось сперва сгрудиться у костров и немного оттаять, прежде чем отправиться за новым запасом топлива.

— Да, шалаши при такой погоде нас явно не спасут, — мрачно проговорил Андре, растирая застывшие, потрескавшиеся от холода пальцы. — Б-р-р, до чего же я замерз!

— Смотри, разъяснивает, — сказала Люс, глядя в широкую прогалину между деревьями, где их часть долины выходила к просторной горловине ущелья, прорытого горным ручьем. Над крутым противоположным берегом Скалистой реки мрачно высилась, поблескивая, громада Восточной Гряды, темно-синяя, с белоснежными вершинами.

— Ну это пока. Потом опять пойдет снег.

Андре выглядел нездоровым, сгорбившись у костра, пламени которого почти не было видно в ярком утреннем свете; нездоровым, озябшим, растерянным. Люс, хорошо отдохнувшая за предыдущий день, когда никуда идти было не нужно, напротив, ощущала необычайный подъем сил и радовалась первым лучам восходящего солнца. Андре сейчас был как-то особенно дорог ей, такой терпеливый, беспокойный. Она тоже присела на корточки с ним рядом у костра и погладила его по плечу.

— Это очень хорошее место, правда? — сказала она.

Он кивнул, еще больше сгорбившись и по-прежнему растирая свои потрескавшиеся красные руки.

— Андре, послушай...

Он что-то промычал в ответ.

— Может быть, нам стоит построить здесь настоящие хижины, а не шалаши?

— Здесь?

— Ну да, здесь хорошо...

Он посмотрел вокруг — на высокие красные деревья, на шумный стремительный ручей, несущий свои воды к Скалистой реке, на залитые солнцем открытые пологие южные склоны холмов, на высокие синие вершины, вздымающиеся с восточного края долины...

— Неплохо, — нехотя согласился он. — Во всяком случае, топлива и воды более чем достаточно. А еще рыба, кролики — здесь, пожалуй, мы могли бы продержаться всю зиму.

— А может, нам так и стоит сделать? Пока еще есть время, чтобы построить настоящие дома?

Андре продолжал сидеть в той же позе, машинально растирая уже согревшиеся руки. Люс внимательно смотрела на него, но руку свою с его плеча не убирала.

— Меня бы это, пожалуй, устроило, — проговорил он наконец.

— Если, конечно, мы отошли уже достаточно далеко...

— Тогда нужно собрать всех и обсудить это... — Андре посмотрел на Люс, потом обнял ее за плечи, и они продолжали сидеть у костра на корточках, тесно прижавшись друг к другу, чуть покачиваясь и глядя на пляшущие, едва видимые языки пламени. — Я уже устал убежать, — сказал Андре. — А ты?

Она кивнула.

— Я только не знаю... интересно...

— Что?

Андре не отрываясь смотрел в огонь, лицо его, измученное и исхлестанное ветрами, покраснело от жара костра.

— Говорят, что когда заблудишься по-настоящему, то всегда ходишь кругами, — сказал он. — Возвращаешься на то же место, откуда только что ушел, но не всегда узнаешь его.

— Все равно здесь ведь не Столица, — сказала Люс. — И не Шанти-таун.

— Нет. Пока еще нет.

— И никогда не будет! — Брови ее сурово вытянулись над глазами в прямую линию. — Это совсем новое место, Андре. Исток новой жизни.

— Ну это уж как Господь Бог захочет.

— Не знаю, чего уж он там захочет... — Люс ладонькой разгладила кусочек влажной, полузамерзшей земли, потом сжала землю в руке. — Вот он — Бог, — сказала она и показала ему на разжатой ладони черный комок. — Это я. И ты. И все остальные. И эти горы. Мы все... все заключены в один круг.

— Ты, должно быть, не расслышала меня, Люс?

— Да я вообще не знаю, о чем говорю. Я просто хочу остаться здесь, Андре.

— Тогда, я полагаю, мы так и поступим, — сказал он и легонько шлепнул ее по спине между лопаток. — Я вообще не уверен, пустились бы мы когда-нибудь в путь, если бы не ты.

— Ох, Андре, не надо так говорить...

— Почему не надо? Это же правда.

— У меня на совести и без этого слишком многое. Я должна... Если бы я...

— Это совсем новое место, Люс, — прервал он ее очень мягко. — И здесь все имена и названия будут иными. — Она заметила, что в глазах его стоят слезы. — И именно здесь мы построим целый мир. Из земли, из грязи.

Одиннадцатилетний Эшер подошел к Люс, которая сидела на берегу Скалистой реки, выживая из-под ледяных камней, обросших бородой водорослей, пресноводных мидий.

— Люс, — прошептал он, наклонившись к ней поближе, — посмотри-ка.

Она рада была наконец выпрямиться и вытащить руки из обжигающе холодной воды.

— Ну, что у тебя там?

— Посмотри, — шепотом повторил мальчик, протягивая к ней свою раскрытую ладонь. На ладонке сидело крохотное существо, похожее на серенькую жабу с крыльшками. Три золотистых глаза на стебельках не мигая смотрели — один на Эшера, два на Люс.

— Это уотсит.

— Я никогда ни одного так близко не видела.

— Он сам пришел ко мне. Я тащил сюда корзины, а он влетел в одну из них. Я протянул руку, он взял и сел прямо на ладонь.

— А ко мне он пойдет?

— Не знаю. Протяни руку.

Она вытянула руку рядом с рукой Эшера. Уотсит задрожал и на какое-то время превратился в сплошной трепет своих то ли перышек, то ли волосков. Потом не то прыгнул, не то взлетел — простому глазу определить это мгновенное движение было не под силу — и переместился на ладонь Люс; она ощутила цепкую хватку шести крошечных теплых волосатых лапок.

— О, какой же ты красивый! — нежно сказала она крылатому существу. — Ты просто прекрасен! И я могу убить тебя, да удержать все равно не смогу, не смогу даже взять тебя в руки...

— Если их сажаешь в клетку, они умирают, — сообщил ей мальчик.

— Я знаю, — сказала Люс.

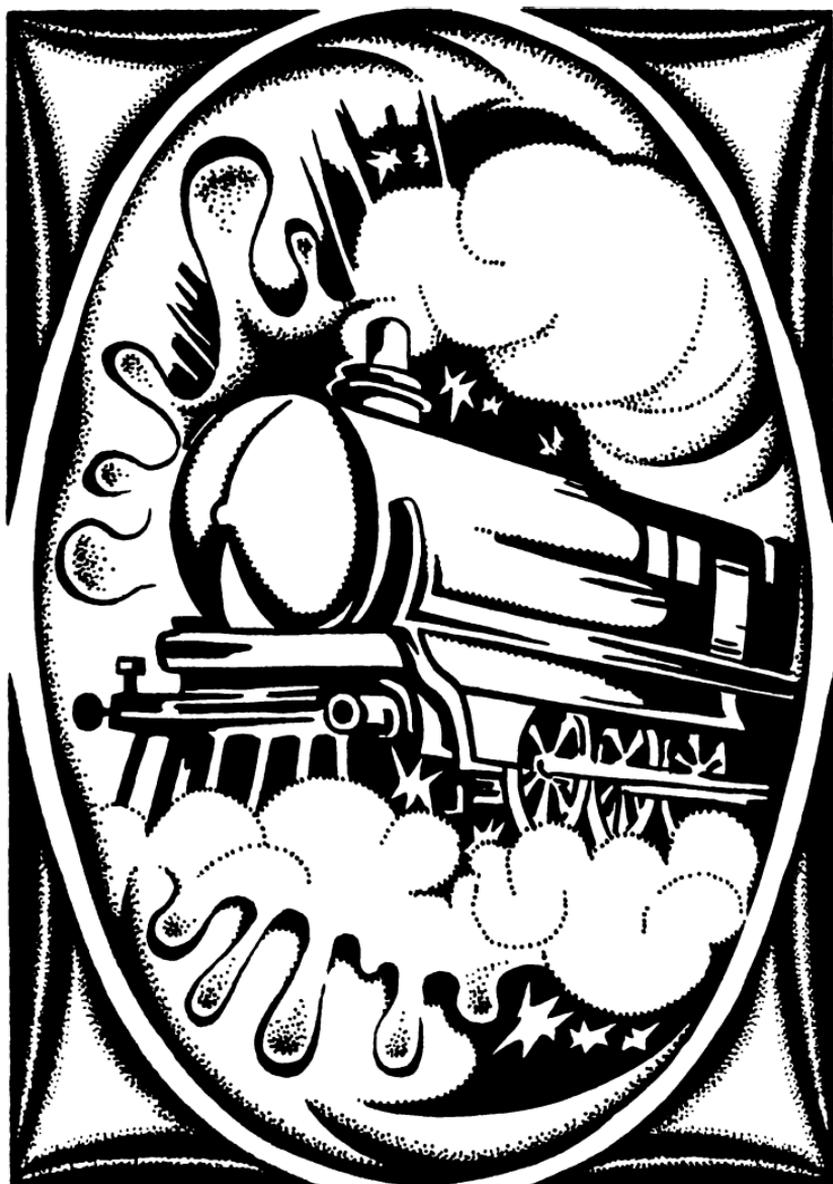
Уотсит теперь приобрел голубой оттенок, постепенно переходящий в чистую небесную лазурь, точно такую, какая сияла между вершинами Восточной Гряды ясными зимними солнечными днями, вроде сегодняшнего. Три золотистых глаза на стебельках сверкали. Вдруг раскрылись крылья, яркие и полупрозрачные, и Люс вздрогнула; чуть заметное движение ее руки мгновенно заставило маленькое существо плавно взлететь и заскользить над простором реки куда-то к востоку подобно чешуйке слюды, подхваченной ветром.

Они вместе с Эшером наполнили корзины тяжелыми, бородастыми черными мидиями и потащили их вверх по тропинке, к поселку.

— Южный Ветер! — закричал Эшер, волоча за собой свою корзинку. — Южный Ветер! Тут есть уотситы! Один сам ко мне прилетел!

— Ну конечно же, есть, — сказала Южный Ветер, сбегая вниз по тропинке, чтобы помочь им дотащить корзины. — Господи, сколько же ты набрала, Люс! Ой, а руки у тебя на что похожи, бедненькие! Пойдем, пойдем скорее, дома тепло, Саша только что целую кучу дров притащил. Неужели вы думали, что здесь не будет уотситов? Мы ведь совсем не так далеко от дома!

Домики — пока что девять и еще три недостроенных — стояли в излучине ручья на его южном берегу, где под ветвями гигантского одинокого дерева-кольца образовалась заводь. Они брали воду из маленьких водопадиков на верхнем конце пруда, а на нижнем, там где заводь сужалась и ручей начинал свой неторопливый спуск к реке, купались и мылись. Они называли свой поселок Цаплина Заводь, потому что у противоположного берега жила пара этих серых существ, спокойно отнесшихся и к присутствию людей, и к дыму их костров, и к звукам их голосов, и к их бесконечным приходам и уходам — ко всей их шумной суете. Элегантные, длинноногие, молчаливые, цапли эти занимались своими делами — добывали пищу в просторной заводи с темной водой; иногда они останавливались на мелководье и внимательно смотрели на людей ясными спокойными прозрачными глазами. Порой вечерами, ставшими еще холоднее перед зимними снегопадами, цапли танцевали. Когда Люс, Южный Ветер и мальчик свернули к своему домику, Люс снова заметила цапель, стоявших у корней огромного дерева-кольца; одна смотрела на них, другая повернула свою узкую длинную голову назад, в сторону леса. «Сегодня ночью они снова будут танцевать», — прошептала Люс себе под нос и минутку постояла со своей тяжелой ношей на тропинке, застыв без движения, как и сами цапли; а потом пошла дальше.



**РАССКАЗЫ
ОБ ОРСИНИИ**

ФОНТАНЫ

Они знали — сами специально предоставив ему такую возможность, — что доктор Керет вполне может попытаться искать в Париже политического убежища. А потому на самолете, летевшем на запад, в гостинице, на улицах, во время конференции, даже когда доктор выступал с докладом на заседании сектора цитологии — всегда неподалеку маячили какие-то неведомые ему личности, которые при необходимости представлялись как аспиранты или хорватские микробиологи, однако ни собственного имени, ни собственного лица не имели.

Поскольку присутствие доктора не только придавало вес делегации его родной страны, но и, в известной степени, являлось блестящим примером демократизма ее правительства — видите, мы даже ему разрешили приехать! — правительство и сочло его поездку в Париж выгодной для себя; однако агенты не спускали с доктора глаз. Впрочем, он к этому привык. В его маленькой стране за человеком переставали следить, только если он полностью замирал — переставал двигаться, говорить и мыслить. А Керет всегда был беспокойным, заметным. И потому, когда вдруг на шестой день своего пребывания в Париже, среди бела дня, во время многолюдной экскурсии он обнаружил, что каким-то образом отстал от остальных, то даже чуточку смутился. Неужели для этого достаточно было сделать всего несколько шагов в сторону по какой-то тропке?

Все это произошло в самом неподходящем для бегства месте. Огромный, пустынный, внушающий ужас дворец высился у него за спиной, желтый от золотистых лучей полдневного солнца. Тысячи разноцветных гномов сновали по террасам раскинувшегося вокруг парка, а дальше голубел абсолютно прямой, уходящий в немыслимую даль сентябрьского неба канал. Газоны были окаймлены купами каштанов — тридцатиметровой вышины деревьев, старых, благородных, суровых, насквозь просвеченных солнцем. Они только что бродили под этими деревьями по тенистым дорожкам для верховой езды, где некогда совершали прогулки давно умершие короли, а потом экскурсовод снова вывел их группу на солнце, на выложенные мраморными плитами дорожки среди газонов. И тут прямо перед ними сверкая взлетели в воздух струи фонтанов.

Фонтаны били и пели где-то в светлой вышине над мраморными бассейнами. Небольшие уютные комнаты дворца, огромного, как город, в котором никто не жил, равнодушные благородных деревьев, единственно подходящих обитателей этого слишком большого для людей парка, непреходящее ощущение осени и прошлого — все мгновенно было приведено в равновесие бьющими ввысь струями воды. Механические, точно записанные на пластинку голоса экскурсоводов смолкли, глаза экскурсантов, стремящиеся все как бы сфотографировать на память, наконец остановились и стали смотреть. Фонтаны, шумно ликуя, взлетали и обрушивались с таким шумом, точно уносили прочь саму смерть.

Они работали сорок минут. Потом затихли. Лишь короли могли позволить себе роскошь постоянно созерцать великие фонтаны Версаля в действии и жить вечно. А всяким республикам следовало знать свое место и свои возможности. Так что высокие белые водяные ракеты неуверенно вздрогнули и опали. Высохли груди нимф, водяные божества разверзли, задыхаясь, рты, похожие на черные дыры. Ликующий глас взлетающей в небеса и падающей на землю огромной массы воды сменился слабым шелестом, неуверенным кашлем, вздохами. Все кончилось, и каждый из зрителей вдруг словно остался наедине с самим собой. Адам Керет повернулся, увидел перед собой тропу и пошел по ней — прочь от этих мраморных террас, под сень деревьев. За ним никто не последовал; вот в это-то мгновение, хотя сам он ничего сразу не заметил и не понял, он и совершил бегство, нарушив правила игры.

Теплые лучи послеполуденного солнца, падая на тропу сквозь деревья, расчертили ее полосами; по этим полосам света и тени рука об руку шли юноша и девушка. А за ними, сильно отставая и в полном одиночестве, тащился Адам Керет. По щекам его бежали слезы.

Вскоре полосы теней, отбрасываемых деревьями, исчезли, и Керет обнаружил, что теперь тень отбрасывает только он сам — тропа кончилась, влюбленные исчезли, вокруг был залитый солнцем простор, а где-то далеко внизу виднелось множество деревьев в кадках. Он догадался, что вышел на террасу, находившуюся прямо над оранжереей. К югу простирались бескрайние леса, прекрасные леса Франции, озаренные осенним закатом. Здесь больше не трубили рога охотников, поднимая под королевский выстрел волка или дикого кабана; время великих забав миновало. Единственные, кто оставлял здесь следы, — это юные влюбленные, что приезжали на автобусе из Парижа, гуляли среди деревьев и исчезали.

Безо всякой цели, все еще не сознавая того, что нарушил правила и совершил побег, Керет побрел назад по широким аллеям — к дворцу, который в наступающих сумерках казался уже не желтым, а бесцветным, словно утес над морским пляжем в тот час, когда уходят домой последние купальщицы. Из-за дворца доносился приглушенный рев, похожий на шум прибоя — это заводили свои моторы автобусы, отправлявшиеся назад, в Париж. Керет остановился. Еще несколько крохотных фигурок суетились на террасах среди умолкнувших фонтанов. Где-то далеко слышался голос женщины, окликавшей ребенка, жалобный, как крик чайки. Керет резко повернулся и, не оглядываясь, устремился прочь, в густую сумеречную тень под деревьями, теперь уже убегая вполне сознательно и совершенно намеренно держась прямо, словно человек, который украл что-то — ананас, кошелек, буханку хлеба — прямо с магазинного прилавка и спрятал украденное под полкой.

— Это мое, — сказал он вслух, обращаясь к высоким каштанам и дубам и чувствуя себя среди них, как вор среди полицейских. — Это мое! — Однако французские дубы и каштаны, посаженные для аристократов, никак не ответили на это яростное заявление представителя какой-то республики, да к тому же сделанное на чужом языке. Но все же их сумеречная тень, словно молчаливая соучастница, окутала его со всех сторон — как всегда лес укрывал беглеца.

В роще он пробыл недолго, от силы час или около того; ворота должны были вскоре запереть, а ему вовсе не хотелось оказаться запертым здесь. Он был здесь вовсе не для того, чтобы его заперли. Так что еще до наступления темноты Керет уже снова шагал по террасам, по-прежнему прямой и спокойный, точно король или прячущий под полой украденное воришка. Он обогнул огромный, бледный, глядевший множеством окон дворец, похожий на утес, и двинулся по усыпанной гравием дорожке дальше — как по морскому пляжу, над которым этот утес возвышался. Один автобус все еще что-то ворчал на стоянке — но он оказался синим, а не серым, вызывавшим в Керете ужас. Его автобус ушел! Ушел, унесен волнами в морской простор вместе с экскурсоводом, коллегами доктора Керета, здешними его знакомыми-микробиологами и тайными агентами. Все они исчезли вместе с автобусом и оставили Версаль в полном его распоряжении. Рядом с ним Людовик XIV, казавшийся меньше ростом из-за того, что сидел на немислимо громадном коне, точно утверждал существование этой абсолютной привилегии. Керет поднял голову и посмотрел на бронзовое лицо короля, на большой бронзовый нос Бурбонов — так малыш смотрит порой на старшего брата: любящим и чуть насмешливым взглядом. Керет вышел из ворот, заглянул в кафе на противоположной стороне дороги, ведущей в Париж, и сестра его принесла ему вермут, который он выпил, сидя под сикоморой за пыльным, выкрашенным зеленой краской столом. Ветер, дувший с юга, из тех лесов, был пропитан чуть горьковатыми ароматами ночи, осени и опавшей листвы. Вкус его напоминал вкус вермута.

Чувствуя себя совершенно свободным, он сам выбрал тропу и, когда ему этого захотелось, пошел на станцию пригородной электрички, купил билет и вернулся в Париж. На какой станции метро он вышел, не знает никто, возможно, даже он сам; он не помнил и того, по каким улицам скитался во время своего бегства. В одиннадцать часов вечера он стоял на мосту Сольферино у парапета — невысокий мужчина сорока семи лет в дрянном костюме; свободный человек. Он смотрел, как дрожат, отражаясь в темной воде спокойно текущей реки, огни моста Сольферино и других, дальних мостов. Вдоль реки по обоим ее берегам располагались возможные убежища: это дом правительства Франции, а там — посольства Америки и Англии... Он прошел мимо всех этих зданий. Наверное, было уже слишком

поздно, чтобы стучаться куда-либо. Стоя на мосту между правым и левым берегом, он думал: все, больше никаких убежищ не осталось. Как не осталось ни королевских тронов, ни волков, ни кабанов; даже африканские львы вымирают. Единственным безопасным убежищем для них является зоопарк.

Но он никогда особенно не заботился о собственной безопасности, а теперь подумал, что не особенно заботился и об убежище, обретя нечто значительно более ценное: свою семью, свое наследие. А здесь он по крайней мере прогулялся по саду, который больше чем жизнь, по тем дорожкам, где до него гуляли его старшие — коронованные — братья. После такой прогулки он, конечно же, никак не мог спрятаться в зоопарке. И Керет пошел по мосту дальше, под темные арки Лувра, возвращаясь в свою гостиницу и понимая теперь, что одновременно был и королем, и вором, а потому везде чувствовал себя как дома, а к родине его привязывала всего лишь обыкновенная верность. Да и что еще способно воздействовать на человека в наши дни? Царственной походкой Керет проследовал мимо агента тайной полиции, торчавшего в вестибюле гостиницы; за пазухой он прятал украденные, неиссякающие фонтаны Версаля.

КУРГАН

По заснеженной дороге с гор спустилась ночь. Тьма поглотила деревню, главную башню замка Вермейр и Курган у дороги. Тьма таилась по углам комнат, пряталась под огромным обеденным столом в зале, висела над каждой балкой, поджидала своего часа за плечами людей, что собрались в тот вечер у очага.

Гость сидел на самом лучшем месте — на угловой пристенной скамье у огромного камина, совсем близко от огня. Хозяин замка, лорд Фрейга, граф Монтейна, устроился со всеми вместе у каминной решетки, впрочем, несколько ближе к огню, чем некоторые другие. Он сидел по-турецки, положив крупные руки на колени и неотрывно глядя на пляшущее пламя, и вспоминал самый страшный час в своей двадцатитрехлетней жизни — страшное происшествие, случившееся три осени тому назад во время одной из охотничьих вылазок к горному озеру Малафрена, когда тонкая стрела, выпущенная меткой рукой варвара, вонзилась в горло его отца. Фрейга помнил, как холодная жидкая грязь, насквозь пропитав штаны, леденила ноги, а он стоял на коленях возле отца, лежавшего в тростниках, и со всех сторон их обступали темные горные вершины. Волосы отца чуть шевелились в мелкой воде. А у самого Фрейги во рту был какой-то странный привкус, странно похожий на тот, который бывает, если лизнешь бронзу, — привкус смерти. И сейчас он тоже ощущал во рту привкус бронзы и

смерти, прислушиваясь к женским голосам, доносившимся сверху.

Гость, странствующий священник, рассказывал о своих путешествиях. Он прибыл сюда из Солярия, расположенного в одной из южных долин. Даже у купцов там дома из камня, рассказывал он. А уж у баронов — настоящие дворцы, и едят они на серебре, и каждый день у них подают жаркое. Вассалы и слуги лорда Фрейги слушали, разинув рты. Сам же Фрейга, прислушивавшийся к словам заезжего гостя лишь порой, чтобы скоротать время, хмурился. Гость уже успел пожаловаться на плохие конюшни, на холод, на то, что баранину подают на завтрак, на обед и на ужин, на неопрятный вид часовни в замке Вермейр и на то, как там служили обедню. «Арианство*!» — бормотал он, недовольно цокая языком и крестясь. Он сообщил престарелому отцу Игиусу, что все без исключения обитатели Вермейра прокляты, ибо крещены по еретическому обряду. «Арианство, арианство!» — вопил он. Отец Игиус, дрожа то ли от страха, то ли от холода, решил по неведению, что арианство — это происки дьявола, и все пытался объяснить, что ни один из его прихожан никогда не был одержим дьяволом, разве что однажды дьявол вселился в графского барана, имевшего один желтый глаз и один голубой, и баран так сильно боднул беременную женщину, что у той случился выкидыш, однако животное обрызгали святой водой, и больше никаких неприятностей оно не причиняло. Напротив, баран этот стал отличным производителем. Что же касается несчастной женщины, так она забеременела вне брака, зато после всего случившегося вышла замуж за доброго фермера-христианина из Бары и родила ему еще пятерых маленьких христиан, по одному каждый год. «Ересь, адюльтеры, невежество!» — бранился иноземный священник. Теперь он по двадцать минут молился, прежде чем отведать барашка, зарезанного, приготовленного и поданного на стол руками еретиков. Чего ему надо? — думал Фрейга. Он что, ожидал обрести здесь роскошную жизнь — это зимой-то? Неужели он считает их всех язычниками, без конца твердя:

* Арианство — течение в христианстве в IV—VI вв. Зачинатель — священник Арий. Ариане не принимали один из основных догматов официальной церкви о единосущности Бога-Отца и Бога-Сына; по учению Ария, Христос как творение Бога-Отца — существо, ниже его стоящее. (Здесь и далее примеч. пер.)

«Арианство, арианство!»? Да он, без сомнения, ни разу в жизни ни одного язычника не видел — ни одного из тех маленьких, темноволосых, внушающих ужас людей, что живут на берегах озера Малафрена и в дальних холмах. И, разумеется, они никогда не стреляли в него тонкими стрелами из своих языческих луков. Иначе он бы сразу научился чувствовать разницу между язычниками и христианами.

Когда гость на время замолчал, перестав наконец хвататься, Фрейга сказал мальчику, который лежал с ним рядом, подперев голову ладошкой:

— Спой нам, Гилберт.

Мальчик улыбнулся, сел и сразу запел высоким чистым голосом:

Царь Александр скакал впереди,
Золотые латы на Александре,
Золотые поножи и шлем золотой,
И кольчуга из кованных колец золотых.
В золото облаченный ехал царь,
Ко Христу взывал он, грудь осеняя крестом,
По вечерним он ехал холмам.
Вперед мчалась армия его на быстрых конях,
Великое множество воинов с гор спускалось
В долины Персии, убивая людей, покоряя народы,
И следовали они за своим властелином,
Что по вечерним ехал холмам.

Длинная песня, казалось, не имела конца; Гилберт начал ее с середины и остановился, не допев даже до того места, где описывалась гибель Александра, который «по вечерним ехал холмам». Но это не имело особого значения: все прекрасно знали песню от начала и до конца.

— Почему вы разрешаете этому мальчишке петь о языческом царе? — возмутился гость.

Фрейга поднял голову:

— Александр был великим правителем христианского мира.

— Он был грек, языческий идолопоклонник!

— У вас, должно быть, поют эту песню иначе, чем здесь, — вежливо возразил Фрейга. — Вспомните, там ведь есть такие слова: «Ко Христу взывал он, грудь осеняя крестом».

Кое-кто из сидевших у камина позволил себе ухмыльнуться.

— Может быть, ваш слуга споет нам что-нибудь получше этого? — предложил Фрейга, ибо был вежлив от приро-

ды. Слуга священника не заставил себя долго просить и запел довольно гнусавым голосом песнь о некоем святом, который непризнанным прожил двадцать лет в доме собственного отца, питаясь объедками. Фрейга и его домочадцы слушали как зачарованные. Новые песни сюда залетали редко. Однако певец вскоре испуганно умолк: пение его было прервано странным пронзительным воем, донесшимся откуда-то снаружи. Фрейга вскочил на ноги, с тревогой вглядываясь во тьму зала. Потом заметил, что все остались сидеть, но молча уставились на него. И снова из комнаты наверху донесся слабый вопль. Молодой граф сел.

— Закончи свою песню, — сказал он. Слуга священника скороговоркой пробормотал оставшиеся слова, и тишина сомкнулась вокруг них, стоило отзвучать последнему звуку.

— Ветер поднимается, — тихонько проговорил кто-то.

— Злая нынче была зима.

— Да уж. Я вчера через перевал от Малафрены пробирался, так там снегу чуть не по пояс.

— Это все их рук дело.

— Чьих? Ты про горцев этих, что ли?

— А помнишь, мы прошлой осенью нашли выпотрошенную овцу? Касс еще тогда сказал, что это дурной знак. Он имел в виду жертвы, которые они приносят Одне.

— Ну а что же еще?

— О чем это вы говорите? — поинтересовался иноземный священник.

— О горцах, господин священник. О язычниках.

— А что такое «одне»?

Воцарилось молчание.

— Что это за «жертвы, которые приносят Одне»?

— Знаете, господин священник, лучше нам об этом не говорить.

— Почему?

— Видите ли... вот вы сами справедливо сказали насчет песен: сегодня ночью лучше говорить о святых вещах. — Касс, местный кузнец, говорил с достоинством, лишь изредка приподнимая веки над потупленными глазами, чтобы определить местонахождение собеседника; зато его сосед, молодой парень с болячками вокруг глаз, прошептал встревоженно:

— У Кургана есть уши, Курган все слышит...

Вновь повисло молчание.

Фрейга повернулся и тихо сказал, глядя священнику прямо в глаза:

— Горцы приносят жертвы Одне на камнях у подножия курганов. Что там внутри этих курганов, не знает никто.

— Бедные язычники, бедные невежественные люди, — прошептал горестно старый отец Игиус.

— У нас в часовне алтарь из камня с Кургана, — сказал вдруг мальчик Гилберт.

— Что?

— Заткнись-ка, парень, — кратко приказал Гилберту кузнец. — Он хочет сказать, господин мой, что для алтаря мы взяли камень из кучи, что рядом с нашим Курганом. Большую мраморную глыбу. Отец Игиус, понятное дело, освятил ее, так что она теперь безвредная.

— А какой отличный алтарь получился... — улыбаясь, закивал отец Игиус, однако договорить не успел: сверху снова донесся вой. Старый священник опустил голову и забормотал молитвы.

— И вы тоже молитесь, святой отец, — сказал Фрейга, глядя на чужеземца в упор. Тот кивнул и начал тихонько молиться, искоса поглядывая на Фрейгу.

Сохранить в огромном замке тепло было почти невозможно; терпимо было лишь у самого очага, так что рассвет застал почти всех собравшихся на прежних местах: отец Игиус спал, свернувшись калачиком, словно пожилая камышовая соня; иноземный священник грузно осел на теплой скамье у камина, сцепив пальцы на животе; Фрейга вытянулся на спине, словно воин, павший на поле брани. Вокруг храпели и вздрагивали во сне его люди; их руки застыли в невольных незавершенных жестах. Он проснулся первым. Перешагнув через тела спящих, он по каменной лестнице поднялся на верхний этаж, где его встретила Ранни, акушерка. На груди овечьих шкур спали вповалку несколько девушек и собак.

— Еще нет, граф.

— Но уже двое суток...

— Что ж, ей, бедняжке, с самого начала тяжело пришлось, — с презрением глядя на него, сказала акушерка, — вот и надо немного отдохнуть теперь, верно?

Фрейга резко повернулся и, тяжело ступая, стал спускаться по неровным ступеням. Презрительный ответ Ранни задел его. Женщины весь вчерашний день были чрезвычайно суровы и страшно заняты; никто из них не желал

обращать на него внимание. Он был как бы вонне происходившего. Как бы остался за стенами замка, на морозе. Как бы не имел для этих женщин значения. И ничем не мог помочь. Фрейга сел за дубовый стол, уронив голову на руки и стараясь думать о Галле, своей жене. Ей было семнадцать; они поженились десять месяцев назад. Он представил себе ее округлый белый живот. Потом попытался вспомнить ее лицо, но не сумел, лишь ощутил привкус бронзы на языке.

— Эй, принесите-ка поесть! — крикнул он, стукнув кулаком по столешнице, и тут же весь замок Вермейр очнулся от серого предрассветного оцепенения. Поднялась суета. Забегали мальчишки, залаяли собаки, заревели на кухне мехи, раздувая огонь в очаге, у большого камина мужчины, просыпаясь, потягивались и сплевывали в огонь. Фрейга по-прежнему сидел, закрыв лицо ладонями.

Вниз по одной, по две стали спускаться женщины — перекусить, отдохнуть и немного отогреться у большого камина. Лица их были суровы. Они говорили только друг с другом, но не с мужчинами.

Снегопад прекратился, теперь ветер дул с гор, наметая сугробы у стен замка и подсобных строений. Ветер был такой холодный, что перехватывало дыхание, а горло точно рассекали ножом.

— ...Так почему же до сих пор слово Божье не было донесено до этих ваших горцев, до этих неверующих, которые приносят в жертву овец? — уже снова приставал к отцу Игиусу и Стефану, тому молодому парню с болячками вокруг глаз, толстобрюхий священник.

Те колебались, не зная, как ему ответить, потому что не совсем поняли, что значит «неверующие».

— Они не только овец в жертву приносят, — осторожно сказал отец Игиус.

— Ох нет, нет! — качая головой, подтвердил Стефан с какой-то странной улыбкой.

— Что вы хотите этим сказать? — почти взвизгнул гость, и отец Игиус, поежившись, поправился:

— Ну... они еще и коз убивают.

— Овец или коз — мне-то какое до этого дело? Откуда они только явились, эти язычники? И почему им позволяют жить на освященной земле?

— Но они всегда здесь жили! — изумился старый Игиус.

— И вы никогда даже не пытались донести до них Святую Веру?

— Я?

Шутка была хороша; мысль о том, как маленький старенький священник будет карабкаться в горы к язычникам, вызвала довольно громкий и продолжительный смех. Отец Игиус, однако, хотя и не проявил ни малейшего тщеславия, чувствовал себя несколько уязвленным, а потому в конце концов сухо заметил:

— У них свои боги, господин мой.

— Свои идолы! Порождение дьявола! Этот их — как вы его там называете? — Одне!

— Потише, господин священник! — резко оборвал его Фрейга. — Неужели вам так уж нужно произносить это имя вслух? Вы что, молитв не знаете?

После слов Фрейги высокомерия у гостя значительно поубавилось. Поскольку сам граф заговорил с ним так грубо, очарование гостеприимства тут же рассеялось, лица людей, что окружали чужака, были суровы и строги. Впрочем, вечером священнику опять предоставили самое удобное место у огня, но он сидел нахохлившись, боясь даже вытянуть ноги поближе к теплу.

В тот вечер у большого камина никто не пел. Мужчины тихо переговаривались, но больше молчали; сам Фрейга не проронил ни слова. Тьма ждала у них за плечами. Тишина царила вокруг, лишь слышался вой ветра снаружи да наверху порой страшно кричала женщина. Она молчала весь день, но теперь хриплые, бессильные воли повторялись все чаще и чаще. Фрейге казалось совершенно невыносимым, что у его жены еще есть силы так громко кричать. Она была худенькая, маленькая, совсем еще девочка, она просто не могла вместить столько боли.

— Какой от них прок, ото всех этих баб! — взорвался вдруг Фрейга. Люди смотрели на него молча. — Отец Игиус! В этом доме нечисто!

— Я могу только молиться, сын мой, — пролепетал перепуганный старик.

— Тогда молитесь! У алтаря! — И он погнал отца Игиуса перед собой в черную холодную ночь — через весь двор к часовне, где крутились несомые ветром невидимые сухие снежинки. Вскоре Фрейга вернулся один. Старый священник пообещал ему всю ночь молиться на коленях у очага в своей маленькой келье за часовенкой. У большого камина бодрствовал один лишь иноземный гость. Фрейга сел на прежнее место и долгое время молчал.

Вдруг священник поднял голову и вздрогнул: голубые глаза графа неотрывно смотрели прямо на него.

— Почему вы не спите?

— Не спится, граф.

— Лучше бы вам спалось!

Гость испуганно захлопал глазами и решил притвориться спящим. Но все-таки порой поглядывал из-под прикрытых век на Фрейгу и, не двигая губами, шептал свои молитвы Господу.

Фрейге он казался похожим на жирного черного паука. Лучи тьмы расходились у него из-за спины подобно паутине, окутывавшей замок.

Ветер постепенно стихал, и в моменты затишья Фрейга слышал слабые короткие стоны жены.

Огонь в камине погас. Паутина тьмы, теперь больше похожая на клубок спутанных веревок, становилась все гуще вокруг человека-паука, притаившегося в уголке у камина. Из-под его опущенных век поблескивала порой узенькая полосочка бессонных глаз. Подбородок священника непрерывно, хотя и еле заметно, двигался. Он что-то шептал, наводя свои чары, и паутина тьмы все крепче опутывала замок, проникала все глубже... Ветер совсем улегся. Воцарилась мертвая тишина.

Фрейга встал. Священник с ужасом смотрел на его широкие плечи, на мощный торс в золотистых доспехах, светящихся во тьме, и, когда Фрейга сказал: «Пошли», он настолько перепугался, что не в силах был двинуть ни рукой, ни ногой. Фрейга схватил его за плечо и рывком поставил рядом с собой.

— Граф, граф, что вам угодно? — шептал чужеземец, пытаясь высвободиться.

— Пошли, — снова отрывисто сказал Фрейга и повел его по каменным плитам пола, по темным коридорам к дверям замка.

На Фрейге был длинный меховой жилет из овчины; на священнике — только шерстяная ряса.

— Граф, — в ужасе задохнулся он, семена рядом с Фрейгой, шагавшим через двор к воротам, — но ведь там мороз! Можно насмерть замерзнуть! И, кроме того, там могут быть волки...

Фрейга одним рывком сдвинул тяжеленный, в руку толщиной засов на воротах замка и приоткрыл одну створку.

— Вперед, — сказал он, указывая на заснеженную дорогу мечом в ножнах.

— Нет, — сказал священник и замер как вкопанный.

Фрейга вытащил меч из ножен — короткий тяжелый клинок.

Потом, ткнув иноземного гостя острием меча в жирный огузок, погнал его за ворота, вниз по деревенской улице, потом вверх по дороге, ведущей в горы. Они шли медленно, потому что снег был глубоким, а корка, покрывавшая его, проваливалась при каждом шаге. Стояло полное безветрие, неподвижный воздух словно замерз. Фрейга посмотрел на небо. Прямо над головой между высокими легкими облаками виднелось созвездие, напоминавшее человека с мечом на перевязи, обозначенной тремя яркими звездами. Некоторые люди предпочитали называть это созвездие Воином, другие — Одне-Молчаливым.

Священник бормотал одну молитву за другой, слова падали ровно, монотонно, точно капли дождя; лишь порой он со свистом втягивал воздух, переводя дыхание. А один раз споткнулся и упал лицом в снег, но Фрейга тут же рывком поставил его на ноги. Священник посмотрел молодому графу в лицо, но ничего не сказал: волоча ноги, зашаркал дальше, тихо и непрерывно бормоча молитвы.

Главная башня замка Вермейр и сама деревня темнели где-то за спиной; вокруг были пустынные холмы да заснеженные равнины, бледные в звездном свете. Возле дороги виднелся небольшой холм, метра два высотой, похожий на могильник. Возле него очищенный от снега ветрами стоял невысокий приземистый то ли алтарь, то ли жертвенник, сложенный из необработанных камней. Фрейга взял священника за плечо и заставил свернуть с дороги к жертвеннику возле Кургана.

— Граф, граф, — залепетал, задыхаясь, тот, но Фрейга сильным движением взял его за голову и откинул ее назад. Глаза священника казались белыми при свете звезд, разверстый, как в крике, рот застыл — оттуда слышалось лишь какое-то бульканье и хрип, когда молодой граф перерезал ему горло.

Фрейга швырнул мертвое тело на жертвенник лицом вниз, разрезал и сорвал со священника толстую шерстяную рясу и вспорол ему живот снизу доверху. Кровь и внутренности хлынули на сухие камни жертвенника, задымилась в легком

снегу. Выпотрошенный труп соскользнул с жертвенника, словно пустое платье с бессильно обвисшими рукавами.

Живой человек тоже рухнул без сил на покрытые тонким слоем сдуваемого ветром снега камни возле Кургана. Он по-прежнему сжимал в руке меч, чувствуя, как качается под ним земля, слыша чей-то плач, постепенно замолкающий вдали, во тьме.

Когда он наконец поднял голову и огляделся, все вокруг успело перемениться. Светлое, бледное небо, с которого уже исчезли все звезды, вздымалось над ним высоким куполом. На его фоне ясно были видны холмы и дальние горы, скрывавшая их дымка рассеялась. Бесформенное тело у подножия Кургана и снег вокруг него казались черными, руки Фрейги и его клинок тоже были покрыты черной коркой. Он попытался обтереть руки снегом, и это обжигающее прикосновение окончательно привело его в чувства. Фрейга встал, чувствуя головокружение, и на ватных ногах поплелся назад в Вермейр. Теперь ветер дул с запада, он был теплый и влажный и с наступающим рассветом становился все сильнее, готовый принести долгожданное таяние снегов.

У большого камина он обнаружил Ранни, которая стояла, греясь у огня. Мальчик Гилберт подбрасывал дрова. Лицо акушерки было опухшим и серым. Она насмешливо сказала Фрейге:

— Давно бы пора вам вернуться, граф!

Еле переводя дух, он остановился и тупо молчал.

— Ну да уж ладно, пойдемте, — смилостивилась акушерка и стала подниматься по лестнице с неровными ступенями. Фрейга последовал за ней. Солому, которой были застелены полы наверху, уже смели в сторонку, поближе к очагу. Галла снова лежала на их брачной постели — широкой, похожей на огромный сундук. Закрытые глаза молодой женщины утонули в темных тенях. Она крепко спала, слегка похрапывая.

— Ш-ш-ш! Тихо! — прошипела акушерка, когда Фрейга рванулся к жене. — Не беспокойте ее! Посмотрите-ка лучше сюда.

Она держала в руках какой-то плотный сверток.

Он продолжал тупо молчать, так что через несколько минут она свирепо глянула на него и прошептала:

— Мальчик! Хороший, большой!

Фрейга потянулся к свертку рукой. Ногти у него были покрыты темно-коричневой коркой запекшейся крови.

Акушерка тут же отдернула младенца и прижала его к себе.

— Вы же холодный! — сказала она все тем же яростным презрительным шепотом. — Вот, смотрите. — Она на мгновение приподняла краешек пеленки и показала ему крошечное красноватое личико.

Фрейга подошел к изножию кровати, опустился на колени и так низко опустил голову, что коснулся лбом каменных плит пола, шепча: «Благодарю Тебя, о Господи, да славится имя Твое...»

Архиепископ Соляррия так никогда и не узнал, что произошло с его посланником на северо-западе страны. Возможно, будучи чересчур усердным слугой Господа, он осмелился забраться слишком высоко в горы и был убит язычниками, которые все еще живут там.

Графа Фрейгу в родной провинции помнили долго. Еще при его жизни бенедиктинцы построили над озером Малафрена монастырь. Зимы в горах долгие, трудные, стада графа Фрейги и его меч питали и защищали монахов, особенно в первые годы. В летописях монахов, сделанных на скверной латыни черными чернилами по тонкому пергаменту, граф Фрейга и его сын с благодарностью именуется верными защитниками Святой Церкви.

ИЛЬСКИЙ ЛЕС

Нет, — сказал молодой доктор, — безусловно существуют такие преступления, которым нет прощения! Убийство не может оставаться безнаказанным.

Его более умудренный жизненным опытом собеседник покачал головой:

— Возможно, существуют люди, которым нет прощения; преступления же... зависят...

— От чего? Отнять у человека жизнь! Это абсолютно непростительно! Разумеется, сюда не относятся некоторые случаи самообороны. Священность человеческой жизни...

— Совсем не тот предмет, о котором может судить Закон, — сухо прервал его старший собеседник. — Между прочим, кое-кто из моих родственников тоже совершил убийство. Даже два. — И, неотрывно глядя в огонь, он поведал свою историю.

Свою первую врачебную практику я получил на севере, в Валоне. Мы с сестрой приехали туда в 1902 году. Даже тогда это было на редкость унылое место. Владельцы старинных поместий распродали свои земли под плантации сахарной свеклы, а всюду на юге и на западе высились мрачные холмы угольных копей. Куда ни глянь, всюду одна и та же удивительно монотонная равнина; лишь на самой восточной ее окраине, в Валоне Альте, появлялось слабое ощущение близких гор. Уже во время первой поездки в Валоне Альте я заметил недалеко от дороги довольно

большую рощу. В самой долине все деревья давно уже вырубали, а здесь были настоящие березы с позолоченной осенью листвой, за рощей виднелся дом, за домом стеной стояли огромные старые дубы, сейчас, в октябре, чуть отливавшие красным и коричневым. Дивное зрелище! Когда в воскресенье мы с сестрой отправились покататься, я нарочно поехал той дорогой, и Помона, как всегда чуть лениво, словно в полусне, сказала, что старый дом похож на замок из волшебной сказки, на серебряный замок в золотом лесу. У меня было несколько пациентов в Валоне Альте, и я всегда ездил туда только этим путем. Зимой, за голыми прозрачными деревьями старый дом был виден особенно хорошо; весной возле него часто куковала кукушка, а летом печально ворковали голуби. Я не знал, живет ли кто-нибудь в самом доме. И никогда об этом не спрашивал.

Первый год нашей жизни там приближался к концу; практики у меня оказалось несколько меньше, чем мне бы хотелось, но Пома, моя сестра Помона, отлично сводила концы с концами, несмотря на свой вечно сонный и абсолютно безмятежный вид. Так что мы, в общем, справлялись. Однажды вечером я вернулся домой и обнаружил записку: меня вызывали к больному в местечко Иле, расположенное неподалеку от дороги, ведущей в Валоне Альте. Я спросил Минну, нашу экономку, где это.

— Как же! В Ильском Лесу, конечно! — ответила она с таким видом, словно там леса, как в Сибири. — Сразу за старой мельницей.

— Наверное, тот серебряный замок, — сказала Помона, улыбаясь, и я тут же выехал в Иле. Я сгорал от любопытства. Вы ведь знаете, как это бывает: напридумываешь что-нибудь себе о неизвестном месте, а потом вдруг вас туда возьмут и позовут.

Когда я привязывал лошадь у коновязи, старые деревья окружали меня со всех сторон, а в окнах дома отражались последние красноватые отблески заката. Мне навстречу с крыльца спустился какой-то человек, отнюдь не похожий на героя волшебной сказки. Лет сорока, с характерным для северных областей продолговатым лицом с острыми чертами, твердым как кремь. Он тут же провел меня в дом. В доме было темно; мой провожатый освещал путь керосиновой лампой. Те комнаты, которые я успел как-то разглядеть, показались мне безжизненными, пустыми. Никаких ковров, ничего такого. В комнате наверху, куда мы вошли,

ковра тоже не было; там стояли кровать, стол и несколько стульев; однако в камине жарко горел огонь. Когда нужно топливо, очень удобно иметь под боком лес.

Илескар, владелец этого леса, был болен пневмонией. Он оказался настоящим борцом. В течение последующих трех суток я то и дело заезжал в Иле, и мой пациент даже невольного вздоха ни разу не допустил — настолько держал себя в руках. На третью ночь мне пришлось принимать роды в Месовале, но я вскоре оставил роженицу на попечение акушерки — знаете, я был тогда молод и решил, что дети рождаются каждый день, а вот по-настоящему мужественный человек далеко не каждый день этот мир покидает. Илескар вел со смертью настоящее сражение, и я старался по мере сил помочь ему. Вдруг на рассвете температура у него резко упала, как часто бывает теперь при приеме разных новомодных лекарств, но тогда это не было действием какого-то лекарства; просто человек боролся и победил. Я возвращался из Иле домой в приподнятом настроении, любуясь светлеющим краем неба на востоке; день занимался облачный, ветреный.

Пока Илескар выздоравливал, я заезжал к нему каждый день. Что-то влекло меня туда. Да и такие ночи, как та, когда произошел кризис, случаются только в юности — с заката до восхода существуешь бок о бок с жизнью и смертью одновременно, а за окнами ждут лес, зима, тьма.

Я говорю «лес» в точности как наша Минна, хотя это была всего-навсего роща из нескольких сотен деревьев. Впрочем, когда-то там действительно шумели настоящие леса. Они покрывали всю территорию Валоне Альте и принадлежали роду Илескаров. Однако в течение полутора столетий их упорно вырубали, и в итоге у последнего и единственного представителя этого древнего семейства осталась лишь эта роща, старый дом и доля в Кравайских плантациях — чтобы хоть как-то прожить. Вместе с Илескаром в доме жил еще Мартин, тот самый человек с лицом, точно вырубленным из кремня. Официально он считался слугой Илескара, хотя они и работали, и ели вместе. Мартин был человеком довольно странным, очень ревнивым, искренне преданным Илескару. Я, например, ощущал его преданность как некую вполне реальную силу; в ней не было и намека на сексуальное партнерство, скорее чувствовалось некое собственническое желание обладать и защищать одновременно. Меня это не слишком удивляло. В Галвене

Илескаре действительно было нечто такое, отчего подобное желание казалось вполне естественным. Естественно было восхищаться этим человеком и защищать его.

Историю Илескара я узнал главным образом от Минны; ее мать когда-то служила у его матери. Отец семейства, истратив все, что можно было истратить, заболел плевритом и умер. В двадцать лет Галвен поступил на службу в армию; в тридцать женился, вышел в отставку в чине капитана и вернулся в Иле. Примерно года через три жена бросила его, сбежав с каким-то типом из Браилавы. Об этом я уже немного знал от самого Галвена. Он был благодарен мне за частые визиты и, по-моему, понимал, что я ишу его дружбы. Видимо, он считал, что в данном случае отказывать в дружеском расположении не стоит. Я довольно бесвязно рассказал ему о нас с Помой, и он счел себя обязанным поведать мне о своем неудачном браке.

— Она оказалась чересчур слаба, — сказал он. У него был приятный, чуть хрипловатый голос. — А я принял ее слабость за очарование. Ошибся, бывает. Не ее вина. Просто ошибка. Вы ведь знаете, она меня бросила, ушла к другому.

Я кивнул, чрезвычайно смущенный.

— Однажды я увидел, как он кнутом хлещет лошадь по морде, — проговорил Галвен по-прежнему задумчиво, в голосе его послышалась боль. — Он что было сил бил ее по глазам, пока они не превратились в две открытые раны. Когда я подбежал, он как раз перестал ее бить и так глубоко и удовлетворенно вздохнул, словно встал из-за стола после сытного обеда. Это была его собственная лошадь. Так что я ничего ему не сделал. Только велел немедленно убираться прочь. Мало, конечно...

— Значит, вы с женой... в разводе?

— Да, — ответил он и посмотрел на Мартина, который поправлял дрова в камине у противоположной стены. Мартин кивнул, и Галвен снова сказал: — Да. — Он всего неделю назад встал с постели и выглядел усталым; все это показалось мне немножко странным, но я уже понял, что Илескар вообще человек странный. И тут он вдруг прибавил: — Простите. Я давно позабыл, как следует разговаривать с цивилизованными людьми.

Тяжело было слушать, как он извиняется передо мной, так что я тут же заговорил о первом, что пришло мне в голову — о Поме, о себе, о Минне, о своих пациентах, — и вскоре уже спрашивал его, нельзя ли мне как-нибудь

приехать в Иле вместе с Помой, которая так восхищалась здешними местами.

— Мне, разумеется, было бы очень приятно, — сказал Галвен. — Но сперва дайте мне встать на ноги, хорошо? И потом... по-моему, этот дом похож на волчье логово, вам не кажется?..

Но я точно оглох.

— Она даже ничего не заметит, — заявил я. — У нее самой комната, как джунгли — повсюду валяются всякие шарфы и шали, пузырьки, книжки, шпильки для волос... Да она никогда ничего не убирает! Никогда не может застегнуть пуговицы как следует, вечно все забывает, оставляет где-то, за ней, точно в кильватере судна, тянется целый шлейф из вещей. — Я не преувеличивал. Пома любила одежду из мягких тканей, особенно прозрачные легкие шарфы, и где бы она ни побывала, обязательно оставался какой-нибудь шарф, то брошенный на ручку кресла, то зацепившийся за розовый куст, то клочком нежно-розовой пены упавший на пол. Помона была похожа в этом отношении на какого-то маленького зверька, который повсюду роняет клочки шерсти. Так кролики оставляют свой белый пух на колючих ветках шиповника в полях ранним утром. Когда Помона теряла очередной шарф, то вполне способна была прикрыть обнаженную шею первым же попавшимся лоскутом или платком, и я порой насмешливо спрашивал, что это у нее на плечах, уж не тряпка ли, которой она вытирает пыль на каминной полке? — и она непременно улыбалась в ответ своей очаровательной, растерянной, чуть ленивой улыбкой. Моя сестренка была милой, прелестной девочкой. Однако меня страшно удивило, когда в ответ на предложение съездить где-нибудь на днях вместе в Иле она ни с того ни с сего ответила:

— Нет.

— Почему же «нет»? — Я даже расстроился. Я так много рассказывал ей об Илескаре, и она, по-моему, очень заинтересовалась.

— Ему там совсем не нужны ни женщины, ни вообще какие бы то ни было гости, — сказала она. — Оставь беднягу в покое.

— Чепуха. Он очень одинок и не знает, как ему выбраться из этого одиночества.

— В таком случае ты именно тот человек, который ему нужен, — сказала она с улыбкой. Я продолжал настаивать —

видите ли, я вбил себе в голову, что непременно должен как-то помочь Галвену, — и в конце концов она объяснила: — У меня какое-то странное отношение к этому месту, Жиль. А когда ты рассказываешь об Илескаре, мне все время мерещится лес. Тот, прежний лес — такой, каким он, должно быть, был здесь когда-то. Величественный, мрачноватый, с полянами, которых не видел ни один человек, с такими местами, о которых люди когда-то давно знали, но теперь совсем позабыли. И полный диких зверей. В таком лесу обязательно заблудишься. По-моему, мне лучше остаться дома и привести в порядок свои розы.

Видимо, я стал говорить что-то насчет «женской нелогичности» и тому подобного. В общем, я давил на нее, как танк, и она все-таки уступила. Уступчивость была ее божьим даром точно так же, как неуступчивость — даром Галвена. День для нашего визита еще назначен не был, и это ее несколько успокоило. На самом деле прошло еще месяца два, прежде чем она наконец посетила Иле.

Я помню широкое февральское небо с тяжелыми тучами, висевшими над долиной. Когда мы подъехали, дом показался нам обнаженным среди мрачных зимних небес и голых деревьев. Было заметно, что на крыше, крытой гонтом, кое-где не хватает дощечек; в глаза бросались окна без занавесок, заросшие сорняками подъездные дорожки. Накануне я спал плохо, беспокойно: мне снилось, что я пытаюсь выследить кого-то в лесу, кажется, какого-то маленького зверька, но так его и не обнаруживаю.

Мартина нигде не было видно. Галвен сам привязал и распряг нашего пони, потом провел нас в дом. Он был в старых офицерских штанах со споротыми лампасами, в старой куртке и грубой вязки шерстяном шарфе. Я никогда раньше не замечал, насколько он беден, пока не посмотрел на все это глазами Помоны. В сравнении с ним мы казались просто богачами: у нас были теплые пальто, достаточно угля, собственная повозка и пони, собственные маленькие сокровища. У него же был лишь пустой дом.

Он или Мартин свалили один из дубов, чтобы накормить огромный камин на первом этаже. Стулья, на которых мы сидели, были принесены сверху, из комнаты Илескара. Мы замерзли и чувствовали себя неловко. Изысканная вежливость Галвена тоже казалась какой-то замороженной. Я спросил, где Мартин.

— Охотится, — последовал равнодушный ответ.

— А вы тоже любите охоту, господин Илескар? — поинтересовалась Помона. Голос ее звучал легко и спокойно, лицо в отблесках камина казалось розовым. Галвен посмотрел на нее и оттаял.

— Когда жива была моя жена, я частенько ходил на болота за утками, — сказал он. — Уток там осталось не так уж много, но мне нравилось бродить по болотам на рассвете и смотреть, как встает солнце.

— И кстати, очень полезно для слабых легких, — вставил я. — Непременно постарайтесь снова начать ходить на охоту. — И вдруг все мы как-то сразу почувствовали себя свободнее. Галвен принялся рассказывать разные охотничьи истории, случавшиеся с членами его старинной семьи — например легенды об охоте на диких кабанов, хотя в Валоне уже лет сто не было ни одного кабана. Слово за слово — мы вспомнили множество и всяких других историй, вроде тех, которые до сих пор любят рассказывать деревенские старики, вроде нашей Минны. Пома очень увлекалась такими преданиями, и Галвен поведал ей одну из местных легенд — отрывок не слишком сложного, однако весьма таинственного эпического сказания, где повествовалось о страшных снежных лавинах и вооруженных боевыми топорами героях; сказание это, должно быть, сложили некогда в высокогорных селениях, и в течение многих веков оно постепенно спускалось в долину, передаваемое из семьи в семью по наследству. Галвен рассказывал очень хорошо, негромким суховатым голосом, и мы заслушались его, сидя у жаркого огня, а за спинами у нас металась темная тень. Впоследствии я как-то раз попробовал вспомнить и записать эту сказку, но обнаружил, к сожалению, что помню лишь отдельные ее фрагменты; в моем пересказе вся поэзия из нее начисто улетучилась. Но однажды я слышал, как Пома рассказывала ее своим детям — слово в слово как тогда Галвен в Иле.

Когда мы возвращались обратно, мне показалось, что я заметил Мартина: он вышел из лесу и направлялся к дому, однако было слишком темно, чтобы говорить наверняка.

За ужином Пома спросила:

— Жена Илескара умерла?

— Они в разводе.

Она налила себе чаю и задумалась, склонившись над чашкой.

— Мартин, видно, нарочно избегал встречи с нами, — сказал я.

— Он, наверное, недоволен, что я туда приехала.

— Возможно. Да он вообще человек суровый. Но ведь Галвен тебе понравился, правда?

Пома кивнула и почти сразу, словно вспомнив о чем-то, улыбнулась. А вскоре, встав из-за стола, поплыла в свою комнату, оставив в кильватере прозрачный светло-розовый шарф, зацепившийся ниточкой за стул, на котором она сидела.

Прошло несколько недель, и Галвен сам заглянул к нам. Я был польщен и озадачен одновременно. Я никогда даже представить его себе не мог где-нибудь еще, кроме Иле, а уж тем более — стоящим посреди нашей крохотной квартиры, подобно всем прочим посетителям. Он раздобыл себе в Месовале лошадь. И был ужасно доволен, и очень серьезно объяснял нам, что на самом деле это очень хорошая кобыла, только старая и заезженная, и как нужно «приводить в порядок» такую измученную клячу.

— Когда я снова приведу ее в порядок, то вам, милая барышня, возможно, даже захочется на ней покататься, — сказал он Помоне, потому что та как-то упомянула, что очень любит верховую езду. — Это очень добрая лошадка.

Моя сестра тут же с радостью приняла его предложение; она никогда не могла устоять перед прогулкой верхом.

— А все моя лень, — оправдывалась она в таких случаях. — Когда едешь верхом, трудится лошадь, а ты просто сидишь.

Пока Галвен был у нас, Минна все время подглядывала в дверную щелку и после его ухода впервые за все это время выказала по отношению к нам некий намек на уважение. Похоже, в ее глазах мы наконец-то достигли пристойного положения в здешнем обществе. Я тут же воспользовался этим и спросил ее о том человеке из Браилавы.

— Он часто приезжал сюда охотиться. Господин Илескар тогда еще тоже любил развлечься. Конечно, такого веселья, как при его отце, не бывало, однако все же и у него гостили настоящие дамы и господа. Ну а этот приезжал охотиться. Говорят, что однажды он так избил свою лошадь, что та ослепла, и после этого они с господином Илескаром крупно поссорились, и господин Илескар велел ему убираться прочь. Однако, по-моему, он еще не раз приез-

жал сюда и все-таки в конце концов оставил господина Илескара в дураках.

Значит, насчет лошади все оказалось правдой. До рассказа Минны я не был окончательно в этом уверен. Галвен не лгал, но, по-моему, из-за постоянного одиночества уже не очень-то отличал правду от собственного невольного вымысла. Не знаю, что именно дало мне повод так думать; скорее всего его собственные слова о том, что его жена умерла; впрочем, она ведь действительно умерла — по крайней мере для него, даже если для остальных просто жила в другом городе. Так или иначе, а насмешливый тон Минны был мне неприятен, как неприятно было и ее дурацкое уважение к Илескару как к «настоящему джентльмену» и полнейшее неуважение к нему как к мужчине. Я так и сказал. Она только пожала своими могучими плечами:

— Тогда, доктор, объясните мне, почему он не бросился за ними в погоню? Почему позволил этому типу просто так увести от него жену?

Тут у нее явно был пунктик.

— Да она и не стоила того, чтоб за ней гоняться, — заявил я. Минна снова пожала плечами, и неудивительно: согласно ее представлениям — и Галвена тоже, — уважающие себя люди так не поступают.

На самом деле мне тоже казалось просто непостижимым, что он спустил такое оскорбление. Я же видел, как он сражался с куда более страшным, чем любовник жены, врагом... А не вмешался ли в это дело Мартин? Ведь Мартин — стойкий христианин; у него совсем иная система ценностей. Впрочем, каким бы сильным и стойким ни был Мартин, он не смог бы удержать Галвена, если бы тот пожелал что-то сделать. Все это представлялось мне весьма любопытным, и на досуге мысли мои не раз возвращались к той истории. Именно пассивность Галвена и казалась совершенно несоответствующей его гордому, прямому, неуступчивому характеру, а я считал, что достаточно хорошо успел изучить его. Какого-то звена в той цепи событий явно не хватало.

В ту весну я несколько раз возил Пому в Иле покататься верхом; за зиму она немножко ослабела, и я предписал ей физические упражнения. Ее приезды доставляли Галвену огромное удовольствие. Давно уже он не чувствовал себя нужным другому человеческому существу. К июню, получив деньги от владельцев плантаций в Кравае, он купил

себе второго коня. Этот конь назывался «конем Мартина», и Мартин действительно ездил на нем в Месоваль, однако куда чаще на нем ездил сам Галвен, особенно когда приезжала Помона и брала старую вороную кобылу. Они являли собой довольно забавную парочку: Галвен, кавалерист до мозга костей, верхом на крупном костлявом чалом жеребце, и Пома, ленивая, улыбающаяся, восседающая в дамском седле на толстой старой кобыле. Все лето по воскресеньям после обеда он заезжал к нам, ведя в поводу кобылу, забирал Пому, и весь остаток дня они катались верхом. С прогулок она возвращалась сияющая, румяная от ветра, а я эти чудесные метаморфозы приписывал воздействию физических упражнений на воздухе — ах, поистине нет больших глупцов на свете, чем молодые врачи!

А потом наступил тот августовский вечер. Он пришел на смену трудному жаркому дню, когда я, принимая тяжелые преждевременные роды, промучился пять часов и принял мертвых близнецов. Лишь часов в шесть я вернулся домой и прилег у себя в комнате. Я был совершенно измотан. Мертворожденные младенцы, тошнотворная тяжкая жара, серые от угольного дыма небеса над плоской скучной равниной — все это меня доконало. Лежа в полутьме, я услышал сперва негромкий стук копыт на пыльной дороге, а через некоторое время голоса Помоны и Галвена. Моя сестра сказала:

— Я не знаю, Галвен.

— Ты не можешь переехать туда, — послышался его голос.

Если она и ответила ему что-то, то я не расслышал.

— Когда там начинает протекать крыша, — продолжал он, — то уж протекает как следует. Мы стараемся прикрыть старыми дощечками дыры, прибиваем их гвоздями... Нужны немалые деньги, чтобы сменить кровлю на таком доме. У меня денег нет. И профессии тоже. Меня так воспитывали — я и не должен был иметь какую-либо профессию. У таких, как я, обычно есть земля, но не деньги. А у меня и земли нет. У меня есть только пустой дом. В нем я живу, этот дом — точно я сам. И я не могу оставить его, Помона. Но ты там жить не сможешь. Там же ничего нет. Ничего!

— Там есть ты, — ответила она, или мне показалось, что она именно так ответила; она говорила очень тихо.

— Это все равно.

— Почему же?

Последовало молчание.

— Не знаю, — проговорил он наконец. — Начинал-то я хорошо. Может быть, все случилось потому, что я вернулся. И привел ее в этот дом. Я действительно старался, старался подарить ей Иле. Это для меня все равно что подарить собственную душу. Но ни к чему хорошему это не привело. И никогда не приведет. Все попытки бессмысленны, Пома! — В голосе его звучала боль, и она в ответ произнесла лишь его имя. После чего я перестал слышать, что они говорят друг другу — до меня доносилось лишь нежное спокойное воркованье. И хотя подслушивать стыдно, но слушать их было приятно — приятно было слышать эту воплощенную в звуках нежность. Но отчего-то мне стало не по себе, я ощущал ту же дурноту, что и днем, когда помогал рождаться этим мертвым близнецам. Нет, совершенно невозможно, чтобы моя сестра полюбила Галвена Илескара! И не потому, что он беден, не потому, что предпочитает жить в полуразрушенном доме на самом краю неизвестно чьих владений; он получил этот дом в наследство, он имел право жить там, где хочет. У каждого своя жизнь. И Пома тоже имела право выбрать его жизнь, если любит. Вовсе не это делало их любовь невозможной. А то недостающее звено. И еще нехватка чего-то очень существенного, какой-то серьезный изъян в самом Галвене, в его человеческой природе. Он не казался мне братом, как все остальные мужчины. Он представлялся мне чужаком, пришельцем из другой страны.

В тот вечер я без конца посматривал на Пому; прелестная была девушка, нежная, точно солнечный луч. Я проклинал себя за то, что не сумел разглядеть ее раньше, за то, что не был ей хорошим братом, за то, что никогда не брал ее с собой туда — ну хоть куда-нибудь! — где в веселой компании она могла бы выбирать из дюжины мужчин, готовых отдать ей руку и сердце. Вместо этого я повез ее в Иле.

— Я тут все думал, — сказал я ей утром за завтраком, — и, знаешь, мне совершенно осточертели здешние места. Я готов попытаться счастья в Браилаве. — Мне казалось, что я веду разговор исключительно тонко, пока в ее глазах не плеснулся ужас.

— Тебе действительно так ужасно здесь надоело? — слабым голосом спросила она.

— Здесь мы все время еле сводим концы с концами. Это несправедливо по отношению к тебе, Пома. Я уже начал

писать письмо Коэну с просьбой подыскать мне какого-нибудь компаньона в столице.

— А может, тебе стоит еще немного подождать?

— Только не здесь. Этот путь нас никуда не приведет.

Она кивнула и при первой же возможности встала из-за стола. И не забыла ни шарфа, ни носового платка. Ни одного следа не оставила! Целый день она пряталась в своей комнате. У меня в тот день была всего пара вызовов, и, Боже мой, как же долго он тянулся, этот день!

После ужина я поливал розы, когда она подошла ко мне. Именно здесь, на этом самом месте они с Галвенем вчера разговаривали.

— Жиль, — промолвила она, — мне нужно кое-что сказать тебе.

— У тебя юбка за розовый куст зацепилась.

— Отцепи, пожалуйста, мне самой не достать.

Я отломил шип и освободил ее.

— Мы с Галвенем любим друг друга, — сказала она.

— Ах вот как, — пробормотал я.

— Мы все обсудили. Ему кажется, что пожениться мы не можем: он слишком беден. Но я считаю, что тебе лучше все-таки об этом знать. И постараться понять, почему я не хочу уезжать из Валоне.

У меня не нашлось слов, чтобы сразу ответить ей. Точнее, слова душили меня. Наконец мне удалось выдавить:

— То есть ты хочешь остаться здесь, несмотря?..

— Да. По крайней мере я смогу видеть его.

Она пробудилась, моя спящая красавица. Он разбудил ее; он дал ей то, чего ей не доставало, что лишь очень немногие мужчины могли бы ей дать: ощущение опасности, которое и лежит в основе любви. Теперь ей стало необходимо то, что было в ней всегда и всегда оставалось невосстребованным — ее спокойствие, ее сила. Я долго и внимательно смотрел на нее и наконец вымолвил:

— Ты хочешь сказать, что будешь жить с ним?

Она смертельно побледнела и сказала:

— Да, если он попросит меня об этом. А как по-твоему, он меня об этом попросит? — Она очень рассердилась, а я был сражен наповал. Я стоял, все еще держа в руках лейку, и бормотал глупые извинения:

— Прости меня, Пома, я не хотел... Но что ты действительно собираешься предпринять?

— Не знаю, — ответила она все еще сердито.

— То есть пока ты просто хотела бы продолжать жить здесь, а он — там, и... — Она уже почти подвела меня к тому, чтобы предложить ей выйти за него замуж. Теперь уже рассердился я. — Ну хорошо, я поговорю с ним.

— О чем? — воскликнула она, тут же вставая на его защиту.

— О том, что он намерен делать! Если он хочет жениться на тебе, то, конечно же, может подыскать себе какую-нибудь работу, верно?

— Он уже пробовал, — сказала она. — Его воспитали не для работы. И, знаешь, он ведь был болен.

Она произнесла это с таким достоинством и так уязвленно, что у меня защемило сердце.

— Ах, Пома, это-то я знаю! Да и ты знаешь прекрасно, как я его уважаю и люблю; он ведь был сперва именно моим другом, верно? Что же касается болезни — какой, кстати, болезни?.. Порой мне кажется, что я никогда его по-настоящему не знал... — Я умолк — все равно она не поняла бы меня. Она слепо не замечала в своем лесу темных чащоб, а может, все они казались ей светлыми полянами. Она боялась за него; но его самого она не боялась совершенно.

Итак, тем же вечером я отправился в Иле.

Галвена дома не оказалось. Мартин сказал, что он взял кобылу и поехал прогуляться. Сам же Мартин чистил упряжь в конюшне при свете фонаря и яркой луны, и я немного поговорил с ним, поджидая Галвена. В лунном свете рощи Иле казались настоящим большим лесом; березы и дом светились, точно серебряные; дубы стояли черной стеной. Мартин подошел ко мне, и мы, стоя в дверях конюшни, вместе покурили. Глядя на его освещенное луной лицо, я подумал, что, пожалуй, доверял бы ему, если б только сам он доверял мне.

— Мартин, я хочу кое о чем спросить вас. У меня для этого действительно веские причины.

Он пыхтел своей трубочкой и молча ждал моего вопроса.

— Как по-вашему, Галвен в своем уме?

Мартин продолжал молчать, посасывая трубку, потом усмехнулся.

— В своем ли Галвен уме? — переспросил он. — Знаете, не мне судить. Я ведь тоже живу здесь, причем по собственной воле.

— Послушайте, Мартин, вы же понимаете, что я ему друг. Но он и моя сестра... любят друг друга, они поговаривают о том, чтобы пожениться. Кроме меня у нее больше никого нет, и я должен о ней позаботиться. Я бы хотел более подробно узнать о... — Я заколебался и все-таки выговорил: — О его первом браке.

Мартин смотрел куда-то в глубь двора, его светлые глаза были полны лунного света.

— Лучше не будем об этом, доктор. А вашу сестру следовало бы увезти отсюда.

— Но почему?

Он не ответил.

— Я имею право знать это.

— Да вы посмотрите на него! — вдруг взорвался Мартин, яростно на меня глядя. — Посмотрите на него как следует! Вы достаточно близко знакомы с ним, однако никогда не узнаете, каким он был, каким он должен был бы быть. Что сделано, то сделано, ничего уже не исправишь, и оставьте его в покое. А что с ней будет здесь, если на него снова найдет черная тоска? Мы с ним немало прожили вместе, и порой он за много дней подряд не произносил ни слова, и ничего сделать было нельзя, невозможно ничем помочь ему. Разве это жизнь для молоденькой девушки? Он не годится для того, чтобы жить с людьми. Нет, он не в своем уме, если вам угодно! Так что увезите ее отсюда!

В нем явно говорила не только ревность, однако и логика его рассуждений была мне не понятна. Собственно, те же аргументы против себя самого приводил и Галвен вчера вечером. Я был совершенно уверен, что никакой «черной тоски» Галвен не испытывал с тех пор, как познакомился с Помой. А вот дальше, в его прошлом, все для меня скрывалось во тьме.

— Он развелся со своей женой, Мартин?

— Она умерла.

— Вы это точно знаете?

Мартин кивнул.

— Ну хорошо, она мертва, и, значит, с этой историей покончено. Тогда мне остается только одно: поговорить с ним.

— Вы этого не сделаете!

В голосе его прозвучал не вопрос и не угроза, но ужас, самый настоящий ужас. Теперь я тщетно, как утопающий

за соломинку, пытался уцепиться хоть за какое-нибудь здравое объяснение происходящего.

— Но ведь кому-то же нужно смотреть в лицо реальной действительности, — сказал я сердито. — Если они пожелают, им ведь нужно будет на что-то жить...

— На что-то жить, на что-то жить... А дело совсем и не в этом! Он ни на ком не может жениться, вот что. Увезите ее отсюда, и поскорее!

— Но почему?

— Ладно. Вы спрашивали, в своем ли он уме, и я снова вам отвечу: нет, он не в своем уме. Ибо совершил нечто ужасное, о чем не знает, не помнит, но, если ваша сестра переедет сюда, это вполне может случиться снова. Разве я могу быть уверенным, что этого не случится снова?

Я вдруг почувствовал сильное головокружение — слишком ветреной была ночь, слишком темным и высоким казался купол небес, слишком ярко серебрились деревья. Наконец я сумел прошептать:

— И это ужасное случилось с его женой?

Ответа не последовало.

— Ради Бога, Мартин!

— Хорошо, — тоже шепотом ответил он. — Слушайте. Он наткнулся на них в лесу. Вон там, среди дубов. — Мартин показал на мрачные огромные деревья, освещенные лунной. — Он в то утро ходил на охоту. Прошел всего один день с тех пор, как он прогнал отсюда этого типа из Браилавы, велел тому убираться прочь и никогда больше не попадаться ему на глаза. А она ужасно на него разозлилась за это, полночи они ссорились, и он еще до рассвета ушел на болота. А вернулся довольно рано и застал их в дубовой роще, срезая путь. Наткнулся на них прямо среди бела дня. И тут же, не раздумывая, застрелил ее, а его так ударил прикладом ружья по голове, что мозги вышиб. Я услышал рядом с домом стрельбу, выбежал и сразу нашел их. Его я отвел домой. У нас тогда гостили еще несколько человек, так я отослал гостей, сообщив им, что жена хозяина сбежала. В ту ночь он пытался покончить с собой, и мне пришлось следить за ним очень внимательно, пришлось даже связать его. — Голос Мартина дрожал и прерывался. — Много недель подряд он совсем не говорил, был словно бессловесное животное, и мне приходилось запира́ть его в доме. Но постепенно все как-то стерлось в его памяти, ушло, хотя временами на него опять находило, так что нужно

было стеречь его днем и ночью. И дело даже не в ней и не в том, что он наткнулся на них, точно на собак во время случки; самое страшное — что он их убил; вот это-то его и сломало. Но он все-таки выкарабкался, пришел в себя, снова стал вести себя как нормальный человек, но только когда совершенно забыл все это. Да, он все забыл. Ничего не помнит. Ничего не знает о случившемся в действительности. Я рассказывал ему ту же историю, что и всем остальным: они сбежали, уехали за границу, и он в конце концов мне поверил. И верит, что так оно и было. Ну что, вы и теперь намерены привезти сюда сестру?

— Простите, Мартин, простите меня, — только и сумел выговорить я. Потом, помолчав и взяв себя в руки, спросил: — А они... что вы сделали с ними?

— Они лежат там же, где умерли. Может, вам хочется выкопать тела и удостовериться? — спросил он каким-то диким хриплым голосом. — Они там, в роще. Давайте копайте, вот вам заступ, как раз им я и копал для них могилу. Вы ведь врач, вы никогда не поверите на слово, что Галвен смог сотворить такое с человеком. От головы, конечно, ничего не осталось, но... но... — Мартин вдруг закрыл руками лицо, присел на корточки и стал раскачиваться взад-вперед, взад-вперед, содрогаясь от рыданий.

Я говорил ему всякие слова, пытаюсь как-то утешить, а он мне в ответ сказал только одно:

— Если бы только я мог все забыть! И то, каким он был когда-то!

Потом он понемногу взял себя в руки, и я ушел, не дожидаясь Галвена. Я сказал «не дожидаясь» — на самом же деле я просто сбежал. Мне хотелось поскорее выбраться из тени этих деревьев. Всю обратную дорогу я подгонял своего пони, был счастлив, что дорога пустынна и вся просторная долина залита лунным светом. В дом я влетел, задыхаясь и дрожа, и... обнаружил там Галвена Илескара, который в одиночестве стоял у камина.

— Где моя сестра? — заорал я. Он изумленно и растерянно уставился на меня, потом, заикаясь, пробормотал:

— Наверху.

Я бросился наверх, прыгая через четыре ступеньки. Она действительно оказалась там — сидела в своей комнате на кровати, среди всяких шарфиков, лоскутков, обрезков и прочего хлама, который никогда не разбирала, и плакала.

— Жиль, — воскликнула она с таким же, как у Галвена, изумленным и растерянным видом, — что случилось?

— Ничего... Не знаю, о чем ты, — и я попятился из комнаты, хотя бедная девочка была перепугана до смерти. Однако она осталась ждать наверху, а я спустился к Галвену; знаете, они ведь специально это устроили, согласно тогдашним обычаям, мужчинам предоставлялась возможность самим все обсудить и найти решение.

Галвен задал мне тот же вопрос: «Что случилось, Жиль?», а что я мог ему ответить? Ну вот, он стоял передо мной и напряженно ждал, красивый, храбрый мужчина с ясными глазами, мой друг, готовый сообщить, что любит мою сестру, что подыскал себе работу, что будет верен своей будущей жене всю жизнь. А я, по всей видимости, должен был сказать в ответ: «Да нет, Галвен Илескар, кое-что мне тут не совсем ясно!», и рассказать ему, что именно неясно? Ох, действительно что-то тут было неясно, но только далеко, в темных глубинах прошлого, а не в тех поступках, которые он совершил потом. Неужели мне нужно было влезать во все это?

— Галвен, — сказал я, — Пома говорила со мной. Я просто не знаю, что и ответить. Я не могу запретить вам пожениться, но я не могу и... не могу... — И все. Слова застряли у меня в горле; слезы Мартина слепили меня.

— Ничто не сможет заставить меня причинить ей боль, — проговорил он очень спокойно и тихо, словно давая обет. Не знаю, понял ли он меня; не знаю, действительно ли, как то представлял себе Мартин, Галвен не ведал о том, что совершил. В общем-то, это не имело особого значения. Боль и вина за совершенное преступление остались в нем с тех пор навсегда. Это он понимал, понимал отлично и терпел свою боль без жалоб.

Ну что ж, это был еще не конец, хотя тут-то все и должно было бы кончиться. Однако то, что способен был терпеть он, я вытерпеть не сумел и в конце концов, подавляя в себе чувство жалости и сострадания, передал Поме рассказ Мартина. Я не мог позволить ей, беззащитной, зайти в самую чашу леса. Она выслушала меня, и я, еще не закончив говорить, понял, что потерял ее. Нет, она, разумеется, мне поверила. Да поможет ей Господь — по-моему, она уже все знала и раньше! Знала не то чтобы сами факты, но догадалась об истинном положении вещей. Однако мой рассказ заставил ее сделать выбор, принять чью-то сторону. И она

этот выбор сделала. Сказала, что останется с Илескаром. В октябре они поженились.

Доктор прокашлялся и долго смотрел в огонь, не замечая нетерпения своего молодого собеседника.

— Ну и?.. — взорвался тот наконец, как шутиха. — Что же случилось потом?

— Что случилось? Да ничего особенного не случилось. Они продолжали жить в Иле. Галвен нашел себе место надзирателя на плантациях Кравая и через пару лет научился отлично справляться со своими обязанностями. У них родились сын и дочь. А когда Галвену исполнилось пятьдесят, он умер: снова пневмония. Сердце не выдержало. Моя сестра по-прежнему живет в Иле. Я ее уже года два не видел, но надеюсь, что удастся провести у них Рождество... Ах да, я и забыл про причину, побудившую меня рассказать вам все это! Вы сказали, что существуют преступления, которым нет прощения. И я согласен с вами, что убийство следует считать одним из таких преступлений. Но все же среди множества людей, которых мне довелось встречать за свою долгую жизнь, больше всех я любил именно убийцу, и именно он потом стал мне зятем и братом... Вы понимаете, что я хочу сказать?

НОЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ

— Самое лучшее — это женить его.
— Женить?
— Ш-ш-ш.

— Да кто за него пойдет?

— Любая! Он по-прежнему здоровенный красивый парень. За него любая пойдет.

Случайно коснувшись друг друга под простыней влажным от пота плечом или бедром, они резко отодвигались к краям кровати, потом снова лежали тихо, глядя во тьму.

— А как же его пенсия? — все-таки спросил Альбрехт. — Она ведь тогда ей достанется.

— Они же здесь будут жить! Где же еще? Любая из девочек за такую возможность ухватится. И за квартиру ничего не нужно платить. Она бы помогала в магазине и о нем заботилась. Фигушки я отдам кому-то его пенсию — после всех моих трудов! Да я и родным детям бы ее не отдала! Они с женой заняли бы комнату твоего брата, а он перешел бы спать в гостиную...

Эта деталь сделала ее план настолько реальным, что Альбрехт надолго умолк и лишь с наслаждением почесывал свои влажные плечи. Потом он спросил:

— Ты что, уже кого-нибудь конкретного заметила?

В гостиной, за дверями их комнаты скрипнула кровать: спящий там человек повернулся во сне. Сара минутку помолчала, потом сообщила шепотом:

— Алицию Бенат.

— Хм! — Альбрехт был удивлен. Пауза затянулась, и они незаметно погрузились в беспокойный из-за жары и духоты сон. Сара не поняла, что на какое-то время уснула, и вдруг с изумлением обнаружила, что сидит на кровати, а сбившаяся простыня запуталась у нее в ногах. Она встала и побрела в гостиную. Там спал ее племянник; гладкая бледная кожа на его обнаженных плечах и груди в сером рассветном свете казалась твердой, и он был похож на каменное изваяние.

— Чего ты так орешь?

Он резко сел на постели, хлопая широко раскрытыми глазами:

— В чем дело?

— Ты разговаривал во сне, что-то кричал. Мне ведь тоже нужно поспать.

Он затаился. Сара вернулась в постель, и больше не было слышно ни звука. Он лежал и слушал тишину. В конце концов снаружи что-то глубоко вздохнуло: занималась заря. До него долетело прохладное дыхание ветерка. Он тоже вздохнул, перевернулся на живот и провалился в сон, который показался ему ослепительно светлым, как наступающий день.

А вокруг спящего дома застыл в рассветных лучах город Ракава. Улицы, старинные крепостные стены с высокими воротами и сторожевыми башнями, громоздкие и неуклюжие здания фабрик, сады на южной холмистой окраине города — вся обжитая долина, на землях которой был построен город, лежала в бледном утреннем свете, обессиленная и неподвижная. Лишь кое-где на пустынных площадях шумели фонтаны. Западная часть долины все еще была окутана ночной прохладой. Длинная гряда облаков на востоке медленно рассеивалась, превращаясь в розоватый туман, потом из-за горизонта, словно край ковша с расплавленной сталью, появился краешек солнца, все вокруг заливая ярким дневным светом. Небо тут же поглубело, по земле от башен полосами протянулись длинные тени. На площадях у фонтанов начали собираться женщины. Улицы запестрели людьми, идущими на работу; потом над городом разнесся то усиливающийся, то чуть ослабевающий вой сирены на ткацкой фабрике Фермана, заглушавший неторопливый звон колокола в соборе.

В квартире хлопнула входная дверь. Внизу, во дворе уже слышались пронзительные голоса детей. Санзо сел в постели, потом спустил ноги на пол и еще немного посидел на

краешке кровати; одевшись, он прошел в комнату Альбрехта и Сары и постоял у окна. Он отличал яркий свет от тьмы, но это окно выходило во двор, и солнечные лучи сюда не попадали. Санзо стоял, держась руками за подоконник и время от времени поворачивая голову и пытаясь уловить границу между светом и тьмой, пока не услышал за спиной шаги отца. Он тут же пошел на кухню, чтобы сварить своему старику кофе.

Тетка на сей раз забыла положить спички на обычное место, слева от раковины, так что Санзо некоторое время пришлось шарить по столу и по полкам в поисках коробка. Руки его от желания ничего не уронить и не разбить, а также от этого неожиданного подвоха казались неживыми. Наконец он нащупал спички, брошенные посреди стола, на самом видном месте. Ах если бы только он мог видеть! Когда он зажег газ, в кухню шаркающей походкой вошел отец.

— Как дела? — спросил Санзо.

— Да как всегда, как всегда. — Старик молчал, пока готовился кофе, потом попросил: — Знаешь, налей-ка лучше ты, у меня сегодня что-то руки не держат.

Санзо нащупал левой рукой чашку, потом правой рукой поднес поближе и наклонил над чашкой кофейник.

— Точно! — сказал Вольф и коснулся руки сына своими скрюченными артритом пальцами, помогая ему держать кофейник над чашкой. Так, вдвоем, они налили себе кофе. Оба молчали. Отец жевал кусок хлеба.

— Снова жара, — пробормотал он.

Синяя мясная муха жужжала и билась в окно. Кроме ее жужжания и звуков, издаваемых жующим отцом, вокруг Санзо больше, казалось, не было ничего. Стук в дверь прозвучал для него подобно выстрелу. Он вскочил. Отец продолжал как ни в чем не бывало жевать.

Санзо открыл дверь и спросил:

— Кто это?

— Привет, Санзо. Это я, Лиза.

— А, проходи, пожалуйста.

— Я муку принесла, мать занимала у вас в воскресенье, — шепнула она.

— Садись, у нас кофе горячий.

Семья Лизы Бенат жила напротив, в том же дворе; Санзо знал их всех с десяти лет, с тех пор как они с отцом переехали к Альбрехту и Саре. Он не очень ясно представлял

себе, как теперь выглядит Алиция: в последний раз когда он видел ее, ей было четырнадцать. Впрочем, и теперь голосок у нее был нежный, тоненький, детский.

Девушка по-прежнему стояла на пороге. Санзо пожал плечами и протянул руки, чтобы взять у нее принесенную муку. Она поспешила опустить мешочек ему прямо в подставленные ладони.

— Да пройди же ты, наконец, — сказал он. — Мы теперь с тобой совсем не встречаемся.

— Только на минутку. Мне надо вернуться и помочь маме.

— Со стиркой? А я думал, ты у Ребольтса работаешь.

— Они в конце прошлого месяца уволили шестьдесят закройщиков.

Она тоже присела за кухонный стол. Они поговорили о предполагаемой забастовке на ткацкой фабрике Фермана. Хотя Вольф, изуродованный артритом, уже пять лет не работал, он обо всем прекрасно знал от своих приятелей-пьяниц, а отец Лизы возглавлял местный профсоюз. Санзо говорил мало. Через некоторое время в разговоре возникла долгая пауза.

— Ну и что ты такого особенного увидела у него на лице? — услышал он вдруг голос старика.

Под Лизой скрипнул стул, но она не сказала ни слова.

— Смотри сколько хочешь, — сказал Санзо, — денег за это не берут. — Он встал и ошупью стал собирать со стола чашки и тарелки.

— Я, пожалуй, лучше пойду.

— Хорошо, иди! — Резко повернувшись к раковине, он не сумел определить, где Лиза стоит, и налетел на нее. — Извини, — сердито буркнул он, ибо терпеть не мог подобных просчетов, и вдруг почувствовал, как ее рука легонько коснулась его руки — всего на мгновение; потом ощутил на лице ее дыхание.

— Спасибо за кофе, Санзо, — сказала она.

Он повернулся к ней спиной и поставил чашки в раковину.

Лиза ушла, а через минуту ушел и Вольф, с трудом преодолев четыре пролета лестницы. Обычно он просиживал большую часть дня во дворе и, прихрамывая, передвигался вслед за солнцем по мере того, как оно перемещалось с западной стены на восточную. А когда начинали завывать фабричные сирены, Вольф отправлялся навстречу старым

приятелям, возвращавшимся с работы, и они шли в пивную на углу. Санзо вымыл посуду, убрал постели, потом взял свою палку и вышел на улицу. В госпитале для ветеранов войны его научили ремеслу, которым может заниматься и слепец — плетению кресел из камыша, и Сара устроила настоящую охоту на местных торговцев подержанной мебелью, которых изводила по очереди до тех пор, пока один не согласился отдавать Санзо все заказы на изготовление и починку плетеной мебели, поступавшие к нему. Впрочем, часто никакой работы вообще не было, зато на этой неделе поступил заказ на починку сразу восьми кресел. До мастерской было одиннадцать кварталов, но Санзо хорошо знал привычные маршруты. Ему нравилась эта монотонная приятная работа — в тихой комнатке за магазином, наполненной запахами свежесрезанного камыша, лака, плесени и клея; она даже слегка завораживала его. Был уже пятый час, когда Санзо очнулся от своих мыслей, вышел, стуча палкой, на улицу и в булочной на углу купил себе булочку с сосиской. Потом двинулся дальше по знакомому маршруту — в магазин своего дяди: «Чекей: торговля канцелярскими принадлежностями». Магазин представлял собой узкую щель между двумя стенами; здесь продавалась писчая бумага, чернила, астрологические карты, струны, сонники, карандаши, кнопки. Санзо уже давно стал помогать Альбрехту, совершенно неспособному к подсчетам, вести бухгалтерские дела. Но теперь и подсчитывать, собственно, было почти нечего: покупатели заходили очень редко. Сейчас Санзо хорошо слышал, как Сара, нарочно распаляя себя, за что-то выговаривает Альбрехту, и внутрь не пошел — вернулся на улицу, так хлопнув за собой дверь, чтобы колокольчик зазвенел вовсю и Сара отвлеклась от ссоры и вышла к прилавку в надежде на покупателя. А Санзо поспешил прочь по третьему ежедневному маршруту: в парк.

Было чудовищно жарко, хотя солнце уже садилось. Когда Санзо поднял голову и посмотрел на солнце, перед глазами поплыл тяжелый сероватый туман. Он отыскал ту скамейку, на которой сидел обычно. Насекомые гудели в сухой траве, город тяжело вздыхал, слышались голоса проходивших мимо людей, то дальше, то ближе — ему казалось, что они доносятся из пустоты. Почувствовав, что вокруг сгущаются вечерние тени, Санзо двинулся к дому. Голова уже болела вовсю. Довольно долго за ним тащилась бродячая собака. Он слышал ее тяжелое дыхание и цоканье когтей по

тротуару. Раза два он замахивался на нее палкой, когда она начинала путаться у него под ногами и жаться к коленям, но ни разу не ударил ее.

После ужина, торопливо съеденного в тиши раскаленной кухни, он посидел во дворе с отцом, дядей Альбрехтом и Кассом Бенатом. Они говорили о забастовке, о новой технологии крашения тканей, из-за которой довольно много рабочих лишатся места, о десятнике, вчера убившем жену и детей. Стояло полное безветрие, вечер был липкодушным.

В десять легли спать. Санзо устал, но жара и духота в квартире не давали уснуть. Он лежал и без конца думал о том, что, наверное, стоит встать и выйти во двор, где гораздо прохладней. Тихо и непрерывно грохотал далекий гром, порой раскаты его чуть усиливались, порой замолкали совсем. Жаркая ночь обступала его со всех сторон, окутывала влажным своим покрывалом, прижималась к нему — он вспомнил, как девушка утром прижалась к нему на мгновение, когда он нечаянно налетел на нее. Внезапно в окна ударил порыв холодного ветра, стало легче дышать, раскаты грома слышались ближе. Застучали капли дождя. Санзо лежал неподвижно. Он знал — по серым вспышкам тумана перед глазами, — что в небесах сверкают молнии. Гром оглушительными ударами раздавался в колодце их двора. Дождь усилился, барабанил по стеклам. Когда гроза начала ослабевать, Санзо наконец почувствовал облегчение; его охватила истома, благодное, хотя и довольно слабое ощущение покоя; без стыда и страха он снова вспомнил пережитые утром мгновения, когда случайно коснулся Лизы, потом незаметно соскользнул в сон.

Вот уже три дня Сара была исключительно вежлива с ним. Не доверяя ей, Санзо попытался ее спровоцировать, но она, приберегая свои вспышки гнева для Вольфа и Альбрехта, оставляла спички там, где Санзо легко мог их найти, спрашивала, не нужно ли ему еще денег (из его же собственной пенсии) и не хочет ли он сходить в пивную. В конце концов она спросила: может быть, стоит кому-то приходиться к ним иногда и читать ему вслух?

— Что именно читать? — поинтересовался Санзо.

— Газету, например, да все что угодно! Может, тебе стало бы повеселей. Наверное, кто-нибудь из детей Бенатов

смог бы это делать. Хотя бы Лиза. Я ее вечно с книгой в руках вижу. Ты ведь раньше всегда так много читал!

— Это увлечение у меня давно прошло, — глупо и горько пошутил он, но Сара ничего не заметила и неслась дальше на всех парусах, увлеченно рассказывая, как идут дела в прачечной госпожи Бенат, как Лизу выгнали с работы, как и где искать книги, оставшиеся от матери Санзо, которая тоже была большой любительницей чтения, вечно с книжкой в руках. Санзо слушал вполуха, ничего не отвечая, однако совершенно не удивился, когда на следующий день к вечеру вдруг забежала Лиза, чтобы почитать ему. Сара обычно не сворачивала с избранного пути. Она даже успела откопать в одном из ящиков в комнате Вольфа три книги, принадлежавшие матери Санзо, старые романы в школьном издании. Лиза, которой, судя по ее голосу, было очень не по себе, тут же начала читать ему один из этих романов — книгу Карантая «Юность Лийве». Сперва она очень торопилась, кашляла, голос у нее садился от волнения, но потом увлеклась и с удовольствием читала почти до самого прихода Сары и Альбрехта, а под конец спросила:

— Мне завтра прийти?

— Если хочешь, — сказал Санзо. — Мне твой голос нравится.

На третий день она уже совершенно ничего не замечала вокруг и следила только за развитием сюжета этого длинного, изящно написанного любовного романа. Санзо романтическая история уже надоела, однако он настроен был миролюбиво и терпеливо слушал. Лиза приходила читать два-три раза в неделю после обеда, когда матери в прачечной не требовалась ее помощь; и Санзо привык на всякий случай возвращаться домой к четырем.

— Тебе, видно, нравится этот Лийве, — сказал он, когда однажды, закончив читать, Лиза закрыла книгу. Они сидели за кухонным столом. В кухне долгими сентябрьскими вечерами было уютно и тихо.

— Ах, он такой невезучий, — сказала девушка с таким горячим сочувствием, что самой стало смешно. Санзо тоже улыбнулся. Его красивое, напряженно застывшее лицо вдруг, благодаря этой улыбке, совершенно переменялось, ожило. Он протянул руку, отыскал книгу и пальцы Лизы на ней и накрыл руку девушки своей рукой.

— Неужели он тебе нравится именно поэтому?

— Не знаю!

Он резко поднялся и, обойдя вокруг стола, остановился возле нее. Он стоял так, что теперь она не смогла бы встать. Лицо его снова было напряженно-внимательным.

— Сейчас темно?

— Нет. Еще только вечер.

— Мне очень хотелось бы посмотреть на тебя, — сказал он, и его левая рука нежно, легонько коснулась лица Лизы. Она вздрогнула, но сразу замерла и сидела, не шевелясь. Санзо взял ее за плечи, сперва тоже очень легко, но потом сильно сжал их и, приподняв девушку со стула, прижал к себе. Он весь дрожал. Лиза вела себя совершенно спокойно. Он целовал ее губы, лицо, тщетно попытался расстегнуть блузку, но потом вдруг резко отстранился и выпустил ее.

Она глубоко вздохнула — точно всхлипнула. Легкий сентябрьский ветерок веял вокруг них, влетая в открытое в соседней комнате окно. Он стоял к ней спиной, и она мягко окликнула:

— Санзо...

— Ты лучше уйди, — сказал он. — Нет! Я не знаю... Извини меня. Уйди, Лиза.

Она минутку постояла, потом наклонилась и прижалась губами к его руке, которой он держался за край стола. Потом взяла свой платок и вышла. Закрыв за собой дверь, она постояла немного на лестничной площадке. Сперва ничего слышно не было, потом в квартире Санзо скрипнул стул, а потом она услышала, как он насвистывает песенку — очень тихо, настолько тихо, что она даже не была уверена, из-под его ли двери доносится свист. Потом кто-то начал подниматься по лестнице, и Лиза сбежала вниз, но песенка застряла у нее в голове; слова она знала, это была старая песня, и она напевала ее вполголоса, идя через двор:

Два нищих оборванца из дому вышли.

— Эй, братец, дай-ка мне поесть, —

Сказал один нищий.

Через два дня она пришла снова. Оба не знали, что сказать, и она тут же принялась читать. Они добрались до той главы, где к больному поэту Лийве на чердак приходит графиня Луиза; эта глава называлась «Их первая ночь». Губы у Лизы пересохли от волнения, голос несколько раз прерывался.

— Дай мне, пожалуйста, глоток воды, — сказала она, однако воды так и не получила. А когда встала из-за стола, то встал и он. И протянул к ней руку. И она эту руку взяла.

Но в том, как она прильнула к нему, чувствовалось нечто неясное, недоговоренное, некое движение души, подавленное в самом начале, еще до того как она поняла, что чему-то противится.

— Ладно, — прошептал он, и его руки стали нежнее. Ее глаза были закрыты, его — открыты; они стояли так, не зажигая лампы, в темноте, совершенно одни.

На следующий день Лиза начала было читать, потому что они по-прежнему не могли разговаривать друг с другом, однако прервала чтение еще раньше. Потом несколько дней она помогала матери в прачечной. За работой она все время напевала ту песенку:

— Ступай-ка к булочнику в дом,
Дать ключ вели ему,
Скажи, что я тебя послал,
И спорить ни к чему!

Склоняясь над корытом, мать подхватила песенку. Но Лиза тут же петь перестала.

— А мне что, нельзя? У меня эта твоя песенка за день в ушах навязла. — Госпожа Бенат снова опустила в дымящуюся воду красные, изъеденные мылом руки. Лиза завела рукоятью машину для выжимания белья и сунула туда совершенно негнувшийся рабочий комбинезон.

— Да полегче ты! Сломалась, что ли?

— Да нет, просто не лезет.

— Может, пуговица попала? Чего это ты в последнее время стала такая нервная?

— Ничего я не нервная.

— Я ведь не Санзо Чекей. Я тебя насквозь вижу, детка!

Обе молчали, пока Лиза продолжала сражаться с машиной. Госпожа Бенат подняла корзину с мокрым бельем, прижимая ее к груди, и со стоном поставила на стол.

— Ты это сама придумала — читать ему?

— Нет, его тетка попросила.

— Сара?

— Она сказала, что, может, это его немного развеселит.

— Развеселит, надо же! Значит, Сара? Да она бы уже давно выгнала и его, и Вольфа на улицу, если бы не их

пенсии! И я не уверена, что стала бы ее за это винить. Хотя Санзо, правду сказать, сам о себе заботится и куда лучше, чем можно было ожидать. — Госпожа Бенат водрузила на стол еще одну корзину с бельем, стряхнула с распухших рук хлопья мыльной пены и повернулась к дочери лицом: — А теперь послушай-ка меня внимательно, Алиция. Сара Чекей — женщина, конечно, достойная. Но ты впредь будешь слушаться меня, а не ее. Поняла?

— Да, мама.

Лиза в тот день после обеда была свободна, однако к Чекеям не пошла. Она повела младшую сестренку в парк на кукольный спектакль и возвратилась домой только уже совсем в сумерках, когда ветреный осенний вечер подходил к концу. В ту ночь она поудобнее улеглась в постели, вытянувшись на спине и вольно расправив руки, и стала думать о том, что сказала ей мать. Это имело непосредственное отношение к Санзо. Неужели Сара специально хотела оставить их с Санзо вдвоем? Но зачем? Уж конечно, не по той же причине, по какой ей самой, Лизе, хотелось остаться с Санзо наедине. Но тогда что в этом плохого? Неужели мать боится, что Лиза может влюбиться в Санзо?

Тут в ее мысленном разговоре с самой собой возникла небольшая пауза, а потом она подумала: «Но я ведь уже влюблена в него». Она как-то ни разу об этом не задумывалась в последние дни, с тех пор как он впервые поцеловал ее; теперь же мысли ее прояснились, и все вдруг встало на свои места. Неужели она до сих пор этого не понимала? Странно, ведь это же совершенно очевидно! Но мама тоже должна понять ее; она ведь всегда все понимала, даже раньше, чем сама Лиза. Впрочем, она и не сказала ни слова предостережения, ни слова против Санзо. Она сказала только, чтобы Лиза держалась подальше от Сары. И это правильно. Лизе Сара тоже не нравилась, так что она охотно согласилась с требованием матери: больше не слушать Сару, что бы та ей ни говорила. А, между прочим, что Сара еще может ей сказать? И вообще, все это не имеет к Саре ни малейшего отношения.

— Санзо, — шепнула Лиза одними губами, чтобы не услышала ее сестра Ева, спавшая рядом; потом, довольная собой, она повернулась на бок, свернулась калачиком и уснула.

На следующий день она пошла к Чекеям и, когда они с Санзо как всегда сидели за столом в кухне, все посматрива-

ла на Санзо, разглядывая его. Глаза у него выглядели как у всех людей, слепоту выдавало лишь напряженное выражение лица да страшно изуродованный висок; даже под волосами видны были шрамы. Но разве ей эти шрамы отвратительны? Разве ей хочется убежать и не видеть их, хотя именно такое желание возникало у нее при встрече с ребенком, страдающим водянкой мозга, или с нищим, у которого вместо носа две огромные дыры? Нет, напротив, ей хотелось легко и нежно коснуться его шрамов — так, как он тогда впервые коснулся ее лица; ей хотелось погладить его по голове, провести пальцем по уголкам рта, сжать его сильную, спокойно лежащую на столе руку, когда он терпеливо ждет продолжения чтения или начала разговора... Единственное, что ее в нем раздражало порой, — это какая-то неосознанная пассивность, зависимость от обстоятельств, сквозившая и в его терпеливой манере выжидать, и в самой его смиренной позе. Человек с таким лицом и с такой фигурой просто не мог, не должен был проявлять такую пассивность!

— Сегодня мне что-то читать не хочется, — сказала она.

— Ладно, не будем.

— А ты не хочешь прогуляться? Погода чудесная.

— Хорошо.

Он надел куртку и последовал за ней по темной лестнице. На улице он просто пошел рядом, хотя палку с собой не взял. Она же брать его за руку не решалась.

— В парк?

— Нет. Пойдем на Холм. Там есть одно место, куда я раньше часто ходил, а теперь мне самому туда не добраться.

Холм на окраине Ракавы считался самой ее высокой точкой. Дома там были старые, огромные, вокруг — частные парки и сады. Лиза никогда здесь раньше не гуляла, хотя Холм находился всего в миле от ее родных кварталов. Сильный ветер дул с юга вдоль тихих незнакомых улиц. Она с любопытством и удовольствием осматривалась.

— Да тут кругом парк! Все улицы деревьями засажены, — восхищалась она.

— А где мы сейчас, на улице Совенскара?

— Я не заметила.

— Скорее всего так. Ты впереди, на той стороне, такой серой стены со стекляшками поверху не видишь? Мы должны мимо нее пройти.

Наконец они добрались до огромного, ничем не огороженного, совершенно одичавшего сада в конце узкого немощенного проезда. Лиза немножко боялась вторгаться на чужую территорию, да еще принадлежавшую какому-то богачу, но Санзо решительно шагал вперед, точно сам являлся здешним хозяином. Узкая подъездная аллея резко пошла в гору, сад стал еще гуще; ближе к вершине его лужайки и кусты ежевики все еще в какой-то степени сохраняли ту форму, которая им некогда была придана садовниками. Аллея подводила к дому, построенному почти у самой городской стены. Это был большой каменный дом, который своими пустыми окнами смотрел прямо на раскинувшийся внизу город.

Они сидели на склоне поросшего некошеной травой холма. Горячие лучи солнца, садившегося слева, за рошей, пробивались сквозь густую листву. Над равнинами, что простирались далеко за городские стены, висел то ли дым, то ли какая-то пелена. Отсюда была видна вся Ракава. Кое-где над крышами поднимались столбы дыма из труб, уносимого южным ветром. Невнятный тяжелый шум города точно специально оттенял мирную тишину этого заброшенного сада. Порой где-то вдали слышался лай собаки, или же, гулкий среди домов, стук лошадиных копыт, или чей-то оклик. На северной и восточной окраинах города, где городская стена давно разрушилась, громоздились фабрики — точно гигантские кубики среди маленьких игрушечных домов.

— Здесь по-прежнему никто не живет?

Лиза обернулась и посмотрела на пустой дом, на его черные незастекленные окна:

— Похоже, тут никто никогда и не жил.

— Садовник из одного дома по соседству рассказывал мне — я тогда еще был совсем мальчишкой, — что этот дом пустует уже лет пятьдесят. Его какой-то иностранец построил. Приехал сюда, сколотил на здешних фабриках состояние с помощью каких-то своих машин, потом уехал. А дом так и не продал, просто бросил, и все. Садовник говорил, что в нем сорок комнат. — Санзо лежал навзничь на траве, подложив под голову руки; глаза его были закрыты; выражение лица спокойное, даже ленивое.

— Город отсюда занятно выглядит. Половина золотая, половина черная, и все дома стоят тесно, как игрушки в битком набитом ящике. Интересно, зачем так тесниться,

если вокруг столько места? У долины за городскими стенами просто конца-края не видно!

— В детстве я сюда часто приходил. Мне тоже нравилось Ракаву отсюда рассматривать... Господи, что за вонючий городишко!

— Ну, отсюда-то он кажется просто прекрасным.

— Нет уж! Красной — вот действительно красивый город.

Он прожил в Красное целый год — лечился в госпитале для ветеранов войны после того, как противопехотная мина ослепила его.

— Значит, ты Красной еще раньше видел? — спросила Лиза, и он, понимая, что она имела в виду, кивнул:

— Да, в семнадцатом году, сразу после того как меня забрали в армию. Мне всегда хотелось туда вернуться. Красной — такой большой, такой живой город, там мертвечинной не разит, не то что у нас.

— Башни сейчас очень красивые отсюда, и Суд, и старая тюрьма... выступают из тени, точно чьи-то пальцы... А чем ты здесь занимался, когда раньше приходил сюда?

— Ничем. Просто бродил повсюду. В этот дом несколько раз залезал.

— И что, в нем действительно сорок комнат?

— Я никогда не считал. Там страшновато было, и все время привидения мерещились. А знаешь, что любопытно? Я всегда раньше считал, что заброшенный дом похож на слепого человека. И эти черные окна, словно пустые глазницы...

Голос его звучал спокойно, и лицо, освещенное ярким красноватым закатным солнцем, тоже было спокойным.

— Скорее всего графиня Луиза все-таки вернется к Лийве, — проговорила мечтательно Лиза.

Санзо рассмеялся. Действительно веселым, довольным смехом. И протянул к Лизе руку. Почувствовав ее пальцы, он притянул девушку к себе, и она легла с ним рядом, положив голову ему на плечо. Густая трава под ними была мягкой, как матрас. Лиза ничего не видела за вздымающейся перед ней грудью Санзо, кроме неба и верхушек каштанов в роще. Они лежали тихо под теплыми лучами заходящего солнца, и, наверное впервые в жизни, Лиза чувствовала себя абсолютно счастливой. Чувствуя обреченность, недолговечность этих мгновений, она не желала упустить из

них ни капли. Однако все нарушил первым именно он. Сел и сказал:

— Солнце, наверное, село, что-то холодно становится.

И они пошли по широким тихим улицам обратно — в свой прежний мир. Улицы снова стали шумными, многолюдными: с фабрик домой возвращались рабочие. Санзо не выпускал Лизиной руки, и она старалась вести его бережно, однако каждый раз когда кто-нибудь все-таки толкал его (на самом деле его толкали не чаще, чем ее), чувствовала свою вину. Он был высоким, шагал широко и абсолютно прямо, нисколько не заботясь о других прохожих, так что Лизе приходилось все время чуточку опережать его, чтобы избежать столкновений. Когда они подходили к своему дому, он уже снова хмурился, а она с трудом переводила дыхание. Они быстренько распрощались у его подъезда, и Лиза еще немного постояла во дворе, глядя ему вслед, когда он двинулся вверх по лестнице той же непоколебимой поступью, что и на улице. Хотя каждый шаг делал в темноте.

— Куда это ты ходила? — спросил низкий мужской голос у нее за спиной. Она так и подскочила от неожиданности.

— Гуляла с Санзо Чекеем, папа.

Касс Бенат, плотный, коренастый, широкоплечий, казавшийся в сумерках особенно крепким и массивным, проговорил задумчиво:

— А я думал, он отлично и сам умеет по улицам ходить.

— Да, верно. — Лиза широко улыбнулась. Отец стоял перед ней, о чем-то серьезно размышляя.

— Ладно, ступай домой, — сказал он наконец и направился к колонке во дворе: умыться.

— Но она же когда-нибудь все равно выйдет замуж.

— Возможно.

— Что значит «возможно»? Ей уже восемнадцать. Есть, конечно, девчонки и покрасивее, да только и она не из худших. Да она теперь в любой день может замуж выскочить.

— Не выскочит. Пока будет с этим Санзо путаться.

— Подвинь-ка подушку, она мне углом прямо в глаз попадает. Что значит «путаться»? Что ты хочешь этим сказать?

— Да я и сама не знаю.

Касс сел в постели.

— Ты к чему это ведешь? — хрипло спросил он.

— Ни к чему. Я-то свою девочку знаю. А вот кое-кто из соседей может тебе ох как много порассказать всякого. И друг другу тоже.

Помолчали.

— А все потому, что я веду себя как дура, — уронила во тьму миссис Бенат. — Господи, да мне это и в голову не приходило! Да и с чего? Он же СЛЕПОЙ!

Снова помолчали. Потом Касс заговорил, в голосе его слышалось напряжение:

— Санзо не виноват. Он парень хороший. И работал хорошо. Не его вина...

— Ну мне-то объяснять не нужно. Такой был хороший высокий красивый мальчик! И серьезный, в точности как ты был когда-то. Пусть это глупо, да только хотелось бы знать, что там Господь задумал...

— Да какая разница! А вот что ты намерена делать?

— С Сарой-то я справлюсь. Она сама мне поможет, уж я ее знаю. У нее терпения никакого. А вот как с девочкой быть... Ведь если с ней еще разок на эту тему поговорить, так она себе такого навообразит!

— Тогда поговори с ним.

На этот раз они молчали куда дольше. Касс уже наполовину заснул, когда его жена вдруг взорвалась:

— Что значит «поговори с ним»?

Касс что-то пробурчал.

— Сам поговори с ним, если это так просто!

— Кончай, старушка. Я устал.

— Тогда я умываю руки! — Она была очень сердита.

Касс протянул руку и шутливо шлепнул ее пониже спины. Она сердито фыркнула, вздохнула, они наконец улеглись, тесно прижавшись друг к другу, и вскоре уснули. А поднявшийся в темноте осенний ветер рыскал по улицам и дворам.

Старый Вольф в своей комнатке без окон слышал, как любопытный ветер посвистывает за стенами дома, пытается проникнуть внутрь. Из соседней комнаты доносился негромкий храп Альбрехта и басовитый — Сары. Потом, услышав какое-то поскрипывание и позвякивание, он встал, отыскал тапочки и старый драный халат и зашаркал на кухню. Там было темно.

— Санзо, это ты?

— Точно.

— Зажги-ка свечу. — Вольф подождал, чувствуя себя в крошечной тьме очень неудобно. Звякнула жестянка, чиркнула спичка, и вокруг крохотного голубоватого язычка пламени снова возник привычный мир.

— Горит?

— Опустит-ка ее пониже. Вот так.

Они сели за стол. Вольф все пытался прикрыть халатом мерзнувшие ноги. Санзо был одет, но рубашка застегнута криво; он выглядел злым и измученным. Перед ним на столе стояли бутылка и стакан. Он налил стакан до краев и подтолкнул его к отцу. Вольф поднял стакан обеими скрюченными руками и стал пить большими глотками, делая смачную паузу перед каждым. Устав ждать, Санзо взял себе другой стакан, наполнил его до половины и залпом выпил.

Осушив свой стакан до дна, Вольф некоторое время смотрел на сына, потом сказал:

— Александр...

— Что?

Вольф сидел, по-прежнему глядя на него, потом встал и снова повторил его имя, которым никто его никогда не называл, кроме матери, которая вот уже пятнадцать лет как умерла.

— Александр...

Он тронул сына за плечо своими неловкими пальцами, постоял возле него минутку и зашаркал прочь, в свою комнату.

Санзо снова налил себе и снова выпил. Он обнаружил, что в одиночку напиться довольно трудно; он никак не мог понять, достаточно ли уже захмелел. Вокруг словно был густой туман, который и не развеивался, и гуще тоже не становился. Пустота. «Пустота — не тьма», — сказал он, указывая пальцем, которого не мог видеть, на кого-то, незримо присутствующего рядом. У этих слов был великий смысл, но Санзо почему-то очень не понравился звук собственного голоса. Он ошупью искал стакан, который вдруг исчез, потом глотнул прямо из бутылки. Туманная пустота осталась точно такой же, как прежде. «Уходи, уходи, уходи, — забормотал он. На этот раз звук собственного голоса был ему приятен. — Тебя все равно нет. Никого из вас нет. Никого здесь нет. А вот я как раз здесь! — Это утверждение его вполне удовлетворило, хотя к горлу неожиданно подкапала тошнота. — Я здесь», — сказал он. Губы не слушались и

дрожали. Он уронил голову на руки, стараясь справиться с дурнотой. Голова так кружилась, что ему показалось, будто он падает со стула, однако никуда он не упал, а мгновенно и крепко уснул. Свеча возле его руки на столе постепенно догорела и погасла; Санзо спал, навалившись на стол, а ветер все свистел за окном, и улицы постепенно светлели с наступлением утра.

— А я и сказала-то только: чего это ты туда зачастила в последнее время?

— Да? Ну и что? — спросила госпожа Бенат спокойно, однако по-настоящему заинтересованно.

— Ой, она сразу завоображала! — возмутилась Ева, вторая дочь Бенатов. Ей было шестнадцать.

— Хм, правда?

— Он ведь даже работать не может, чего ж он тогда нос-то так дерет?

— Он работает.

— Ой, ну какие-то там стулья чинит! А воображает из себя! А теперь и она нос задрала, стоило мне спросить. Как тебе моя прическа? — Ева была очень хорошенькая, в точности как мать в шестнадцать лет. Нарядная, красиво причесанная, она собиралась на прогулку с очередным из многочисленных серьезных худосочных претендентов, добивавшихся ее внимания; чтобы заслужить право ухаживать за Евой, молодым людям требовалось пройти тщательнейший отбор; их оценивали как с точки зрения их собственных задатков, так и сравнивая с предшественниками; отбор Евиных поклонников осуществляли ее родители.

Когда Ева наконец ушла, госпожа Бенат отложила груды нуждавшихся в штопке вещей и заглянула в комнату младших детей. Лиза укачивала свою пятилетнюю сестренку, напевая все ту же песенку о двух оборванцах. От порывов поднявшегося еще прошлой ночью ветра звенели закрытые окна.

— Уснула? Пойдем-ка со мной, Лиза.

Лиза последовала за матерью на кухню.

— Приготовь нам по чашечке шоколада, пожалуйста. Я до смерти устала... Ох уж эта мне теснота! Если бы у нас была еще хоть одна комната, где вы могли бы посидеть со своими дружками! Не нравятся мне ваши прогулки, нехорошо это. Девушка должна быть дома, и ухажеры к ней должны приходиться...

Она умолкла и, пока Лиза не сварила шоколад и не присела рядом с нею, не сказала ни слова. Потом наконец решилась:

— Не хочу я, чтоб ты продолжала к Чекеям ходить, дочка.

Лиза поставила на стол чашку и принялась разглаживать какую-то складочку на юбке. Потом стала теревить конец ремешка, торчавший из-под пряжки.

— Почему же, мама?

— Люди больно много болтают.

— Нужно же им болтать о чем-то.

— Ну, только не о моей дочери!

— Хорошо, а ему можно прийти сюда?

Госпожа Бенат растерялась; она не ожидала такой смелой, почти наглой атаки с фланга, тем более от Лизы. Потрясенная, она выпалила:

— Нет! Неужели ты хочешь сказать, что он за тобой ухаживает?

— Мне кажется, да.

— Он же слепой, Алиция!

— Я знаю, — очень серьезно ответила девушка.

— Он же не может... не может на жизнь заработать!

— У него пенсия — двести пятьдесят.

— Двести пятьдесят?

— Да, двести пятьдесят, больше, чем многие сейчас зарабатывают. Кроме того, работать могу я.

— Надеюсь, ты, Лиза, не собираешься за него замуж?

— Мы еще об этом не говорили.

— Но, Лиза! Разве ты не понимаешь...

В голосе госпожи Бенат послышалось отчаяние. Она умолкла и положила руки на стол — маленькие изящные руки, распухшие от горячей воды и едкого мыла.

— Лиза, послушай меня. Мне уже сорок. Половину своей жизни я прожила в этом городе. Подумай: двадцать лет в этих четырех комнатухах! Я приехала сюда почти твоей ровесницей. Ты ведь знаешь, я родилась в Фораное. Тоже старый городишко, но не такая западня, как Ракава. Твой дед работал на заводе обыкновенным рабочим, но у нас был и свой дом с небольшой гостиной, и свой двор с кустами роз. Перед смертью твоя бабушка — ты этого, конечно, не помнишь — все время спрашивала: когда же наконец мы вернемся домой? Сперва мне здесь очень даже понравилось; я была молода, любила твоего отца, и через год-два мы собирались снова переехать на север. Мы тогда часто

говорили об этом. А потом родились вы. А потом началась война. Во время войны заработки были очень хорошие. Ну а теперь все в прошлом, и нечего ждать, кроме забастовок и урезания зарплаты. И вот я оглянулась на свою жизнь и поняла, что никогда мы отсюда не выберемся, так навсегда здесь и останемся. Знаешь, Лиза, когда я это поняла, то дала обет. Ты скажешь, что я в церкви годами не бываю, и это правда, но тут я пошла в церковь. И дала обет Святой Деве Совенской. Я сказала ей: Богородица Пресвятая, пусть я останусь здесь, я согласна, только дай моим детям возможность уехать отсюда и больше ни слова жалобы от меня не услышишь, только их отпусти! — Госпожа Бенат подняла голову и посмотрела на дочь. Тон ее смягчился. — Ты ведь понимаешь, к чему я это говорю, Лиза? Твой отец — один на тысячу! А чем он может в конце жизни похвастаться? Да ничем. Ничего мы не скопили. Живем в той же квартирке, что и после свадьбы. И место у него все то же. И жалованье. Так здесь со всеми получается, в ловушке этой проклятой! Я уже вдоволь насмотрелась, как мой муж здесь пропадает, неужели теперь смотреть, как пропадает моя дочь? Ни за что! Я хочу, чтобы ты вышла замуж за обеспеченного человека и выбралась отсюда! погоди, дай мне закончить. Если ты выйдешь за Санзо Чекея, вдвоем на его пенсию вы, конечно, сможете перебиться, но что, если дети появятся? В этом городишке сейчас для тебя никакой работы нет. А знаешь, куда ты переедешь после свадьбы? Через двор. Из четырехкомнатной квартиры в трехкомнатную. И будешь жить вместе с Сарой, Альбрехтом и отцом Санзо. И будешь задарма вкалывать в их лавчонке, где кишат крысы. И будешь связана с мужчиной, который в итоге тебя же возненавидит, потому что ничем не сможет тебе помочь. О, Санзо-то я хорошо знаю, он всегда был гордый! И не думай, что мне его не жаль. Но ты моя дочь, и это твоя жизнь, Лиза, и я не хочу, чтобы ты потратила всю свою жизнь зря!

Теперь она говорила громко, но в последний момент голос ее дрогнул. Вся в слезах, Лиза потянулась через стол и крепко сжала руки матери в своих:

— Послушай, мама, я обещаю тебе... если Санзо когда-нибудь заговорит... может быть, он этого никогда и не сделает, я не знаю... но если он все-таки заговорит о том, чтобы нам пожениться, и я к этому времени все еще не

смогу найти работу, чтобы нам хватило денег для переезда в другой город, я скажу ему «нет».

— Неужели ты думаешь, что Санзо позволит тебе одной за двоих работать?

Глаза Лизы опухли от слез, щеки ее были мокры, но говорила она решительно и спокойно:

— Да, он гордый человек, мама, но не дурак.

— Господи, Лиза, неужели ты не можешь найти себе **ЗДОРОВОГО** мужа!

Лиза выпустила руки матери и села прямо. Она не сказала на это ни слова.

— Обещай, что не будешь больше видеться с ним, хорошо?

— Нет. Я не могу. Я уже пообещала тебе все, что могла, мама.

Воцарилось молчание.

— Ты мне ни в чем никогда не перечила, — задумчиво и печально проговорила госпожа Бенат. — Ты всегда была хорошей девочкой, всегда. А теперь ты выросла. И я не могу запирать тебя в доме, как гулящую девку. Касс, может, и сказал бы, что запирать надо, да я сама не могу так поступить с тобой. Так что тебе решать, Лиза. Ты можешь спасти и себя, и его. Или можешь понапрасну потратить целую жизнь.

— Спасти себя? Для чего? — спросила девушка, и в голосе ее не слышалось ни малейшей горечи. — Для меня никогда никого другого и не существовало, кроме него. Даже когда я еще совсем девчонкой была, еще до того как он в армию ушел. Забыть о таком — вот настоящий грех... И еще, может, отчасти грешен тот твой обет, мама.

Госпожа Бенат встала.

— Кто меня за него осудит? — устало сказала она. — Я хочу всего лишь избавить свою дочь от жалкой жизни, а она мне твердит, что это грех.

— Не твой грех, мама. Мой. Я не могу выполнить твои обеты!

— Что ж, пусть тогда Господь простит нас обоих. И его, беднягу, тоже. Я ведь хотела как лучше, Лиза. — И госпожа Бенат, тяжело ступая, пошла к себе в комнату. Лиза осталась сидеть за столом, вертя в руках чайную ложку. Она не чувствовала себя победительницей, хотя впервые в жизни выступила против собственной матери и одержала над ней победу. Она ощущала только усталость; слезы то и дело вновь наворачивались ей на глаза. Этот разговор имел лишь

одно преимущество: она больше никого на свете не боялась. В конце концов она заставила себя встать и пойти в комнату, которую делила с Евой. Там она отыскала карандаш, клочок бумаги и написала Санзо Чекею очень короткое письмо о том, что она его любит. Закончив писать, Лиза тщательно свернула листочек, положила в тяжеловатый старый медальон из позолоченной бронзы, подарок матери, и застегнула на шее цепочку. Потом легла в постель и долго лежала, прислушиваясь к бесконечному бесцельному вою ветра.

У Сары Чекей, как справедливо отметила госпожа Бенат, терпения не было ни на грош. В тот же вечер она спросила своего племянника, пока Вольф и Альбрехт торчали в пивной:

— Санзо, а ты никогда не думал о женитьбе? Да не строй ты такую рожу. Я серьезно. Я уже давно об этом думаю и скажу тебе почему. Неплохо бы тебе увидеть лицо Лизы Бенат, когда она на тебя смотрит. Вот почему я о твоей женитьбе задумалась.

Он повернулся к Саре и холодно спросил:

— А тебе какое дело до того, как она на меня смотрит?

— Глаза-то у меня есть! Трудно не заметить, что у тебя под носом творится! — Тут она даже дыхание затаила, но Санзо только засмеялся своим тревожным смехом.

— Ну что ж, давай смотри, — сказал он. — Только не вздумай мне об этом говорить.

— Послушай, Санзо Чекей, вот ты стоишь, гордо нос задравши, и притворяешься, будто тебе все на свете безразлично, а к тому, что я тебе говорю, даже прислушаться не желаешь, хотя, может, стоило бы. Ты думаешь, я с твоей женитьбы какую-нибудь выгоду буду иметь? Я просто думала о тебе и случайно заметила...

— Все, хватит, — сказал он. Но голос у него зазвенел и сорвался, что придало Саре сил, и она обрушила на него град оправданий и обвинений.

— Довольно, — прервал ее Санзо. — Больше я с этой девушкой никогда встречаться не буду. — Поскольку деваться от Сары было некуда, он выбежал из квартиры, яростно хлопнув дверью, ссыпался по лестнице и только на улице остановился, обнаружив, что не взял ни палку, ни куртку и даже денег у него нет. Значит, Лиза решила заполнить его?

И Сара ей помогала? Они вместе строили свои гнусные планы, а он в их сети попался!.. Когда ужасное напряжение, плод унижения и бессильной ярости, начало спадать, Санзо совсем заблудился и понятия не имел, в каком направлении движется и далеко ли ушел от дома. Свое местонахождение он определил не сразу. Люди проходили мимо, занятые своими делами и разговорами, и не обращали на него никакого внимания, а может, считали, что он пьян. В конце концов он все-таки отыскал свой дом и подъезд, поднялся в квартиру, вытащил десять кронеров из отцовского бумажника и снова ринулся вниз, не взглянув на негодующую Сару, с грохотом захлопнув за собой дверь.

Он вернулся домой наутро, часов в десять, рухнул на свой диван в гостиной и проспал весь день. Было воскресенье, и дядя Альбрехт, которому пришлось неоднократно проходить мимо распростертой на диване фигуры племянника, в конце концов заявил Саре:

— С какой это стати парень снова напился? Вольф говорит, чтоб ты отобрала у него все деньги. Он так за все лето ни разу не напивался. Только сразу после госпиталя по черному пил.

— Вот именно! Он только и способен — пропивать деньги, на которые они с отцом живут.

Альбрехт поскреб в затылке и ответил как всегда медленно и невпопад:

— Похоже, такая жизнь для двадцатипятилетнего парня — сущий ад.

На следующий день в четыре к ним пришла Лиза. Санзо предложил ей погулять, и они отправились на Холм, в сады. Стоял октябрь, небо было пасмурным, тучи готовы разразиться дождем. По дороге на Холм ни один не проронил ни слова. Они уселись на траву под стеной пустующего дома. Лиза зябко ежилась, глядя на серый город, на тысячи его улиц, на огромные здания фабрик. Солнца не было, над садом нависала зловещая темная тень каштановой роши. Где-то далеко, на противоположном конце города раздался свисток поезда.

— Ну и как сегодня выглядит Ракава?

— Вся какая-то черно-серая.

Лиза заметила, что не говорит, а как-то по-детски лепечет. Однако он явно не совершал над собой насилия, задавая ей этот вопрос. Это хорошо, у нее даже чуточку на душе полегчало. Если б только они смогли разговаривать и даль-

ше! Или если б он захотел коснуться ее, почувствовать, что она с ним рядом! Тогда все сразу встало бы на свои места. И он действительно вскоре потянулся к ней, и она с готовностью прильнула к нему, положила голову ему на плечо, но чувствовала в нем какое-то странное напряжение, он словно хотел сказать ей что-то важное, и она уже собралась спросить, что именно он хочет ей сказать, когда одной рукой он приподнял ее лицо и поцеловал. Поцелуй становился все более требовательным. Санзо резко повернулся и всей тяжестью навалился на нее, голова ее откинулась назад, его губы скользнули по ее шее, по груди... Она попыталась заговорить с ним, но не смогла, попыталась оттолкнуть его и тоже не сумела. Он буквально вдавил ее в землю, за его плечами даже небо исчезло. В животе у нее свернулся тугой узел, она уже ничего не видела, однако ей удалось выдохнуть слабым, еле слышным шепотом:

— Пусти.

Он не обратил на это ни малейшего внимания, только еще сильнее вдавил ее в жесткую мертвую траву, в темную землю — вдавил с такой силой, что она почувствовала дурноту, словно уже умирала. Однако, когда он одной рукой грубо попытался раздвинуть ей ноги и причинил резкую боль, она снова принялась яростно вырываться и билась у него в руках, точно пойманный зверек. С трудом ей удалось высвободить одну руку и оттолкнуть его голову, потом каким-то конвульсивным движением она вывернулась из-под него, встала на четвереньки, потом, пошатываясь, поднялась на ноги и бросилась бежать.

Санзо так и остался лежать, зарывшись лицом в траву.

Когда она вернулась и подошла к нему, он по-прежнему лежал неподвижно. Слезы, которые ей сперва удавалось сдерживать, потекли у нее по щекам, и она, остановившись возле него, мягко сказала:

— Ну же, Санзо, вставай!

Он не пошевелился.

— Ну же!

Через несколько минут он перевернулся на спину, потом сел. Его побелевшее лицо было все исчеркано красными царапинами — следами жесткой сухой травы. А глаза, когда он открыл их, смотрели куда-то в сторону, словно внимательно разглядывали каштаны в роще.

— Пойдем домой, Санзо, а? — прошептала она, глядя на это ужасное бледное лицо. Он поджал губы и зло сказал:

— Убирайся. Оставь меня в покое.

— Я хочу домой.

— Вот и ступай! Давай, давай, ты что, думаешь, я очень в тебе нуждаюсь? А ну быстро убирайся отсюда! — Он попытался оттолкнуть Лизу, но лишь слегка задел ее колено. Она вышла из сада и стала ждать у обочины дороги. Когда он проходил мимо, она даже дыхание затаила и решилась последовать за ним, только когда он отошел достаточно далеко. Она старалась ступать как можно тише. Пошел дождь, тонкие водяные нити падали с низкого затихшего неба почти отвесно.

Палки у Санзо с собой не было. Сперва он шел вперед весьма отважно — так он ходил, когда рядом с ним шла она. Потом начал постепенно замедлять ход, явно чувствуя себя неуверенно. Какое-то время он еще мог идти довольно быстро, она даже слышала, как он сквозь зубы насвистывает эту свою песенку. Но стоило ему спуститься с Холма, где на куда более шумных улицах он не мог ориентироваться по эху, он начал колебаться, выбирая направление, утратил ориентиры и в конце концов свернул не туда. Лиза шла теперь за ним почти след в след. Люди удивленно смотривали на них обоих. Наконец Санзо резко остановился, и она услышала, как он спросил как бы в пустоту:

— Это улица Баргей?

Какой-то мужчина, шедший ему навстречу, внимательно посмотрел на него и ответил:

— Нет, вы не там свернули. — Он взял Санзо за руку и отвел на перекресток, объяснив, в какую сторону ему следует идти и где свернуть, а потом стал спрашивать, слепой ли он, авария ли это на производстве, или же это с войны. Потом Санзо двинулся дальше, но, не пройдя и квартала, снова остановился и долго стоял. Лиза наконец догнала его и молча взяла за руку. Он дышал тяжело, точно измученный бегун.

— Лиза?

— Да, я. Пошли.

Но сначала он даже с места двинуться не мог, не мог сделать ни шагу.

А потом они медленно пошли дальше; дождь все усиливался. Когда они добрались до своего дома, он протянул руку, нащупал кирпичную стену у своего подъезда и, явно почувствовав облегчение, повернулся к Лизе и сказал:

— Больше не приходи.

— Спокойной ночи, Санзо, — сказала она в ответ.

— Видишь ли, все это ни к чему, — сказал он и тут же стал подниматься по лестнице. Лиза тоже пошла домой.

В течение нескольких дней он уходил в мебельный магазин днем и торчал там до позднего вечера, возвращаясь домой только к ужину. Переделав всю работу в мастерской, он стал после обеда ходить в парк и продолжал эти прогулки, пока не задули зимние восточные ветры, принесшие дожди, ледяную крупу, мелкий, влажный грязноватый снежок. Когда приходилось весь день проводить в квартире, его постепенно охватывало такое нервное напряжение, что начинали дрожать руки и он часто не мог на ощупь найти нужный предмет, порой не мог даже сказать, что именно держит в руках и держит ли вообще что-нибудь. Эта душевная маята вынуждала его все больше и больше времени проводить на улице, и в итоге он явился домой с кашлем и головной болью. Лихорадка трясла его неделю, приступы кашля становились все сильнее, и теперь температура подскакивала каждый раз, когда он пытался выйти из дому.

Поглупев от слабости и болезни, он почувствовал, что на душе стало легче. Зато для Сары наступили тяжелые времена. Теперь она должна была готовить для племянника и Вольфа завтрак, платить за дорогие патентованные лекарства от головной боли, порой мучила Санзо до слез, а ночью ей не давал спать его кашель. Она привыкла к тяжелой работе и всегда могла как-то излить свое недовольство в придирах и жалобах; но на этот раз хуже всего была не дополнительная нагрузка — Сару безумно раздражало постоянное присутствие Санзо в доме, его напряженное мучительное состояние, его меланхоличность, его слепота, его безделье, его молчание. Это настолько выводило ее из себя, что по дороге в магазин она начинала орать на бедного Альбрехта, выкрикивая:

— Я не могу больше! Не могу оставаться с ним в одном доме!

Единственным человеком, которому удалось спастись от тяжелой зимы, оказался старый Вольф. За несколько дней до Рождества он отправился в пивную с десятью кронерами, которые ему ежемесячно выдавала Сара из его же собственной пенсии, вернулся оттуда с бутылкой и стал подниматься по лестнице; он одолел три пролета, четвертый не

смог. Сердечная недостаточность свалила его прямо на лестничной площадке, где его и нашли часом позже. В гробу он выглядел более крупным мужчиной, чем при жизни, а его темное мертвое лицо, напряженное, невидящее, было удивительно похоже на лицо сына. На похороны пришли все старые друзья и соседи Вольфа; ради этих похорон Чекеи залезли в долги. Были там и Бенаты, но голоса Лизы Санзо не слышал.

Санзо перебрался из гостиной в комнатку без окон, где прежде обитал его отец, и жизнь покатилась дальше, только Саре теперь стало чуточку полегче.

В январе один из Евиных поклонников, красильщик с фабрики Фермана, видимо, совершенно обескураженный бесконечным сражением с другими претендентами, стал поглядывать по сторонам и заметил Лизу. Если она и взглянула на него когда-нибудь, то совершенно равнодушно; однако, когда он пригласил ее погулять, она согласилась. Лиза оставалась по-прежнему спокойной, сговорчивой, она ничуть не переменялась, разве что с матерью они стали куда ближе, разговаривали друг с другом как ровня и работали вместе тоже на равных. Мать, разумеется, не раз видела этого молодого человека, но Лизе ничего не сказала. Лиза тоже помалкивала, лишь порой как бы невзначай общалась: «Сегодня после ужина пойду погуляю с Дживаном».

Однажды ночью ветер, дувший с промерзших насквозь восточных равнин, наконец улегся и с юга подул теплый влажный ветер, принесший сильный дождь. А утром между камнями во дворе всюду полезла трава, с шумом забили городские фонтаны, на улицах звонко разносились людские голоса, по небу плыли небольшие голубоватые облачка. В ту ночь Лиза и Дживан шли по излюбленному маршруту местных влюбленных — через Восточные Ворота за городскую стену, к развалинам сторожевой башни; там, на холодном ветру, при свете звезд он попросил ее стать его женой. Лиза смотрела на темные склоны огромного Холма, на дальние равнины, на огни города, полускрытого разрушенной крепостной стеной. Ей потребовалось очень много времени, чтобы ответить.

— Я не могу, — сказала она.

— Почему же нет, Лиза?

Она покачала головой.

— Ты, наверное, была влюблена в кого-то, и он уехал, или оказался уже женатым, или что-то вроде того? Я понимаю. Я так и знал, что нечто подобное у тебя уже случилось.

— Тогда почему ты просишь моей руки? — с мукой в голосе спросила она. Он ответил ей прямо:

— Потому что все это у тебя в прошлом; теперь настала моя очередь.

Она была потрясена таким ответом, и он, почувствовав это, предложил ей неожиданно смущенно:

— Подумай.

— Хорошо. Но...

— Просто подумай, и все. Подумать всегда хорошо, Лиза. Я как раз тот, кто тебе нужен. И я не люблю менять свои решения и отступать.

Тут Лиза даже слегка улыбнулась, вспомнив его ухаживания за Евой. А впрочем, решила она, он ведь действительно говорит правду. Он парень застенчивый, но упорный. А что, если я за него выйду? — подумала Лиза и тут же почувствовала, что заражается его смущением, одновременно ощущая его поддержку, заботу, надежность.

— Знаешь, не стоит сейчас спрашивать меня об этом, — сказала она, чуть сердясь, так что он больше ни на чем не настаивал, а только попросил ее, когда они прощались у подъезда, еще раз подумать. Она обещала непременно сделать это. И думала действительно много.

С того дня в заброшенном саду на Холме прошло уже долгих пять месяцев, но она все еще просыпалась ночью от одного и того же страшного сна: колючая сухая осенняя трава колет спину, а она не может ни шевельнуться, ни сказать что-нибудь и ничего не видит. А потом ей казалось, что она очнулась ото сна, но почему-то видит только небо и дождь, падающий с неба прямо на нее. Вот о чем она должна была подумать как следует, только об этом.

Теперь, когда наступили солнечные деньки, она видела Санзо чаще. Она всегда первой заговаривала с ним. Чаще всего он сидел во дворе у колонки, как раньше его отец. Когда она приходила за водой для стирки, то обязательно здоровалась с ним:

— Добрый день, Санзо.

— Это ты, Лиза?

Его бледная кожа казалась неживой, а кисти рук — чересчур большими и тяжелыми на исхудавших запястьях.

Однажды, в начале апреля, она гладила белье в подвале, который ее мать снимала под прачечную. Свет проникал сюда через маленькие окошки, находившиеся высоко, под самым потолком, на уровне земли; было видно, как редкие, освещенные солнцем травинки шевелятся на ветру прямо за грязными оконными стеклами. Солнечный лучик наискось упал на рубашку, которую она гладила, и над тканью поднялся пар, сильно пахнувший озоном. Лиза запела:

Два нищих оборванца из дому вышли.

— Эй, братец, дай-ка мне поесть, —

Сказал один нищий.

— Ступай-ка к булочнику в дом,

Дать ключ вели ему,

Скажи, что я тебя послал,

Что спорить ни к чему!

Пришлось сбежать за водой: сбрызгивать белье было нечем. После полутемного подвала на ярком солнце у Лизы перед глазами вспыхнули и закрутились черные и золотые колеса. Все еще напевая вполголоса, она пошла к колонке.

Санзо тоже как раз вышел на улицу.

— Доброе утро, Лиза.

— Доброе утро, Санзо.

Он присел на скамейку, вытянул свои длинные ноги и подставил солнцу лицо. Она молча стояла у колонки и очень внимательно, оценивающе смотрела на него.

— Ты все еще здесь?

— Да, я здесь.

— Я тебя больше совсем не встречаю.

Она ничего не ответила. Просто села с ним рядом, аккуратно поставив кувшин с водой под скамейку.

— Тебе как в последнее время, лучше?

— Да вроде.

— Спасибо солнышку! Теперь всем нам кажется, что можно забыть старые беды и начать новую жизнь. Весна пришла, настоящая весна! Понюхай-ка. — Она сорвала маленький белый цветочек, выросший меж каменных плит у колонки, и сунула ему в руку. — Да нет, он слишком маленький, чтобы его ошупывать! Ты его просто понюхай. Замечательно пахнет, в точности сдобные булочки.

Он уронил цветочек и наклонился, словно пытаясь увидеть, куда он упал.

— Чем ты в последнее время занималась? Помимо работы в прачечной?

— Ой, даже и не знаю. Через месяц наша Ева замуж выходит. За Венце Эстая. Они собираются переезжать на север, в Браилаву. Он каменщик, а там есть работа.

— Ну а сама-то ты как?

— Ну а я здесь остаюсь, — сказала она. Потом, уловив в его тоне мертвящую холодную снисходительность, прибавила: — Я помолвлена.

— С кем?

— С Дживаном Фенне.

— Чем он занимается?

— Он красильщик у Фермана. Секретарь местной секции профсоюзов.

Санзо встал, быстро прошелся по двору до арки ворот и обратно, потом как-то неуверенно снова подошел к Лизе. Он остановился в двух шагах от нее, бессильно повесив руки и чуть отвернув в сторону лицо.

— Что ж, хорошо. Поздравляю! — сказал он и повернулся, чтобы уйти.

— Санзо!

Он остановился, ожидая.

— Останься еще на минутку.

— Зачем?

— Потому что я так хочу.

Он стоял совершенно неподвижно.

— Я хотела сказать тебе... — Но слова застряли у нее в горле.

Он снова сел рядом с ней на скамью.

— Послушай, Лиза, — холодно сказал он, — теперь это уже совершенно не имеет значения.

— Нет, имеет, очень даже имеет! Я хотела сказать, что ни с кем я не помолвлена. Он просил моей руки, но я еще не дала согласия.

Санзо слушал, но на лице его ничто не отражалось.

— Зачем же ты сказала, что помолвлена?

— Не знаю. Чтобы тебя позлить.

— И что дальше?

— И все, — сказала Лиза. — А дальше я хотела сказать тебе, что даже если ты слеп, то это вовсе не значит, что нужно тут же оглохнуть, онеметь и страшно поглупеть. Я знаю, ты сильно болел, мне очень тебя жаль, но ты,

конечно же, заболеешь еще сильнее, если это я была причиной твоей болезни.

Санзо так и застыл.

— Какого черта? — воскликнул он чуть погодя. Однако Лиза ему не ответила. Прошло довольно много времени, прежде чем он наконец повернулся, пытаясь на ощупь определить, здесь ли она. Руки его повисли в воздухе в незавершенном жесте, когда он нервно спросил: — Лиза, ты здесь?

— Здесь, рядом с тобой.

— Я думал, ты ушла.

— Я еще не все сказала.

— Что ж, продолжай. Никто тебе не мешает.

— Ты мешаешь.

Воцарилось молчание.

— Послушай, Лиза, я должен помешать тебе! Неужели ты не понимаешь?

— Нет, не понимаю. Санзо, дай мне объяснить...

— Нет. Не объясняй. Я ведь не каменный, Лиза.

Какое-то время они молча сидели рядышком, греясь на солнце.

— Ты лучше выходи за этого парня.

— Не могу.

— Не глупи.

— Никак у меня не получается за него выйти: все время ты на пути попадаешься.

Он отвернулся. Напряженным, задушенным голосом сказал:

— Я давно хотел перед тобой извиниться... — Он как-то неопределенно махнул рукой.

— Не надо! Не извиняйся.

Снова воцарилось молчание. Санзо выпрямился и потер руками глаза и лоб, точно они у него болели.

— Слушай, Лиза, весь этот разговор ни к чему. Честно. Есть еще ведь и твои родители, они-то что скажут? Впрочем, дело даже не в этом... Самое главное — то, что я живу с дядей и теткой и не могу... Мужчина должен иметь возможность что-то предложить...

— Не скромничай.

— Я и не скромничаю. Никогда этим не страдал. Я прекрасно понимаю, что представляю из себя, но это... это никакого значения не имеет — для меня. То есть, может быть, и имеет, но для кого-то другого...

— Я хочу выйти за тебя замуж, — сказала Лиза. — А ты, если хочешь на мне жениться, так женись! А если не хочешь, не надо. Тут я ничего не могу одна сделать. Но ты хотя бы помни: меня все это тоже касается!

— Так я только о тебе все время и думаю!

— Нет, неправда. Ты думаешь о себе, о том, что ты слепой, и все такое прочее. Позволь мне думать об этом и не думай, что мне это безразлично.

— Я думал о тебе. Всю зиму. Все время. Это... это никуда не годится, Лиза.

— Да, здесь — не годится.

— А где же еще? Где мы годимся? В том доме на Холме? Можем разделить его — по двадцать комнат на брата...

— Санзо, мне нужно закончить глажку, белье должно быть готово к обеду. Если мы что-то решим, то уж обсудить это со всех сторон как-нибудь сумеем. Я бы, например, хотела раз и навсегда убраться подальше от Ракавы.

— Вот как? — Он колебался. — А ты придешь сегодня после обеда?

— Хорошо.

Она ушла, покачивая кувшином. Спустившись в подвал, она остановилась у гладильной доски и вдруг разрыдалась. Она не плакала уже несколько месяцев; ей казалось, что она стала слишком взрослой, чтобы плакать, что теперь она никогда больше плакать не будет. Однако плакала, сама не зная почему; слезы бежали по щекам, точно река, освободившаяся от пут зимнего льда. Лиза не испытывала при этом ни радости, ни горя и, так и не перестав плакать, вновь принялась за работу.

В четыре она собралась было подняться в квартиру Чекеев, но Санзо подждал ее во дворе. Они отправились на Холм, в заброшенный сад, и уселись на той же лужайке в тени каштанов. Молодая трава была еще редкой и нежной. В темно-зеленой гуще листвы кое-где желтовато-белыми свечами светились первые цветы. Над городом, в теплом голубом мареве кружили голуби.

— Там, возле дома, полно роз. Как ты думаешь, они не будут против, если я сорву несколько штук?

— Они? Кто это «они»?

— Вот и отлично. Я сейчас вернусь.

И принесла целый букет мелких колючих красных роз. Санзо лежал на спине, подложив руки под голову. Лиза

села на землю с ним рядом. Мощный теплый ветер апреля дул со стороны заката.

— Слушай, — сказал Санзо, — а мы ведь тогда так ни о чем и не договорились, верно?

— Не знаю. Наверное, нет.

— Когда это ты стала такой?

— Какой «такой»?

— Ох, все ты прекрасно понимаешь! Ты раньше всегда была другой. — Он был совершенно спокоен, позволил себе расслабиться, и голос его звучал тепло и как-то по-детски, чуточку картаво. — Ты раньше вечно молчала... А знаешь что?

— Что?

— Мы ведь так и не дочитали до конца эту книгу.

Он зевнул и повернулся на бок, лицом к ней. Она накрыла рукой его пальцы.

— Когда ты была девочкой, ты все время улыбалась. А теперь?

— Не улыбаюсь с тех пор, как тебя встретила, — сказала она, улыбаясь.

Ее рука лежала на его пальцах совершенно спокойно.

— Послушай. У меня пенсия по потере трудоспособности — двести пятьдесят. На эти деньги вполне можно выбраться из Ракавы. Ты ведь хочешь уехать?

— Да, хочу.

— Хорошо, тогда у нас есть Красной. Там, кажется, не так скверно с работой, как здесь, и потом там жилье должно быть дешевле — это ведь большой город.

— Я тоже об этом думала. Там, наверное, разная работа найдется, не только на ткацких фабриках, как здесь. Я бы что-нибудь смогла подобрать себе.

— Я бы тоже. Наверное, и там можно плетеную мебель делать, если найдутся люди с деньгами, которым такая мебель по вкусу. А еще я мог бы мебель чинить. Я этим всю прошлую осень и здесь занимался. — Он словно прислушивался к собственным словам. Потом вдруг рассмеялся своим странным смехом, и лицо его совершенно переменилось. — Послушай, — сказал он, — и все-таки это никуда не годится! Ты что же, за руку меня в Красной поведешь? Нет, забудем об этом. Тебе-то и правда нужно уехать отсюда, причем поскорее и навсегда. Так что выходи замуж за этого парня и уезжай. Ну подумай ты головой, Лиза!

Он давно уже не лежал, а сидел, обхватив колени руками и отвернувшись от нее.

— Ты говоришь так, словно мы с тобой два нищих оборванца, — сказала она. — Словно нам нечего дать друг другу, словно нам некуда пойти!..

— Вот именно. В этом-то все и дело. Нечего дать и некуда пойти. Мне, например, нечего дать тебе. Неужели ты думаешь, что, если мы уедем отсюда, что-нибудь в этом отношении изменится? Неужели ты думаешь, что там я стану другим человеком? Неужели ты думаешь, что стоит мне завернуть за угол, и?.. — Он пытался шутить, но в словах его слышалась мука. Лиза стиснула пальцы.

— Нет, я, конечно, ничего такого не думаю, — сказала она. — И не вторь, пожалуйста, всем вокруг. Это они так считают. Говорят, что мы не можем уехать из Ракавы, что нам суждено остаться тут навечно, что я не могу выйти замуж за Санзо Чекея, раз он слепой, что мы не сумеем ничего добиться, раз у нас нет денег... Да, это правда, сущая правда. Но это еще далеко не все! Разве это справедливо, что хотя ты и нищий, но попрошайничать не должен? А что же еще тебе делать? И если тебе все-таки достался кусок хлеба, то неужели ты его выбросишь? Знаешь, Санзо, если бы ты чувствовал так, как я, ты взял бы то, что тебе дают, и уже не выпустил бы из рук!

— Лиза, — сказал он, — о Господи, да я же не хочу выпускать это из рук!.. Ничего другого мне... — Он потянулся к ней, и она бросилась ему на шею; они сжали друг друга в объятиях. Он хотел было что-то сказать, но долгое время не мог вымолвить ни слова. — Ты знаешь, что я хочу тебя, что ты нужна мне, что больше для меня ничего на свете не существует, что больше у меня ничего и нет... — Он заикался, и она, отталкивая его, отвергая эту его нужду в ней, твердила: «Нет, нет, нет, нет», но сама все сильнее прижималась к нему. И даже сейчас сил у нее оказалось все-таки значительно меньше, чем у него. Через некоторое время он сам отпустил ее, взял ее руку, легонько погладил и сказал довольно спокойно: — Послушай, Лиза, я действительно... ты же знаешь! Только шансов у нас очень мало, Лиза.

— У нас их никогда не будет слишком много.

— Тебе-то удача вполне могла бы улыбнуться.

— Ты — моя удача, и пусть шансов у нас очень мало, — сказала она с легкой горечью и одновременно с глубокой верой.

Какое-то время он не знал, как ей ответить. Потом глубоко вздохнул и очень нежно сказал:

— То, что ты говорила насчет нищих... В госпитале, где я лежал два года назад, был один врач, и он тоже говорил что-то в этом роде, он все спрашивал меня: чего ты боишься, ты же, можно сказать, с того света вернулся? Так что же тебе терять?

— Я-то знаю, что мне терять, — сказала Лиза. — И ничего терять не собираюсь.

— А я знаю, что могу выиграть, — сказал он. — Вот это и пугает меня больше всего. — Он поднял голову; казалось, он вглядывается в раскинувшийся перед ними город. У него было жесткое и напряженное лицо сильного мужчины, и Лиза, взглянув на него, была потрясена; она даже зажмурилась. Она понимала, что все это — она, что это ее воля, ее присутствие сделали его таким свободным и сильным; но в эту свободу она должна будет войти с ним вместе, а она там никогда прежде не бывала. Там все было для нее темно, и она прошептала:

— Да, меня это тоже пугает.

— Что ж, придется держаться, — сказал он, обнимая ее за плечи. — Если ты сможешь держаться, то и я, конечно, смогу.

Они еще посидели немного, почти не разговаривая и глядя, как солнце постепенно тонет в апрельском тумане за дальней равниной, а на башнях и в окнах города вспыхивают в сумерках желтые огни. Когда солнце скрылось совсем, они вместе пошли вниз, в город, из своего молчаливого сада, где прекрасный заброшенный дом глядел на них пустыми глазницами окон, и окунулись в дым, шум и суету тысячи улиц, которые уже окутывала своим покрывалом ночь.

ДОРОГА НА ВОСТОК

Нет зла в этом мире, — шепнула госпожа Эрей кусту герани, росшему в ящике на окне; сын, услышав ее слова, тут же вспомнил о гусеницах, об озимой совке, о мучнистой росе, о всяких насекомых-паразитах; но мягкий солнечный свет играл на округлых зеленых листочках, на красных цветах, на седых волосах матери, и госпожа Эрей улыбалась, стоя у окна. Широкие рукава, соскользнув, до плеч обнажили ее поднятые руки — она казалась сейчас жрицей солнца. — Каждый цветок — тому доказательство. Я рада, что ты любишь цветы, Малер.

— Я гораздо больше люблю деревья, — сказал он, чувствуя себя усталым и раздраженным до предела. «До предела» было его любимым словом; он все время думал о себе именно так — он на пределе, на самом краю, на острой кромке; ему совершенно необходим отпуск.

— Но ведь ты бы не смог принести мне на день рождения, например, дуб! — Она засмеялась и обернулась к целому снопу великолепных октябрьских астр, которые ей принес сын, и он тоже улыбнулся, устало и как-то безжизненно развалившись в кресле. — Эх ты, бедный старый гриб! — ласково упрекнула его мать. Будучи мужчиной крупным, бледным и тяжеловесным, он терпеть не мог этого прозвища, чувствуя, что оно очень к нему подходит. — Да сядь ты прямее, улыбнись! Посмотри, какой славный денек, какие прекрасные цветы, и столько солнца в мой день рождения! Как можно не хотеть просто наслаждаться этим миром!

Спасибо тебе за цветы, дорогой. — Она поцеловала его в лоб и, двигаясь как всегда энергично, вернулась к цветам на подоконнике.

— Иренталь исчез, — сказал Малер.

— Исчез?

— Еще на прошлой неделе. И за целую неделю никто даже имени его не упомянул.

Это была лобовая атака: Иренталья она знала; Иренталь когда-то сиживал у нее за столом; это был застенчивый, стремительный, курчавый человек; за обедом он еще попросил вторую порцию супа; имя такого человека нельзя было просто отместить, как любое другое, совершенно лишнее для нее и смысла, и содержания.

— И ты не знаешь, что с ним произошло?

— Конечно, знаю.

Она провела пальцем по краешку листка герани и сказала тихонько, точно разговаривая с цветком:

— Ну, наверное, не совсем.

— Действительно, я не знаю наверняка, застрелили его или просто упрятали за решетку, если ты это имеешь в виду.

— Ты не должен говорить с такой горечью, Малер, — сказала она. — Мы ведь действительно толком не знаем, что с ним случилось. С ним, со всеми, кто исчезает, пропадает, кто теперь для нас утрачен. Мы ведь вообще знаем очень мало, ужасно мало. И все-таки мы знаем достаточно! Солнце светит нам и омывает всех нас своими лучами, солнце не разделяет людей на правых и виноватых, в его тепле нет горечи. По крайней мере это-то нам известно. И это великий урок всем нам. Жизнь — это дар, чудесный дар! И в ней нет места для горечи и ожесточения. Нет места. — Обращаясь к небесам, она и не заметила, как он встал.

— В ней есть место всему. Даже слишком много места. Иренталь был моим другом. Неужели и его... смерть — тоже чудесный дар? — Но он торопился и произнес эти слова невнятно, и она вовсе не обязательно должна была их слышать. Он снова сел, дожидаясь, пока мать закончит приготовления к ужину и накроет на стол. Ему хотелось спросить: «А что, если бы вместо Иренталья арестовали меня?», но он так и не спросил. Она не может понять, думал он, потому что живет внутри себя и всегда только выглядывает из окошка, но двери никогда никому не открывает и никогда

не выходит наружу... Тоска по Иренталю и слезы, которые он не умел выплакать, снова сдавили ему горло, но мысли уже ускользали прочь, на восток, на ту дорогу. Там воспоминания об исчезнувшем друге все еще были с ним, он представлял себе его боль, понимал, что такое горе, но и боль, и горе, и воспоминания как бы шли с ним рядом, а не были заперты в его душе. По этой дороге он мог идти под бременем печали, как под дождем.

Восточная дорога вела от Красной через фермерские поля, мимо деревень в один город с серыми крепостными стенами, над которым высилась похожая на сторожевую башню старинная церковь. И деревни, и этот город, разумеется, были нанесены на карты, к тому же он однажды видел их собственными глазами — из окна поезда; они назывались Раскофью, Ранне, Маленне, Сорг. Все это были реально существующие места, и находились они не более чем в пятидесяти милях от столицы. Но в мыслях своих он всегда добирался до них пешком и оказывался, видимо, где-то в начале прошлого столетия, потому что на дороге не было ни машин, ни железнодорожных переездов. Это была обыкновенная проселочная дорога, и он шел по ней то при свете солнца, то под дождем, направляясь в Сорг и надеясь до вечера непременно добраться туда и отдохнуть. Он, конечно же, пошел бы в гостиницу на той улице, что ведет прямо к пузатому, напоминающему шестиугольную сторожевую башню собору. Предвкушать отдых было приятно. Он никогда не останавливался в этой гостинице, хотя один или два раза заходил в город и даже стоял у церковного портала — округлой арки из резного камня. А в остальное время он только шел и шел по дороге, то сияло солнце, то было пасмурно, и всегда у него за плечами был груз, причем каждый раз разный — то легче, то тяжелее. В тот ясный осенний день он зашел, кажется, слишком далеко, потому что шел до самой темноты; стало холодно, туман окутал мрачные опустевшие поля. Он понятия не имел, сколько еще осталось до Сорга, но был голоден и очень устал. Он присел на обочине дороги под деревьями и немного отдохнул. Спускалась тихая ночь. Он спустил с усталых плеч лямки заплечного мешка и сидел, ощущая покой в душе — он замерз, его снедала печаль, он ясно понимал все, что делается вокруг, но на душе у него все же было покойно. А вокруг клубился туман и сгущалась тьма.

— Ужин готов! — радостно возвестила мать. Он тут же встал и присоединился к ней за столом.

На следующий день он встретил эту цыганку. Трамвай перевез его на восточный берег реки, и он стоял, собираясь перейти через трамвайные рельсы, а ветер нес пыль по длинной улице, освещенной лучами заходящего солнца. Она остановилась с ним рядом и спросила:

— Не скажете, как мне пройти на улицу Гейле?

У нее был выговор не горожанки. По бледным щекам разметаны ветром пряди жестких и прямых черных волос. Лицо тонкое и худое, кожа да кости.

— Я как раз сам туда иду, — помолчав, сказал Малер и двинулся через улицу, не глядя, идет ли она за ним. Она шла.

— Я никогда раньше в Красное не бывала, — сказала она.

Она приехала сюда издалека, ее родиной были исхлестанные ветром равнины, окаймленные высокими горами, которые, растворяясь в темноте, казались совсем близкими; равнины эти заросли дикими травами, и среди них то тут то там поднимался к небу дымок костра, клочьями разлетающийся на ветру, и у костра пела женщина на своем странном языке, и мелодия песни улетала в простор синих замерзших сумерек.

— А я всю жизнь в Красное прожил, никогда в других городах не бывал, — откликнулся он и взглянул на нее. Она была примерно его лет, в дрянном ярком платypiшке, держалась очень прямо и спокойно. — Вам какой номер нужен? — спросил он, потому что они уже свернули на улицу Гейле, и она ответила:

— Тридцать три. — Это был номер его дома. Они прошли рядом по тротуару, в свете вспыхнувших фонарей, Малер и эта хрупкая изящная цыганка. Они были чужие друг другу, но домой шли вместе.

— Я тоже в этом доме живу, — доставая ключ, пояснил он. Хотя вряд ли этим можно было что-то объяснить.

— Я, пожалуй, лучше позвоню, — сказала она. — Здесь живет одна моя подруга, но она меня не ждет. — И она принялась разыскивать нужную фамилию на почтовых ящиках. Так что впустить ее он не мог. Но все-таки обернулся, уже открыв дверь, и спросил:

— Простите, а вы откуда?

Она посмотрела на него с легкой удивленной усмешкой и ответила:

— Из Сорга.

Мать была на кухне. Цветущий куст герани пламенел на подоконнике, астры уже увядали. На пределе, на самом пределе. Он сел в то же кресло, прикрыл глаза, прислушиваясь к шагам над головой или за стеной; походка у того, кто там ходил, была легкой. Оказывается, эта женщина с легкой походкой явилась не из чужих долин, не из цыганского табора, а пришла в сумерках по знакомой дороге из Сорга в Красной, в его родной город, в его дом, в эту комнату. Разумеется, по этой дороге можно было пойти и на восток, и на запад, только он никогда прежде о такой возможности не задумывался. Он вошел в квартиру так тихо, что мать на кухне не услышала и прямо-таки подскочила, обнаружив его сидящим в кресле. В голосе ее звучал неподдельный ужас, когда она воскликнула:

— Ну разве так можно, Малер!

Потом она зажгла свет, погладила увядающие астры и принялась болтать.

На следующий день он столкнулся с Провином нос к носу. Он до сих пор не сказал Провину ни слова, даже «доброе утро» ни разу не сказал, хотя они в офисе работали рядом и над одними и теми же проектами (Государственное бюро проектирования и планирования при министерстве гражданской архитектуры, г. Красной; проект №2: «Государственное строительство жилых домов»). Молодой человек догнал Малера, когда тот в пять часов выходил из здания проектного бюро.

— Господин Эрей, я бы хотел с вами поговорить.

— О чем?

— О чем угодно, — легко откликнулся Провин, отлично сознавая свое обаяние, однако с абсолютно серьезным видом. Он был хорош собой и держался исключительно вежливо. Чувствуя себя побежденным, выкуренным из своего убежища, обретенного в молчании, Малер не выдержал и сказал:

— Знаете, Провин, мне очень жаль. Вашей вины тут нет. У меня это все из-за Иренталя, того человека, что работал на вашем месте. К вам лично это не имеет ни малейшего отношения. И я действительно вел себя глупо. Мне очень жаль. Простите меня. — Он отвернулся.

— Нельзя же растрачивать свою ненависть впустую! — вдруг страстно воскликнул Провин.

Малер так и застыл.

— Хорошо. Теперь я непременно буду говорить вам «доброе утро». Это нетрудно. Но какая, собственно, разница? Разве для вас это имеет значение? Не все ли равно, разговариваем мы друг с другом или нет? Да и о чем, собственно, говорить?

— Нет, не все равно. У нас теперь ничего не осталось — кроме друг друга.

Они стояли лицом к лицу посреди улицы, с неба сыпался мелкий осенний дождик, вокруг сновали люди. Помолчав, Малер уронил:

— Нет, нам даже и этой малости не осталось, Провин. — И пошел от него прочь по улице Палазай к остановке своего трамвая. Но после долгой езды через весь город, по Старому Мосту на тот берег и после пешей прогулки под дождем от остановки трамвая до улицы Гейле на крыльце своего дома он снова встретил ту женщину из Сорга. Она попросила:

— Вы меня не впустите?

Он кивнул, отпирая дверь.

— Моя подруга забыла дать мне ключ, а ей самой пришлось уйти. Вот я и слонялась тут — надеялась, что вы вернетесь домой примерно в то же время, что и вчера... — Она была готова с ним вместе посмеяться над собственной непредусмотрительностью, но он не мог ни рассмеяться, ни что-либо сказать ей в ответ. Он поступил неправильно, оттолкнув Провина, совершенно неправильно. Он сам ведь все это время сотрудничал с врагами и помалкивал. А теперь должен заплатить за это молчание сполна, и цена будет тем выше, что говорить ему все-таки тогда хотелось и молчание превращалось в кляп. Он поднимался следом за ней по лестнице и молчал. И все-таки она явилась с той его родины, где он никогда не бывал.

— До свидания, — сказала она на его этаже, но уже без улыбки, чуть отвернув свое спокойное лицо.

— До свидания, — сказал он.

Он уселся и откинул голову на спинку кресла; мать была в соседней комнате; усталость все больше охватывала его. Он чувствовал себя чересчур усталым даже для того, чтобы путешествовать по той дороге. Разные мелкие события минувшего дня, офисная суета, толпа на улицах города — все это кружилось и мельтешило перед глазами; он, кажет-

ся, даже задремал. Потом на какое-то мгновение перед ним возникла та дорога, и впервые он увидел на ней людей: других людей. Не себя самого, не Иренталя, который был мертв, ни кого-либо из знакомых, а совершенно чужих людей со спокойными лицами. Все они шли на запад, ему навстречу, и, разминувшись с ним, следовали дальше. Он стоял неподвижно. Люди смотрели на него, но не говорили ни слова. Зато вдруг послышался резкий голос матери:

— Малер!

Он не пошевелился, но она никогда не могла просто оставить его в покое.

— Малер, ты что, заболел?

В болезни она не верила, хотя отец Малера несколько лет назад умер от рака; вся беда, утверждала она, полностью полагаясь на собственные ощущения, в его бесконечных раздумьях. Сама она никогда не болела, даже роды, даже те два выкидыша, что у нее случились, прошли совершенно безболезненно, даже весело. Так что с ее точки зрения боли не существовало совсем, существовал лишь страх перед болью, а на страх можно не обращать внимания. Однако она понимала, что Малер, как и его отец, никогда не мог избавиться от этого страха.

— Дорогой мой, — прошептала она, — не следует так терзать себя.

— Что ты, со мной все в порядке. — Все в порядке, все хорошо, абсолютно все в полном порядке.

— Это из-за Иренталя?

Она все-таки произнесла это имя, упомянула умершего, допустила существование смерти, позволила ей войти в эту комнату! Он ошеломленно смотрел на нее, переполненный благодарностью. Она вернула ему способность разговаривать.

— Да, — заикаясь, проговорил он, — да, из-за него. Из-за него. Я не могу с этим смириться...

— Ты не должен надрывать себе сердце, милый. — Она погладила его по руке. Он сидел неподвижно, страстно желая, чтобы его приласкали, успокоили. — Это ведь не твоя вина, — сказала она, и в ее голосе вновь тихонько прозвучала знакомая экзальтация. — Ты бы все равно ничего не смог сделать, никак не смог бы изменить положение вещей, и теперь тоже не можешь. А он каким был, таким и остался; может быть, он даже хотел этого ареста, ведь он такой беспокойный, бунтарь. Он пошел своим путем. А тебе нужно придерживаться реальной действительности,

подчиниться неизбежному, Малер. Судьба вела его иным путем, чем тебя. Твой путь ведет домой. Так что когда ты поворачиваешься ко мне спиной и не желаешь со мной разговаривать, дорогой, то отвергаешь не меня, а собственную судьбу. В конце концов, у нас теперь ничего не осталось — кроме друг друга.

Он ничего не ответил, горько разочарованный, охваченный чувством собственной вины по отношению к матери, которая действительно полностью зависела от него, и по отношению к Иренталю и Провину, от которых он все пытался сбежать, путешествуя по несуществующей дороге в одиночестве и молчании. Но когда мать снова воздела руки и то ли продекламировала, то ли пропела: «Нет зла в этом мире, все в нем свершается не напрасно — если только посмотреть на него без страха!», в Малере что-то сломалось, чувство вины улетучилось без следа, и он встал.

— Это возможно только в одном случае: когда ты слеп, — сказал он и вышел из дому, хлопнув дверью.

Он вернулся пьяным, распевая песни, часа в три ночи. И проснулся слишком поздно, чтобы успеть побриться, и все-таки опоздал на работу; а после ленча в офис вообще не вернулся — сидел в людном полутемном баре, что за Дворцом Рукх. Сюда они с Иренталем обычно заходили перекусить днем и заказывали пиво и селедку. Когда к шести часам в баре появился Провин, Малер был уже снова пьян.

— Добрый вечер, Провин! Выпьете со мной?

— Спасибо, с удовольствием. Дживани сказал, что вы, возможно, здесь.

Они молча выпили, сидя рядом, притиснутые друг к другу толпой посетителей. Потом Малер выпрямился и торжественно произнес:

— Зла в этом мире не существует, Провин!

— Вот как? — изумился Провин, улыбаясь и глядя на него.

— Да. Никакого. Люди попадают в беду из-за своих высказываний, так что, когда их расстреливают, это их собственная вина, верно? И ничего страшного тут нет. А если же их всего лишь сажают в тюрьму, то тем лучше: в тюрьме легче хранить молчание. Если никто не будет говорить, то никто не будет и лгать, и на самом деле зла по-настоящему действительно не существует — только ложь. Зло — это ложь. Нужно просто молчать, тогда мир сразу станет добрым. И все вокруг станут хорошими и добрыми. Полицейские — хорошие ребята, у них есть жены и дети, тайные агенты —

тоже хорошие люди, настоящие патриоты, и солдаты тоже, и государство у нас хорошее, а мы хорошие граждане великой страны, только рот раскрывать попусту не нужно. Не стоит разговаривать друг с другом, не то невзначай совершь. И все испортишь. Никогда ни с кем не разговаривайте. Особенно с женщинами. У вас есть мать, Провин? У меня нету. Меня родила девственница, причем совершенно безболезненно. Боль — вранье, ее не существует... ясно? — Он стукнул рукой по краю стойки с таким звуком, точно сломал сухую палку, охнул и побледнел. Побледнел и Провин. Все мужчины в баре — с мрачными лицами, в дешевых серых костюмах — сразу уставились на них; потом волны разговоров зашелестели снова, то усиливаясь, то ослабевая. На висевшем за стойкой календаре был октябрь 1956 года. Малер сунул за пазуху ушибленную руку, прижимая ее к груди, молча взял свой стакан левой рукой и допил пиво. «В Будапеште, в среду, — тихо повторял человеку в комбинезоне, видимо штукатуру, сосед Малера, — в среду».

— Так это все правда?

Провин кивнул:

— Правда.

— А вы не из Сорга, Провин?

— Нет, из Раскофью, это на несколько миль ближе. Может, зайдем ко мне домой, господин Эрей?

— Я слишком пьян, чтобы ходить в гости.

— У нас с женой отдельные комнаты. Я хотел поговорить с вами. Вот об этом, — и он кивнул в сторону человека в комбинезоне. — Еще есть возможность...

— Слишком поздно, — сказал Малер. — И слишком я пьян. Послушайте, вы знаете дорогу от Раскофью до Сорга?

Провин смотрел в пол.

— Вы что, тоже из этих мест?

— Нет. Я родился здесь, в Красное. Столичный мальчик. В Сорге никогда не бывал. Один раз видел шпиль тамошнего собора — из окна поезда, когда ехал на восток, на военную службу. По-моему, мне пора рассмотреть его поближе. Когда здесь начнется, как вы думаете? — как бы между прочим спросил он, когда они вышли из бара, но молодой человек не ответил.

Малер пошел на свою улицу Гейле пешком, через мост. Это была очень долгая прогулка, и он значительно протрезвел, когда добрался до дому. Мать выглядела несчастной и какой-то съезжившейся, точно ссохшееся прямо в скорлупе

старое ядрышко ореха. Это он был ее скорлупой, ее убежищем, а свою скорлупу надо беречь, надо прирасти к ней и медленно ссыхаться внутри ее, сохраняя собственную жизнь. Ее мир — без зла, без надежды, без потрясений — зависел только от него.

Пока он ел поздний холодный ужин, мать спросила, правда ли то, что она слышала сегодня на рынке.

— Да, — сказал он, — правда. И Запад намерен помочь им, намерен послать туда военную авиацию, может быть, ввести войска. Они своего добьются. — И тут он рассмеялся, а она не осмелилась спросить его, почему он смеется. На следующий день он как обычно пошел на работу. А в субботу рано утром к ним в дверь тихо постучалась та женщина из Сорга.

— Пожалуйста, помогите мне перебраться на тот берег, если это еще возможно.

Стараясь не разбудить мать, Малер спросил женщину, что она имеет в виду. Она объяснила, что все мосты перекрыты и охранники ни за что не пропустят ее на тот берег, поскольку у нее нет вида на жительство в Красное, а ей совершенно необходимо добраться до железнодорожного вокзала, чтобы поскорее вернуться к семье, в Сорг. Она уже и так на день опаздывает.

— Если вы собираетесь на работу, я бы пошла с вами, понимаете, и они, может быть, разрешили бы вам перебраться на...

— Моя контора сегодня закрыта, — сказал он.

Она молчала.

— Ну, не знаю. Можно, конечно, попробовать... — и он посмотрел на нее сверху вниз, чувствуя себя очень толстым и громоздким в своем халате. — А трамваи ходят?

— Нет; говорят, весь транспорт остановлен. Кажется, даже и поезда. Но на западной стороне, в Приречном районе, говорят, все работает.

Было еще совсем рано и пасмурно; они вместе вышли из дому и двинулись по длинным улицам к реке.

— Скорее всего они меня не пропустят, — сказал Малер. — Я ведь всего лишь архитектор. Если меня действительно остановят, можно еще попытаться как-то добраться до Грассе. Это пригородная станция, там останавливаются идущие на восток поезда. Грассе всего километрах в шести от Красноя. — Женщина кивнула. На ней было все то же яркое бедное платьишко; было холодно, и шли они быстро.

Когда впереди завиднелся Старый Мост, они нерешительно остановились. По всему мосту вдоль изящной каменной балюстрады стояли со скучающим видом солдаты, однако они не ожидали увидеть там еще и огромный горбатый предмет неясных очертаний. Из него в сторону запада торчала пушка. Солдат только отмахнулся от предьявленного Малером удостоверения личности и велел ему идти домой. Они снова пошли по длинным пустынным улицам, где не видно было ни трамваев, ни машин, ни людей.

— Если вы хотите попробовать добраться до Грассе пешком, — сказал Малер, — то я пойду с вами.

Прядь жестких черных волос, растрепанных ветром, упала ей на щеку, когда она растерянно улыбнулась ему. Сейчас она была очень похожа на простую деревенскую женщину, заблудившуюся в большом городе.

— Вы очень добры. Вот только ходят ли поезда?

— Может быть, и нет.

Тонкое бледное лицо ее было задумчивым; она слегка усмехнулась, столкнувшись лицом к лицу с непреодолимым препятствием.

— У вас там, в Сорге, дети?

— Да, двое. Я сюда приехала, чтобы получить компенсацию за мужа — у них на фабрике была авария, он потерял руку...

— До Сорга километров сорок. Пешком можно завтра к вечеру добраться.

— Я как раз об этом и думала. Но теперь везде, наверное, полицейские посты — и за городом, и повсюду на дорогах...

— Но не на тех, что ведут на восток.

— Мне немножко страшно, — тихо сказала она, помолчав немного; да, она больше уже не казалась ему цыганкой из диких степей — самая обыкновенная провинциалка, которая боится ходить одна по дорогам этой разоренной страны. Впрочем, ей и не нужно идти одной. Они вместе могли бы дойти по восточной дороге до Грассе, а потом спуститься на равнину и пробираться прямо между холмами от селения к селению, через поля, мимо одиноких ферм, пока осенним вечером перед ними не завиднеются серые стены Сорга и высокий шпиль собора. Сейчас из-за беспорядков в Красное дороги должны быть совершенно пусты — ни автобусов, ни мчащихся машин, — и они словно шагнут в

прошлый век или даже в более ранние века, вернутся к своему наследию, убегут прочь от смерти.

— Вам лучше пока переждать здесь, — сказал он, когда они свернули на улицу Гейле. Она подняла голову, взглянула в его мрачное лицо, но ничего не сказала. На лестничной площадке она прошептала:

— Спасибо вам. Вы были очень добры, что пошли со мной.

— Очень хотел бы вам помочь. — Он повернулся к своей двери.

Днем окна в их квартире без конца дрожали. Мать сидела, сложив руки на коленях, и смотрела вверх цветущей герани на сияющее солнцем небо, по которому бежали небольшие облачка.

— Я пойду пройду, мама, — сказал Малер. Она не пошевелилась; однако, когда он уже надел пальто, сказала:

— Там небезопасно.

— Да. Небезопасно.

— Остайся дома, Малер.

— Там такое солнышко! Солнце омывает всех нас своими лучами, не правда ли? Ну а мне просто необходимо хорошенько вымыться.

Мать смотрела на него с ужасом. Она, всегда отвергавшая чужую беспомощность, теперь не знала, как ей самой попросить о помощи.

— Это невысказано, это просто безумие, и все эти беспорядки... ты не должен иметь к ним никакого отношения, я этого не допущу! Я в это ни за что не поверю! — Она точно заклинала его, протягивая вздетые вверх руки, а он стоял рядом, крупный грузный мужчина. Внизу на улице кто-то сперва долго кричал, потом наступила тишина, потом крик раздался снова; снова задрожали стекла. Мать уронила вздетые руки и заплакала. — Но, Малер, я же останусь одна!

— Да, ну что ж тут поделаешь, — мягко и задумчиво сказал он, стараясь не обидеть ее, — так уж теперь дела обстоят. — И, оставив ее в квартире, закрыл за собой дверь, спустился по лестнице и вышел на улицу; яркое октябрьское солнце сперва ослепило его, но потом он присоединился к идущей по улицам армии невооруженных людей и вместе с ними пошел на запад, к реке, но не через мост.

БРАТЯ И СЕСТРЫ

Раненый рабочий каменоломни лежал на высокой больничной кровати. В сознание он еще не приходил, но само его молчание было внушительным, давящим; его тело, накрытое простыней с намертво застывшими складками, и равнодушное лицо казались телом и лицом статуи. Мать рабочего, словно бросая вызов его молчанию и равнодушию, заговорила вдруг очень громко:

— Ну зачем, зачем ты это сделал? Или ты хочешь умереть раньше меня? Нет, вы только посмотрите на него, на моего сына, на моего красавца, моего ястреба, на мою полнуюводную реку! — Она точно выставляла напоказ свое горе, летела навстречу возможности выплеснуть его, точно жаворонок навстречу утренней заре. Молчание сына и громкий протест матери означали одно и то же: нестерпимое стало реальностью. Младший сын женщины стоял рядом и слушал. Молчание брата и крики матери измучили его, наполнили его душу тоской, огромной, как сама жизнь. Бесчувственное, безразличное ко всему тело брата, раскрошенное на куски, как кусок мела, давило на него своей тяжестью, ему хотелось убежать отсюда, спастись.

Спасенный стоял с ним рядом, невысокий, сутулый мужчина средних лет. В суставы его рук въелась известковая пыль. На него это все тоже производило тяжелое впечатление.

— Он спас мне жизнь, — сказал он Стефану, задыхаясь, словно хотел что-то объяснить этими словами. Голос его звучал безжизненно и монотонно — голос глухого человека.

— Да уж конечно, — сказал Стефан. — Он у нас такой.

Потом он вышел из палаты, чтобы перекусить. Все спрашивали его о брате.

— Он выживет, — говорил всем посетителям «Белого льва» Стефан. За завтраком он слишком много выпил. — Калекой останется, говорите? Это он-то? Костант? Да ему не меньше двух тонн известняка прямо на голову свалилось, и то не убило — он ведь и сам из камня. Он же на свет не родился, его в каменоломне вырубили. — Люди вокруг смеялись — то ли над его шутками, то ли над ним самим. — Да, вырубили его из камня! — упрямо повторил он. — Как и всех вас.

Он ушел из «Белого льва» и двинулся по улице Ардуре, миновал квартала четыре, оставил позади город, но продолжал идти на северо-восток, параллельно железнодорожным путям, что тянулись в том же направлении метрах в трехстах от дороги. Майское солнце над головой казалось маленьким и каким-то серым. Под ногами клубилась пыль, в которой кое-где торчала невысокая травка. Карст — огромная известняковая равнина — чуть шевелился вокруг него, дрожал в жарком мареве, попожем на прозрачные крылышки мух. Уменьшенные расстоянием, но все же суровые, в дрожащей сероватой мгле на горизонте высились горы. Он всю свою жизнь видел эти горы издали, только дважды вблизи, когда ездил на поезде в Браилаву — туда и обратно. Он знал, что горы густо поросли лесом, темными елями, корни которых цепко держатся за берега быстрых ручьев; когда поезд с лязгом шел по горам, ветви елей то смыкались, то расступались над глубокими горными оврагами, освещенными восходящим солнцем, а дым от паровоза плыл вниз по зеленым склонам ущелий, словно оброненная вуаль. В горах бежали шумные сверкающие на солнце ручьи; и еще там были водопады. Здесь, на карстовой равнине, реки бежали под землей, молчаливые, запертые в темные каменные вены своих русел. Можно было целый день ехать верхом от Сфарой Кампе, но до гор все-таки не добраться и по-прежнему видеть вокруг ту же известняковую пыль, лишь на второй день к вечеру вы въезжали под сень деревьев, росших на берегах быстрых ручьев. Стефан Фабр присел на обочину неестественно прямой дороги, по которой шел,

и уронил голову на колени. Он был здесь один, до города километра полтора, до железной дороги метров триста, до гор километров восемьдесят; он сидел и оплакивал своего брата. А равнина вокруг него дрожала, гримасничала в жарком мареве, точно лицо человека, мучимого болью.

После обеденного перерыва он опоздал на целый час. Он работал бухгалтером в «Чорин компани». К его столу подошел начальник отдела.

— Фабр, вам сегодня вовсе не обязательно было возвращаться на работу.

— Почему?

— Ну, может быть, вы хотели бы пойти в больницу...

— А чем я там могу помочь? Я ведь не могу его починить или сделать заново, верно?

— Ну, как хотите, — сказал начальник, отворачиваясь.

— Это ведь не я получил по башке двумя тоннами камней, что же мне-то в больнице делать? — Ему никто не ответил.

Когда в каменоломне случился обвал и Костант Фабр был ранен, ему исполнилось двадцать шесть; его брату было двадцать три, а их сестре Розане — тринадцать. Она как раз бурно росла, стала угрюмой, начала ощущать собственную значимость на этой земле. Она больше не бегала, как в детстве, а ходила степенно, неуклюже ступая и сутулясь, словно при каждом шаге преодолевала невольно некий порог. Розана говорила громко, а смеялась еще громче и сердито давала отпор всему, что ее задевало, — ветру, голосу, слову, которого не понимала, вечерней звезде... Она пока что не научилась воспринимать что-то равнодушно и спокойно, умела лишь отвергать нежелаемое. Обычно они со Стефаном ссорились, стараясь побольнее задеть друг друга, потому что каждый знал наиболее уязвимые и слабые места противника. Но в тот вечер когда он добрался домой, а мать еще не вернулась из больницы, Розана была молчалива и дом казался очень тихим. Она целый день думала о боли, о боли и о смерти; и на этот раз желание все отвергать изменило ей.

— Не смотри так мрачно, — сказал ей Стефан, когда она ставила на стол приготовленную к ужину фасоль. — Он поправится.

— Ты так думаешь?... А тут кое-кто говорит, что он, возможно, оттуда не выйдет. Или станет... ну, ты понимаешь...

— Калекой? Нет, он непременно поправится.

— А почему, как ты думаешь, он бросился отталкивать того типа в сторону?

— Тут не может быть никаких «почему», Роз. Он это просто сделал, и все.

Он был тронут тем, что она задала эти вопросы именно ему, и удивлен уверенностью собственных ответов. Он и не думал, что у него вообще хоть какие-то ответы найдутся.

— Интересно... — сказала она.

— Что именно?

— Не знаю. Костант...

— У тебя ощущение, будто ты лишилась опоры, да? Что ж! Если из фундамента основной камень выбить, так и все остальные посыплются. — Розана не очень-то понимала брата; она не узнавала того места, куда вернулась сегодня, не узнавала родного дома, где стала такой же, как другие люди, и вместе с ними переживала теперь странное несчастье — остаться в живых. Стефан, во всяком случае, дальнейший путь ей указать не мог. — И мы теперь, — между тем продолжал он, — лежим порознь, каждый под собственной грудой камней. Хорошо хоть Костанта им удалось извлечь из-под той груды, что на него обрушилась, и накачать морфием... А помнишь, как однажды, еще совсем маленькой, ты заявила: «Когда вырасту, выйду замуж за Костанта...»?

Розана кивнула:

— Конечно, помню. И он тогда прямо взбесился.

— Это потому, что мать засмеялась.

— Это вы с отцом засмеялись.

Оба к еде не притронулись. Стены комнаты во тьме будто сдвинулись — поближе к керосиновой лампе.

— А как было, когда умер папа?

— Ты же с нами ходила, — удивился Стефан.

— Да, мне уже девять исполнилось. Но я ничего толком не помню. Только то, что было так же жарко, как сейчас, и еще — огромное количество ночных бабочек, которые бились в стекло. Он ведь ночью умер, да?

— По-моему, да.

— Так как это было? — Она пыталась разведать незнакомую территорию.

— Не знаю. Он просто умер. Это больше ни на что не похоже.

Их отец умер от пневмонии сорокашестилетним, проработав тридцать лет в карьере. Стефан помнил его смерть

ненамного лучше Розаны. Отец не был краугольным камнем в фундаменте их семьи.

— У нас фруктов никаких в доме нет?

Розана не ответила. Она неотрывно смотрела на пустое место за столом, где обычно сидел их старший брат. Лоб и темные брови у нее были точно такими же, как у Костанта: похожесть для родственников — опознавательный знак, семейное удостоверение личности, а этих брата и сестру легко было опознать по характерному рисунку бровей, по одинаковой форме лба, они были удивительно похожи, так что у Стефана на мгновение возникло ощущение, что Костант сидит с ними вместе за столом и молчаливо осмысливает собственное отсутствие.

— Так фрукты у нас есть или нет?

— В кладовке, кажется, есть яблоки, — ответила Розана, точно очнувшись и так спокойно, что Стефану даже показалось, что он разговаривает со взрослой женщиной, очень спокойной взрослой женщиной, которую нечаянно вывел из задумчивости своим вопросом; и он с нежностью сказал этой женщине:

— Знаешь что, собирайся! Давай сходим в больницу. Медики теперь, наверное, уже оставили его в покое.

Глухой, которого спас Костант, уже снова торчал в больнице. С ним пришла и его дочка. Стефан знал, что она работает в мясной лавке. Ее отца в палату, разумеется, не пустили, и он целых полчаса продержал Стефана в душном и жарком вестибюле, где пахло дезинфекцией и смолой от нагретого соснового пола. Он то начинал ходить вокруг Стефана, то присаживался, то вскакивал, все время споря сам с собой, и говорил громким, ровным, монотонным голосом, как все глухие.

— Больше я в эту чертову яму не вернусь! Нет уж! А что, если бы я вчера сказал, что с завтрашнего дня в карьер ни ногой? Как бы теперь дела обстояли, интересно? Небось, ни я, ни ты не торчали бы здесь сейчас, да и его, твоего брата, здесь бы сейчас не было. Все мы были бы дома. Дома — живые и невредимые, понял? Нет, я в эту яму не вернусь! Ни за что! Господом клянусь. Уеду я отсюда, на ферму уеду, вот и все. Я там вырос, в предгорьях, на западе; и брат мой там живет. Вот я вернусь туда и стану работать на ферме с ним вместе. А в яму эту я больше не полезу.

Его дочь сидела на деревянной скамье очень прямо и совершенно неподвижно. У нее было узкое лицо, волосы зачесаны назад и собраны в пучок.

— Вам не жарко? — спросил Стефан, и она с мрачным видом ответила:

— Нет, ничего.

Голосок у нее был чистый, и она очень четко выговаривала слова — привыкла говорить с глухим отцом. Поскольку Стефан больше ничего ей не сказал, она снова мрачно потупилась и застыла, сложив руки на коленях. Глухой все еще продолжал что-то говорить. Стефан провел влажной ладонью по волосам и попытался прервать его:

— Все это хорошо, Сачик. По-моему, план у тебя отличный. Действительно, к чему губить оставшуюся жизнь в этих норах? — Но глухой продолжал говорить.

— Он вас не слышит.

— Вы не могли бы увести его домой?

— Я не смогла увести его отсюда даже пообедать. Он все говорит и говорит без умолку.

Теперь она говорила не так звонко и отчетливо, возможно от смущения, и Стефан этому почему-то обрадовался. Он снова провел влажной от пота рукой по волосам и внимательно посмотрел на нее: ему вдруг вспомнились те горы, туманная дымка в ущельях и водопады.

— Знаете что, вы ступайте домой, — он вдруг услышал в собственном голосе ту же мягкость и ясность, как и у нее, — а мы с ним на часок ходим в «Белого льва», хорошо?

— Но тогда вы не сможете повидать брата.

— Он никуда не убежит. Идите домой.

В «Белом льве» они очень много выпили. Сачик не умолкая говорил о ферме в предгорьях, а Стефан — о горах и о том единственном годе, который провел в столичном колледже. Ни тот, ни другой друг друга не слышали. Оба пьяные, они пешком побрели домой; Стефан проводил Сачика в один из тех домов-близнецов, имеющих одну общую стену, которые компания «Чорин» построила на западной окраине города в 95-м, когда был открыт новый карьер. Сразу за домами начинался карст; бескрайняя равнина, вся изрытая, искромсанная, монотонная, отражала лунный свет и как бы сама неярко светилась — светом, уже трижды отраженным от солнца. Щербатая луна, тоже светившаяся отраженным от солнца светом, висела в небесах, точно брошенное хозяйкой на спинку стула белье, которое нуждается в починке.

— Ты передай своей дочери, что все в порядке, — сказал Стефан, покачиваясь на пороге дома Сачика. — Все в по-

рядке, — повторил он еще раз, и Сачик с энтузиазмом подхватил:

— В-все в-в порядке!

Стефан добрался до дому, так и не успев протрезветь, и тот трагический день слился в его памяти с другими днями этого года, он помнил лишь отдельные его фрагменты: закрытые глаза рата, взгляд той темноволосой девушки, луну, равнодушно взиравшую с небес, и фрагменты эти не казались ему частями чего-то целого, а вспоминались всегда по отдельности, с большими промежутками во времени.

На карстовой равнине ни ручьев, ни рек нет; питьевая вода в Сфарой Кампе добывается из глубоких скважин; она очень чистая и совершенно безвкусная. Эката Сачик все время чувствовала на губах непривычный вкус родниковой воды, которую они пили теперь на ферме. Она мыла в раковине грязную кастрюлю, старательно скребла ее жесткой щеткой и была совершенно поглощена этой малоприятной работой. К доньшку пригорела еда, и налитая в кастрюлю вода, тускло поблескивавшая при свете лампы, сразу стала коричневой. Здесь, на ферме, никто не умел как следует готовить. Придется ей рано или поздно взять готовку в свои руки, тогда, по крайней мере, они наконец смогут есть по-человечески. Ей нравилась работа по дому, нравилось мыть и чистить, склоняться с пылающими щеками над плитой, которую нужно было топить дровами, звать людей к ужину; это была живая и довольно непростая работа, совсем не такая скучная, как служба кассиршей в мясной лавке, где целый день она только и делала, что давала сдачу и здоровалась с покупателями. Эката уехала из города вместе с родителями, потому что от работы в лавке ее уже тошнило. На ферме семья дяди приняла их четверых без излишних вопросов и комментариев, как принимают явления природы — больше ртов теперь нужно прокормить, зато больше стало и рабочих рук. Ферма была довольно большая, но небогатая. Мать Экаты, женщина слабая и недужная, едва поспевала за шумной и суетливой теткой и ее недавно овдовевшей дочерью. Мужчины — дядя Экаты, ее отец и брат — входили в дом прямо в грязных башмаках и без конца вели разговоры о том, не стоит ли купить еще одну свинью.

— Конечно, здесь куда лучше, чем в городе. В городе вообще ничего хорошего нет, — сказала кузина Экаты. Эката ничего ей не ответила. Ей просто нечего было ответить.

— Я думаю, Мартин все-таки вскоре в город вернется, — сказала она, помолчав. — Он никогда не хотел на земле работать. — И действительно, через какое-то время ее брат, которому стукнуло шестнадцать, вернулся в Сфарой Кампе и стал работать в карьере.

Он снял меблированную комнату с питанием. Его окно выходило прямо на задний двор Фабров — огороженный участок пыльной, поросшей сорняками земли с печально торчавшей в углу елкой. Хозяйка меблированных комнат, вдова рабочего из каменоломен, темноволосая, спокойная и державшаяся очень прямо женщина, напоминала Мартину его сестру Экату. С ней он чувствовал себя взрослым мужчиной, ему было с ней легко. Но когда хозяйка уходила из дому, ее дочка и другие постояльцы — четверо двадцатилетних парней — устанавливали свои порядки; они смеялись, хлопали друг друга по спине, а один из них, железнодорожный служащий из Браилавы, доставал гитару и принимался наигрывать популярные песенки, поблескивая маслянистыми, темными, точно изюмины, глазами. Дочка хозяйки, тридцатилетняя незамужняя особа, смеялась слишком громко и слишком сильно суежилась; блузка у нее вечно вылезала на спине из-под пояса юбки, но она даже не думала ее заправлять. Мартин никак не мог понять, чего это они так галдят и веселятся и почему без конца хлопают друг друга по плечу? И зачем все эти песни, смех и шутки? Они и над Мартином подшучивали, но он, разумеется, только плечами пожимал и огрызался. Как-то раз он в ответ на их приставания грубо выругался — так отвечают на неуместные шутки рабочие каменоломен. Тогда гитарист отвел его в сторонку и очень серьезно объяснил, как следует вести себя в присутствии дам. Мартин слушал, покраснев и потупясь.

Он был крупный широкоплечий юноша и все думал, что ничего не стоит взять и свернуть шею этому типу из Браилавы. Но ничего подобного он, конечно, не сделал. Не имел права. Этот тип да и все остальные здесь были взрослыми людьми и понимали о жизни нечто такое, о чем он еще понятия не имел. Это нечто как раз и служило причиной их непомерного веселья, суеты, подмигивания, пения и игры на гитаре. Пока он сам этого не поймет, они имеют полное

право делать ему подобные замечания. Он пошел к себе наверх и, высунувшись в окно, закурил сигарету. Дымок от сигареты повис в неподвижных сумерках, окутавших елку в углу чужого двора, крыши домов — весь мир, точно заключив его внутрь голубоватого хрустального купола. На соседском дворе появилась Розана Фабр и легким движением выплеснула воду из миски, в которой мыла посуду; потом постояла немного, глядя на небо. Из окна она казалась Мартину совсем маленькой и тоже как бы пойманной в голубой кристалл. Ее темная головка была запрокинута вверх, оттененная воротником белой блузки. Весь карст в радиусе восьмидесяти километров застыл в полной неподвижности, лишь стекали и падали на землю последние капельки воды с миски Розаны да завивался кольцами дымок от сигареты, просачивавшийся сквозь пальцы Мартина. Мартин медленно и осторожно втянул руку в комнату, чтобы сигаретный дым не привлек ненароком внимания девушки. Розана вздохнула, постучала миской о крыльцо, чтобы вытряхнуть из нее остатки воды, хотя вода уже и так вся стекла, повернулась и снова вошла в дом; хлопнула дверь. Голубоватый воздух тут же сомкнулся, и на том месте, где только что стояла девушка, не осталось ни малейшего следа. Мартин прошептал этому безупречно прозрачному воздуху то самое слово, которое ему только что посоветовали никогда не произносить в присутствии дам, и через мгновение, словно в ответ, вспыхнула высоко в небе, где-то на северо-западе, ясная вечерняя звезда.

Костант Фабр, вернувшись из больницы домой, целыми днями сидел один. Теперь он был уже в состоянии пройти через комнату на костылях. Как он проводил эти долгие молчаливые дни, никто понятия не имел. Он и сам не знал, как ему это удастся. От природы активный, он был самым сильным и сообразительным рабочим на каменоломнях и в двадцать три года уже стал десятником. Костант совершенно не умел бездельничать и оставаться в одиночестве. Он всегда отдавал все свое время работе. Теперь время, должно быть, решило взять свое. Ему оставалось лишь наблюдать, что время делает с ним; наблюдать без ужаса, без нетерпения, осторожно, как ученик наблюдает за работой мастера. Он все свои силы использовал теперь на то, чтобы обучиться своему новому занятию — быть слабым. Молчание, в котором теперь протекали его дни, липло к нему, въедалось

в него, точно известковая пыль, когда-то въедавшаяся в его кожу.

Мать до шести работала в бакалейной лавке; Стефан приходил с работы в пять. По вечерам примерно в течение часа братья бывали вдвоем. Стефан раньше проводил этот час во дворе под елкой, дышал воздухом и с глупым видом наблюдал, как стрелой носятся за невидимыми насекомыми ласточки в бесконечно долго сгущавшихся сумерках, или же сидел в «Белом льве». Теперь же он сразу шел домой, приносил Костанту «Браилавский вестник», и оба читали газету одновременно, передавая листы друг другу. Стефан каждый раз собирался завести с братом разговор, но почему-то все не заводил. Известковая пыль сковывала губы. И каждый день этот час проходил одинаково, в молчании. Старший брат сидел неподвижно, склонив красивое спокойное лицо над газетой. Он читал медленнее Стефана, и тому приходилось ждать, чтобы обменяться с ним газетными листами. Стефан следил, как глаза Костанта двигаются от слова к слову. Потом обычно приходила Розана, громко распрощавшись со школьными приятелями, чуть позже возвращалась с работы мать, в комнатах начинали хлопать двери, звучать громкие голоса, из кухни тянуло дымком, там стучали, звенели тарелками, и невыносимо долгий час кончался.

Однажды вечером, едва начав читать газету, Костант вдруг отложил ее. Он долго молчал, но даже не пошевелился, и поглощенный чтением Стефан ничего не заметил.

— Стефан, там, рядом с тобой моя трубка.

— Да-да, конечно, — пробормотал Стефан и передал ему трубку. Костант набил ее, закурил, попыхтел ею немного, потом отложил. Его правый кулак лежал на подлокотнике кресла тяжело и спокойно, точно сжимал узел совершенно неподъемного одиночества. Стефан спрятался за газетой, и молчание затянулось.

Я ему сейчас прочитаю вслух об этой коалиции профсоюзов, подумал Стефан, но читать не стал. Его глаза настойчиво искали какую-нибудь другую статью, которую можно было читать про себя. Почему я не могу с ним разговаривать?

— Роз подрастает, — сказал Костант.

— Да, у нее все хорошо, — пробормотал Стефан.

— За ней вскоре нужно будет приглядывать. Я все думал об этом. Наш город не годится для молоденькой девушки. Парни здесь дикие, а мужчины грубые.

— Так они везде такие.

— Да, наверное, — согласился Костант. Костант никогда никуда не уезжал с карстовой равнины, никогда не бывал даже за пределами Сфарой Кампе. И ничего, кроме этих известняков, улицы Ардуре, улицы Чорин и улицы Гульхельм, да еще страшно далеких гор и огромного неба над головой, в своей жизни не видел. — Знаешь, — сказал он, снова беря в руки трубку, — по-моему, Роз у нас немного чересчур своевольная.

— Это точно, да и парни дважды подумают, прежде чем завести шашни с сестрой Костанта Фабра, — сказал Стефан. — Но тебя-то она во всяком случае непременно слушается.

— И тебя тоже.

— Меня? А меня-то с какой стати?

— С такой, — ответил Костант, впрочем, Стефан и так уже оправился от смущения.

— Да за что ей меня уважать? У нее вполне достаточно здравого смысла. Ни ты, ни я ведь не очень-то слушали, когда отец нам что-нибудь говорил, верно? Ну и тут то же самое.

— Ты на него не похож. Если ты это имел в виду. Ты ведь образование получил.

— Да уж, образование! Я просто профессор! Господи, да я ведь всего какой-то год в Педагогическом проучился!

— А кстати, почему ты бросил учиться, Стефан?

Это явно было не праздный вопрос; он исходил из самой глубины молчания Костанта, из его сурового, задумчивого неведения. Смущенный тем, что, как и Розана, так сильно занимает мысли этого сдержанного и значительно превосходящего его во всех отношениях человека, Стефан сказал первое, что пришло в голову:

— Я все время боялся провалиться на экзаменах. Так что даже и не работал как следует.

И оказалось, что именно в этих, простых, как стакан воды, словах и заключена та правда, которой он наедине с собой никак не желал признавать.

Костант кивнул, обдумывая, насколько серьезна проблема возможного провала на экзаменах, поскольку сам с этой проблемой никогда, разумеется, не сталкивался; потом сказал своим звучным мягким голосом:

— Ты зря теряешь время — здесь, в Кампе.

— Вот как? А как же ты сам?

— Я ничего не теряю. Мне же никогда не удавалось получить стипендию. — Костант улыбнулся, и добродушие этой улыбки разозлило Стефана.

— Да ты никогда и не пытался ее получить, ты отправился прямо в этот чертов карьер, едва тебе стукнуло пятнадцать. Послушай, а тебе никогда не хотелось знать... ты никогда не останавливался на минутку, чтобы спросить себя: а что я, собственно, здесь делаю, почему все время работаю в этой норе, ради чего? Неужели я так и буду работать там по шесть дней в неделю всю оставшуюся жизнь? Существуют ведь и другие способы зарабатывать нормально. Так **ВО ИМЯ ЧЕГО** нужно надрываться на каменоломнях? Почему вообще люди остаются здесь, в этом Богом проклятом городишке, на этой Богом проклятой изрытой норами каменной земле, где даже не растет ничего? Почему они не снимутся с места и не переедут куда-нибудь еще? А ты мне говоришь о даром потраченном времени! Ну ответь, во имя чего, Господи ты Боже мой, все это — неужели в жизни больше ничего нет?

— Об этом я тоже думал.

— А я уже несколько лет ни о чем вообще не думаю.

— Тогда почему бы тебе не уехать отсюда?

— Потому что я боюсь. Боюсь, что получится то же самое, что в Браилаве, в колледже. Но ты...

— У меня здесь работа. Это моя работа, я умею ее делать. Куда бы ты ни поехал, везде можно задать тот же самый вопрос: во имя чего все это?

— Я знаю. — Стефан встал. Он был тонкий, стройный, подвижный и беспоконный. Говорил, часто не заканчивая предложений. Руки его застывали в незавершенном жесте. — Знаю. От себя никуда не уедешь. Но для меня это означает одно, а для тебя — опять же нечто совсем иное. Ты растрачиваешь здесь свою душу, Костант. Точно так же ты поступил тогда, героически позволив размазать себя по земле ради этого Сачика, идиота, который не способен даже вовремя разглядеть, что на него камни рушатся...

— Он же не может **СЛЫШАТЬ**, — упрекнул его Костант, но Стефан был уже не в силах остановиться.

— Не в этом дело! А в том — и вообще, пусть такие, как он, сами о себе заботятся, — кто для тебя этот глухой, что значит для тебя его жизнь! Почему ты полез туда за ним, хотя видел, что начался обвал? Ведь по той же причине ты в карьер тогда пошел работать, по той же причине ты всю

жизнь оттуда не вылезал! Собственно, причины нет никакой. Просто так сложилось. Просто так случилось. И ты позволяешь, чтобы с тобой «случалось», ты принимаешь все, что судьба тебе подсунет, если тебе кажется, что ты сможешь выдержать это и вести себя при этом так, как тебе хочется!

Он совсем не это собирался сказать. Он хотел, чтобы говорил Костант. Но слова вылетали у него изо рта и со стуком рассыпались вокруг, как градины. Костант сидел тихо, его сильная рука была крепко сжата; помолчав, он сказал:

— Что-то ты больно много на мой счет напридумывал.

Это не было самоуничижением. Самоуничижение Костанту вообще не было свойственно. В основе его долготерпения всегда ощущалась гордость. Он отлично понимал страстное желание Стефана, но не мог разделить его, обладая удивительно целостным, самодостаточным характером. И он безусловно продолжал бы жить по-прежнему, не изменяя своей изумительной, хотя и уязвимой целостности души и тела, с достоинством встречая любые невзгоды, точно король, изгнанный в каменистую пустыню, который, точно семя будущего урожая, держит в плотно сжатом кулаке все свое королевство — города, деревья, людей, горы, поля и стаи птиц весной; и молчит, поскольку рядом нет никого, кто мог бы поговорить с ним на его родном языке.

— Но послушай! Ты же сам только что сказал: я тоже думал, для чего все это, неужели это все, что есть в жизни?.. Если ты действительно так думал, то должен же был искать ответ на эти вопросы!

Костант долго молчал, потом ответил:

— Я его почти нашел. В мае прошлого года.

Стефан перестал метаться по комнате, притих и устался в окно. Ему стало страшно.

— Это... это не ответ, — пробормотал он.

— Да, можно было и получше ответ найти, — согласился Костант.

— Слушай, ты тут совсем в маразм впадешь, сидя один... Вот что тебе нужно: женщина! — снова вдохновился Стефан и опять беспокойно забегал по комнате, не договаривая слова, не заканчивая фразы, то и дело поглядывая в окно, за которым сгущались сумерки ранней осени, точно дым поднимавшиеся от каменных тротуаров, ясно видимых теперь под оголившимися ветвями деревьев. Брат у него за

спиной рассмеялся. — Но я ведь правду говорю! — горько, не оборачиваясь, сказал Стефан.

— Возможно. А как насчет тебя самого?

— Вон они там снова на крыльце сидят, у того подъезда, где вдова Катални живет. Сама-то она, должно быть, в больнице, на ночном дежурстве. Слышишь гитару? Это парень из Браилавы играет, он в железнодорожной конторе работает, ни одной юбки мимо не пропускает. Даже за Ноной Катални ухлестывает. Там теперь и сынишка Сачика живет. Кто-то мне говорил, что он на Новом Карьере работает. Может, даже в твоей бригаде.

— Чей сынишка?

— Сачика.

— А я думал, они из города уехали.

— Они и уехали, куда-то на запад, на какую-то ферму в предгорьях. Только сын его, должно быть, все-таки тут предпочел остаться.

— А где же дочка?

— С отцом уехала, насколько я знаю.

На этот раз молчание затянулось, оно затопило их, как широкое озеро, на поверхности которого плавали последние слова их разговора, отрывочные, неясные, исчезающие. В комнате стало почти темно. Костант потянулся и вздохнул. Стефан почувствовал, как душу его охватывает покой, такой же непостижимый и реальный, как наступление тьмы. Ну вот они и поговорили, только ни к чему не пришли; впрочем, все еще впереди; когда-нибудь они обязательно сделают следующий шаг. Но в данный момент он чувствовал облегчение — сейчас он спокойнее относился и к брату, и к самому себе.

— Вечера короче становятся, — тихо заметил Костант.

— Я ее раза два видел. По субботам она приезжает сюда с фургоном.

— А где их ферма?

— Где-то на западе, в предгорьях, так мне, во всяком случае, старый Сачик рассказывал.

— Я бы туда верхом съездил, если б мог, — сказал Костант и чиркнул спичкой, раскуривая трубку. Вспыхнувший в прозрачных сумерках, наполнявших комнату, огонек тоже показался Стефану удивительно мирным; вечер за окном, похоже, стал темнее. Гитарный перезвон прекратился; теперь на крыльце громко смеялись.

— Если увижу ее в субботу, попрошу заглянуть к нам.

Костант не ответил. Да Стефану и не нужен был его ответ. Впервые в жизни брат попросил его о помощи.

Вошла мать, высокая, громкоголосая, усталая. Под ее шагами заскрипели, заплакали полы, на кухне тут же что-то зазвенело и зашипело. Все в ее присутствии становилось шумным, молчали лишь оба ее сына: Стефан, который матери избегал, и Костант, которого она считала своим хозяином.

По субботам Стефан уходил с работы в полдень. Он медленно прошелся по улице Ардуре, высматривая фургон с фермы и знакомую чалую лошадь. Не обнаружив ни того, ни другого, он отправился в кафе, одновременно успокоенный и раздосадованный. Миновала еще суббота, потом еще одна. Стоял октябрь, дни стали короче. Как-то раз на улице Гульгельма Стефан увидел впереди себя Мартина Сачика; догнав его, он поздоровался:

— Эй, Сачик, добрый вечер.

Парнишка туповато смотрел на него своими серыми глазами; лицо, руки и одежда Мартина были серыми от известковой пыли, а походка — медлительная и степенная — как у пятидесятилетнего.

— Ты в какой бригаде работаешь?

— В пятой. — Он выговаривал слова так же четко, как и его сестра.

— Это бригада моего брата.

— Я знаю. — Они немного прошлись вместе. — Говорят, он через месяц снова в карьер вернется?

Стефан покачал головой.

— А семья твоя все еще на ферме? — спросил он, и Мартин кивнул.

Они остановились у подъезда вдовы Катални. Добравшись наконец до дому и предвкушая скорый обед, Мартин несколько ожил. Ему явно было приятно, что Стефан Фабр заговорил с ним, однако он ничуть не смутился. Стефан славился своим умом, но считался человеком мрачным и неуравновешенным, то есть мужчиной как бы наполовину, а вот про его брата все говорили, что в нем не один мужчина, полтора.

— Они недалеко от Верре живут, — сказал Мартин. — Гнусное местечко. Я так и не смог привыкнуть.

— А твоя сестра что, смогла?

— Она считает, что должна была остаться с мамой. Хотя ей, по-моему, тоже следовало бы вернуться. Ужасно там гнусно все-таки.

— Ну тут тоже не рай Божий, — сказал Стефан.

— А там они до потери сознания вкалывают и денег за это ни шиша. На этих фермах все какие-то чокнутые. Папаше моему там самое место. — Мартин чувствовал себя настоящим мужчиной, говоря так неуважительно об отце. Но Стефан Фабр глянул на него отнюдь не с уважением и сказал:

— Возможно. Ну ладно, привет, Сачик.

Мартин, чувствуя себя морально уничтоженным, нырнул в подъезд. Господи, когда же он наконец станет взрослым! Когда другие мужчины перестанут презирать и учить его! Да и какое, собственно, ему дело до того, что Стефан Фабр презрительно посмотрел на него и отвернулся?

На следующий день Мартин встретил на улице Розану Фабр. Она была с подругой, он — с приятелем; в прошлом году они еще все вместе учились в школе.

— Как поживаешь, Роз? — громко спросил Мартин, подталкивая приятеля локтем. Однако девушки прошли мимо, высокомерные, как цапли.

— Вон та хороша — прямо огонь! — сказал Мартин.

— Эта? Так она же еще ребенок, — удивился его приятель.

— В том-то и дело! — с таинственным видом заявил Мартин и грубо захохотал, потом поднял голову и вдруг увидел прямо перед собой Стефана Фабра, который переходил улицу. На мгновение Мартину показалось, что он со всех сторон окружен и пути к спасению нет.

Стефан направлялся в «Белого льва», но, проходя мимо гостиницы, увидел во дворе платной конюшни, имевшейся при ней, знакомую чалую лошадь. Он зашел и уселся в выкрашенном коричневой краской вестибюле, пропахшем конским потом, упряжью и старой паутиной. Пришлось просидеть часа два, прежде чем она наконец появилась. Она держалась очень прямо, темные волосы были повязаны черным платком. Он так долго ждал ее и она оказалась именно такой, какой и должна была быть, что он с наслаждением любовался ею и опомнился, только когда она уже прошла мимо и начала подниматься по лестнице.

— Госпожа Сачик! — окликнул он ее.

Она остановилась и удивленно оглянулась.

— Я хотел попросить вас об одном одолжении. — Голос Стефана после столь долгого, странно затянувшегося и будто безвременного ожидания звучал хрипло. — Скажите, вы сегодня в городе ночевать останетесь?

— Да.

— Костант о вас часто спрашивает. Он все хотел поговорить с вами о вашем отце. Он ведь по-прежнему не выходит из дому да и вообще много ходить пока не может.

— У отца все прекрасно.

— Знаете, а что, если...

— Я могла бы заглянуть к нему. Я как раз собиралась навестить Мартина. Вы ведь рядом живете, верно?

— О, чудесно! Это просто... Я подожду вас.

Эката сбегала наверх, вымыла запыленные руки и лицо, потом попыталась было как-то оживить свое серенькое платьице кружевным воротничком, который захватила с собой и хотела завтра надеть в церковь. Потом сняла его. Потом снова повязала свои черные волосы черным платком, спустилась в вестибюль и вышла вместе со Стефаном под бледное октябрьское солнце. До его дома было шесть кварталов. Когда она увидела Костанта Фабра, у нее даже голова закружилась. Она никогда раньше не видела его так близко, разве что в больнице, но там его отгораживали от нее гипсовые повязки, бинты, жара, боль, болтовня отца. Теперь она его разглядела.

Они начали разговор очень легко. Она бы чувствовала себя с ним и совсем свободной, если б не его исключительная красота, которая сбивала ее с толку. Он говорил с ней серьезно и просто, голос его звучал обнадеживающе. Со всем другое дело — его младший брат; у того и смотреть-то было не на что, но с ним Эката постоянно испытывала неловкость и смущение. Костант и сам был спокоен и на других действовал успокаивающе; Стефан же налетал, точно осенний ветер, напоенный горечью, порывистый; с ним ничего невозможно было предсказать заранее.

— Ну и как вам там живется? — спросил Костант, и она охотно ответила:

— Хорошо. Немного скучновато, правда.

— Говорят, у фермеров самая тяжелая работа на свете.

— Я ничего не имею против тяжелой работы. А вот грязь да навоз ужасно противные.

— А деревня там рядом есть?

— Ну, мы живем как раз посредине между Верре и Лотимой. Но у нас есть соседи, да и вообще там все друг друга знают, куда ни пойдешь километров на тридцать вокруг.

— Значит, и нас тоже можно вашими соседями считать, — вмешался Стефан, но больше ничего не прибавил и затих. Он чувствовал себя лишним в компании этих двоих. Костант удобно устроился в кресле, вытянув хроющую ногу и согнув другую, колено которой обхватил сцепленными пальцами. Эката, очень прямая, сидела лицом к нему, руки ее спокойно лежали на коленях. Они не были похожи, однако вполне могли бы сойти за брата и сестру. Стефан встал, пробормотал невнятные извинения и вышел на двор. Дул северный ветер. В раскисшей земле под елкой и в сорняках копались воробьи. Развешанные на бельевой веревке, натянутой между двумя железными столбиками, рубашки, нижнее белье и две простыни хлопали на ветру, а потом бесильно повисали, точно отдыхая. В воздухе пахло озоном. Стефан перемахнул через изгородь, прошел, срезая путь, двором Катални и вышел на улицу, ведущую на запад. Через несколько кварталов улица кончилась. Старые колеи тянулись дальше, в карьер, заброшенный лет двадцать назад, когда рабочие наткнулись на подземные источники; теперь в карьере образовалось настоящее озеро метра четыре глубиной. Летом там купались мальчишки. Стефан тоже когда-то купался там, испытывая, правда, постоянный ужас, потому что плавать по-настоящему не умел, а дна в этом озере даже у берега было не достать и вода обжигала ледяным холодом. Три года назад там утонул какой-то мальчик, а в прошлом году утопился рабочий, который ослеп из-за попавших в глаза осколков известняка. Заброшенный карьер все еще называли Западным. Там когда-то в юности работал отец Стефана. Стефан присел на краю карьера, глядя, как мечется, бьется над серой равнодушной водой запертый со всех сторон, попавший в ловушку ветер.

— Ой, мне же нужно еще с Мартином повидаться! — сказала Эката и встала. Костант потянулся было за костылями, но передумал и сказал:

— Слишком долго мне на ноги подниматься.

— А ты далеко на костылях можешь пройти?

— Отсюда до туда, — сказал он, показывая на кухню. — Ноги-то у меня ничего. Все дело спина тормозит.

— И когда ты от своих костылей избавишься?

— Доктор говорит, к Пасхе. Ну уж тогда я их сразу утоплю в Западном Карьере... — Оба улыбнулись. Она чувствовала к нему нежность и очень гордилась знакомством с ним.

— А ты, интересно, будешь приезжать в Кампе, когда погода совсем испортится?

— Не знаю еще. От дороги зависит.

— Когда снова приедешь, заходи, — пригласил он. — Если захочешь, конечно.

— Зайду обязательно.

И тут они наконец заметили, что Стефана дома нет.

— Даже и не знаю, куда он мог пойти, — сказал Костант. — Он у нас такой — куда-то уходит, откуда-то приходит, неугомонный. А твой брат, Мартин, говорят, хороший парень и с командой нашей сработался.

— Он еще совсем мальчишка, — сказала Эката.

— Да, сперва тяжело приходится. Я в карьер пришел, когда мне пятнадцать стукнуло. Зато потом, когда наберешься сил и свое дело знаешь, идет легко. Ну ладно, передавай привет домашним. — Она пожала его большую твердую теплую руку и заставила себя уйти. На пороге она нос к носу столкнулась со Стефаном. И он покраснел. Ее это потрясло — она никогда не видела, чтобы мужчины так краснели. Потом он заговорил с ней — как всегда сразу о главном:

— Ты ведь на год позже меня в школе училась, верно?

— Да.

— И ты дружила с Розой Байенин. Она тоже на следующий год, как и я, стипендию получила.

— Она теперь в школе работает, детей учит. В Валоне.

— Она-то получше меня своей стипендией распорядилась... Знаешь, я все думал, как это странно получается, когда растешь в таком городке, как наш: сперва вроде все знакомые, а потом встретишь кого-нибудь, и сразу ясно, что никого ты не знаешь.

Она не знала, что ответить. Он попрощался и вошел в дом, а она отправилась по своим делам, потуже затянув платок, потому что ветер усилился.

Через минуту после Стефана в квартиру вошли мать и Розана.

— С кем это ты на крыльце разговаривал? — резко спросила мать. — Надеюсь, не с Ноной Катални?

— Правильно надеешься, — откликнулся Стефан.

— Ну ладно. Смотри поосторожней с этой особой, она особенно любит в таких, как ты, свои когти запускать. Очень мило будет смотреться, когда ты станешь ее щенка выгуливать, а она пока что — материных постояльцев-мужчин развлекать. — И мать, и Розана захохотали одинаковым утробным смехом. — Так с кем ты там разговаривал, а?

— Тебе-то какое дело? — рявкнул он. Их смех всегда приводил его в бешенство; этот смех был похож на град грязных грохочущих камней, от которых невозможно увернуться.

— А такое мне дело, что я желаю знать, кто это торчит у меня на крыльце, и сейчас я тебе разьясню, почему мне до этого дело есть... — Слова точно давали выход клокотавшему в ней гневу и прочим страстям. — Ты у нас такой важный, образованный, ты у нас даже в колледж учиться ездил, да только обратно приполз — в этот вот самый дом! Разве я неправду говорю? Ну так учти: я желаю знать, кто в мой дом без меня является... — Но тут Розана закричала:

— А я знаю, кто это был! Это сестра Мартина Сачика!

Внезапно рядом с ними выросла огромная фигура Костанта; он сутулился, опираясь на костыли.

— Немедленно прекратите, — сказал он, и они тут же умолкли.

Больше никто не сказал о визите Экаты Сачик в их дом ни слова — ни сразу, ни потом. Братья помалкивали, а мать не спрашивала.

Мартин повел сестру обедать в кафе «Колокол», где обедали чиновники из «Чорин компани» и заезжие гости. Он гордился собственной предусмотрительностью, белыми скатертями, красивыми ложками и вилками, хоть и побаивался официанта. Он сам в ставшем тесноватым воскресном костюме рядом с сестрой, одетой в знакомое серенькое платьице, казался себе удивительно взрослым, таким искусственным кавалером. А Эката смотрела в меню замечательно спокойно, и на лице ее ровным счетом ничего не отразилось, когда она прошептала брату:

— Но здесь же указаны два совсем разных супа!

— Да, ну и что? — Он говорил тоном бывалого человека.

— Может, ты тогда сам выберешь, какой лучше?

— Да, пожалуй.

— Ты должен это сделать, иначе мы наедемся, а до второго добраться не успеем... — Они захихикали. Плечи Экаты вздрагивали от смеха; она прикрыла лицо салфеткой, но

салфетка оказалась такой огромной... — Мартин, погляди-ка, мне тут простынку дали... — Теперь оба тряслись от смеха, похрюкивая и постанывая, а тем временем официант с другой такой же «простынкой» на плече неумолимо приближался к ним.

Обед был заказан неслышно и съеден по всем правилам этикета — локти плотно прижаты к бокам. На десерт подали пудинг из молотых каштанов, и Эката, позволив себе чуточку расслабиться и расставить локти, лакобилась с наслаждением и говорила:

— Роза Байенин писала мне, что в том городе, где она теперь живет, целая каштановая роща и все осенью ходят туда и собирают каштаны, а сами деревья растут густо-густо, и под ними темно, как ночью. И роща эта на самом берегу реки... — Она была возбуждена приездом в город после шести недель жизни на ферме, разговором с Костантом и этим обедом в настоящем ресторане. — Это же просто замечательно! — воскликнула она, хотя вряд ли могла бы объяснить, что именно имела в виду — то ли ей представлялись золотистые полосы солнечного света, пробивавшиеся сквозь темную густую листву каштанов, росших на берегу, то ли ветер, дувший против течения, морщивший воду в тени деревьев и приносявший запахи листьев, реки и еще пудинга из молотых каштанов, то ли весь этот залитый солнцем мир лесов, рек и незнакомых людей.

— Я видел, как ты со Стефаном Фабром разговаривала, — сказал Мартин.

— Я у них дома была.

— Зачем?

— Они меня попросили зайти.

— А зачем?

— Просто хотели узнать, как нам на ферме живется.

— Меня, например, они ни разу об этом не спрашивали.

— Ну, так ты же не живешь на ферме, глупый. А ты действительно работаешь в бригаде Костанта? Вообще-то ты и сам иногда мог бы к ним заглянуть. Костант такой замечательный человек! Он тебе понравится.

Мартин что-то проворчал. Ему почему-то было неприятно, что Эката ходила к Фабрам домой. Он и сам не знал почему. Ему казалось, что ее визит все усложнил. Розана, наверное, тоже была там. Он не хотел, чтобы сестра узнала что-нибудь насчет Розаны. А что, собственно, она могла узнать насчет Розаны? Он постарался не думать об этом и нахмурился.

— А младший из братьев, Стефан, кажется, у Чорина в конторе работает, да?

— Да, бухгалтером или кем-то в этом роде. Все его гением считали, даже в колледж отправили, да только вышибли его оттуда.

— Я знаю. — Эката любовно посмотрела на последнюю ложку пудинга и отправила ее в рот. — Это все знают.

— Мне он не нравится, — заявил Мартин.

— Почему же?

— Не нравится, и все. — Ему стало легче, все свое раздражение он вылил на Стефана. — Хочешь кофе?

— Ох нет.

— Давай, а? Я выпью. — И он уверенно заказал кофе им обоим. Эката любовалась братом и с удовольствием пила кофе.

— Какое это счастье — иметь брата, — сказала она.

Утром Мартин зашел за ней в гостиницу, и они вместе направились в церковь; когда они пели лютеранские гимны, то каждый слышал голос другого, сильный и чистый, и обоим это было очень приятно, и почему-то хотелось смеяться. В церкви они заметили и Стефана Фабра.

— Он часто приходит? — спросила Эката Мартина, когда служба кончилась.

— Нет, — ответил Мартин, хотя понятия об этом не имел, поскольку сам не был в церкви с мая. Он чувствовал тупое раздражение после чересчур долгой проповеди. — Этот тип просто возле тебя увивается.

Сестра не ответила.

— Ты же сама говорила, что он тебя в гостинице поджидает. Чтобы на свидание со своим братцем отвести. А теперь он с тобой на улице заговаривает. В церкви вдруг объявился. — Из чувства самообороны он вытаскивал откуда-то все новые и новые обвинения против Стефана и теперь, произнося их вслух, считал вполне убедительными.

— Мартин, — сказала Эката, — если я кого из людей и способна ненавидеть, так это тех, кто сует свой нос в чужие дела.

— Если бы ты не была моей сестрой...

— Если бы я не была твоей сестрой, мне не пришлось бы слушать все эти глупости. Может быть, сходишь попросишь, чтобы привели мою лошадь? — Так что расстались они, чуточку злясь друг на друга, что, впрочем, быстро прошло под воздействием времени и расстояния.

В конце ноября, когда Эката снова приехала в Сфарой Кампе, она снова зашла к Фабрам. Ей хотелось этого самой, к тому же она обещала Костанту непременно зайти, и все-таки пришлось совершить над собой некоторое насилие; однако, обнаружив, что дома только Костант и Розана, а Стефана нет, она почувствовала значительное облегчение. Мартин в прошлый раз растрожил ее своими дурацкими упреками и вопросами. Впрочем, видеть она хотела именно Костанта.

Зато Костанту хотелось поговорить о Стефане.

— Он вечно где-то бродит или торчит в «Белом льве». Беспокойный он какой-то. Только время зря тратит. Как-то мы с ним разговаривали, так он мне сказал, что боится уезжать из Кампе. Я все думал, что он этим хотел сказать? Чего именно он боится?

— Ну, у него, наверно, нигде больше друзей нет, только здесь, — предположила Эката.

— Здесь их, надо сказать, тоже немного. Он ведь среди рабочих чиновника изображает, а среди чиновников — рабочего. Я видел, как он ведет себя, когда сюда приходят мои приятели. И почему он не хочет быть таким, какой он на самом деле есть?

— А может, он не уверен, какой он есть на самом деле?

— Ну, так он этого и не узнает, если все время будет слоняться, как лунатик, да вино пить в «Белом льве», — сказал Костант твердо, уверенный в собственной целостности. — И еще вечно ссоры затевать. В этом месяце он дрался уже три раза. И каждый раз ему, бедняге, здорово доставалось. — Костант засмеялся. Эката не ожидала увидеть невинную улыбку ребенка на этом суровом лице. Сразу стало ясно, что он по-настоящему добрый человек, что он искренне тревожится за Стефана; даже в его смехе не слышалось насмешки, он был исключительно добродушным. Как и Стефан, она дивилась ему, его красоте, его силе, но ей он вовсе не казался понапрасну загубленным. Господь хранит свой дом и знает слуг своих. Если он послал этого чистого душой, во всех отношениях замечательного человека жить в неизвестности на этой каменной равнине, то ведь и равнина эта — тоже часть его дома, часть его странного хозяйства, как камни и розы, как реки, что бегут вечно и не пересыхают, как тигры, как океан, как личинки мух, как звезды, которые тоже, оказывается, не вечны.

Розана, сидя у камина, прислушивалась к их разговору. Она сидела молча, неуклюжая, ссутулившаяся, хотя в последнее время стала следить за собой и старалась держаться прямо, как когда-то в детстве — то есть примерно год назад. Говорят, привыкаешь быть миллионером; вот и девочка через год-два тоже привыкает быть женщиной. Розана училась носить богатое и тяжелое платье собственного наследия. Вот и сейчас она внимательно слушала других, то есть занималась тем, что раньше делала крайне редко. Она никогда еще не слышала, чтобы взрослые разговаривали между собой так, как эти двое. Она вообще нормального разговора ни разу не слышала. Послушав минут двадцать, она неслышно выскользнула из комнаты. Она узнала достаточно много, даже слишком много, и теперь ей нужно было время, чтобы все как следует усвоить, а потом потренироваться самой. Впрочем, тренироваться она начала немедленно: выпрямилась и важно, неторопливо, плавной походкой вышла на улицу; лицо ее было спокойным, как у Экаты Сачик.

— Что, Роз, наяву спишь? — насмешливо окликнул ее Мартин Сачик от подъезда, где жила вдова Катални. Она улыбнулась ему и сказала:

— Здравствуй, Мартин. — Он замолк и уставился на нее. Потом осторожно спросил:

— Ты куда идешь?

— Никуда; просто гуляю. А твоя сестра у нас.

— Правда? — Он вдруг рассердился, хотя это было и глупо, а Розана продолжала свои упражнения.

— Да, — вежливо подтвердила она. — Зашла моего брата навестить.

— Которого?

— Костанта, конечно! С какой стати ей Стефана-то навещать? — удивилась Розана, на минуту забыв о своей новой роли и улыбаясь во весь рот.

— А ты с какой стати тут одна слоняешься?

— А почему бы мне тут не слоняться? — возмутилась она, уязвленная словом «слоняться», но тут же снова возвратилась к исключительно вежливой форме беседы.

— Ладно, тогда и я с тобой пойду.

— Что ж, почему бы и нет?

Они шли по улице Гульхельма, пока она не превратилась в две заросшие сорной травой колеи.

— Не хочешь прогуляться до Западного Карьера?

— Почему бы и нет? — Розане очень нравилось это выражение; оно звучало очень по-взрослому.

Они брели по неглубокой каменистой колее, а вокруг расстилалась бесконечная равнина, покрытая сухой травой, слишком короткой, чтобы клониться под северо-западным ветром. Груды облаков неслись навстречу, и им казалось, что это они идут так быстро и вся серая равнина тоже скользит куда-то с ними вместе.

— От этих облаков голова кружится, — сказал Мартин, — как когда голову задерешь и на верхушку флагштока смотришь.

Они шли, задрав головы и видя только эти мчавшиеся по небу облака. Розане вдруг показалось, что хоть они и ступают по земле, но уже доросли до небес и идут сквозь них, как птицы, парящие высоко на просторе. Она поглядела на Мартина: он тоже шагал сквозь небеса.

Они вышли к заброшенному карьере и остановились, глядя вниз, на воду, которую теребил порывистый, пойманный в ловушку ветер.

— Хочешь поплавать?

— Почему бы и нет?

— Вон там следы мулов. Прямо в воду уходят, смешно, да?

— Ну и холодно здесь!

— Пойдем по той тропке. Там ветра почти не чувствуется — стена загораживает. Вон оттуда Пенник прыгнул, его вытащили как раз здесь, прямо под нами.

Розана стояла на самом краешке карьера. Серый ветер проносился мимо нее.

— Ты думаешь, он сам хотел прыгнуть? То есть, по-моему, он слепой был, может, он просто свалился...

— Нет, он все-таки немножко видел. Его собирались послать в Браилаву на операцию. Пошли. — Она последовала за ним к началу тропы, ведущей вниз. Сверху тропа казалась очень крутой. А Розана с прошлого года стала боязливой. Она спускалась, медленно, осторожно ступая по полустертой каменистой тропке в глубь карьера.

— А здесь держись, — сказал Мартин, останавливаясь у особенно крутого спуска и подавая ей руку. Потом они сразу расцепили руки, и Мартин снова пошел впереди туда, где тропа уходила под воду, на оказавшееся теперь под толщей воды дно карьера. Вода была темно-серой, свинцовой, беспокойной, поверхность ее была испещрена множеством складок и кругов, встречавшихся и переплетавшихся,

созданных несильным ветерком, который бился в ловушке старого карьера, заставляя воду неустанно лизать его стены.

— Может, мне дальше пойти? — прошептал Мартин, и шепот его разнесся в тишине громким эхом.

— Почему бы и нет?

И он пошел прямо в воду.

— Стой! — крикнула Розана, но вода уже достигала его колен. Потом Мартин обернулся к ней и, вдруг потеряв равновесие, закачался и шлепнулся прямо на уходящую в озеро тропу, обдав Розану душем брызг. Крики и плеск породили многократное эхо, отражавшееся от каменных стен.

— Ты сумасшедший! Ты зачем это сделал?

Мартин сел, снял свои огромные башмаки, вылил из них воду и, стуча зубами, рассмеялся беззвучным смехом.

— Ты зачем это сделал? — повторила Розана.

— Да так, просто захотелось, — ответил он. Потом схватил ее за руку, притянул к себе, заставил опуститься на колени и поцеловал. Поцелуй затянулся. Розана принялась вырываться, потом с силой оттолкнула Мартина и убежала. Но этого он почти не заметил. Он лежал на камнях, у самой кромки воды и смеялся; он чувствовал себя таким же твердым, как эта земля, он даже руку поднять не мог... Потом сел. Рот открыт, взгляд невидящий. Потом не спеша надел свои мокрые тяжелые башмаки и двинулся вверх по тропе. Розана уже стояла на краю карьера и снизу казалась занесенным туда ветром клочком тьмы на фоне огромного движущегося неба.

— Скорей! — крикнула она, и ветер сделал ее голос острым как нож. — Поднимайся скорей, попробуй-ка меня поймать!

При его приближении она бросилась бежать. Он за ней. Бежать в мокрых тяжелых башмаках и штанах было трудно. Однако, пробежав метров сто, он все-таки догнал Розану и попытался перехватить обе ее руки. Ее рассерженное лицо на мгновение мелькнуло совсем близко, потом она вывернулась и снова бросилась бежать по направлению к городу. Мартин помчался следом и бежал, пока совсем не задохнулся. В начале улицы Гульхельма Розана остановилась и подождала его. Потом они рядом пошли по тротуару.

— Ты похож на выловленную из воды драную кошку, — насмешливо, чуть задыхаясь, шепнула она.

— Молчи уж лучше, — в тон ей откликнулся он, — ты на свою юбку посмотри — вся в грязи.

Перед подъездом Мартина они остановились и посмотрели друг на друга; он рассмеялся.

— До свиданья, Роз! — сказал он. Ей захотелось его уку-
сать.

— Пока! — бросила она и двинулась к соседнему подъезду, стараясь идти не слишком медленно и не слишком быстро, ощущая спиной его взгляд, точно прикосновение рук к своему телу.

Не обнаружив брата у него дома, Эката вернулась в гостиницу и стала ждать Мартина; они опять собирались пообедать вместе в «Колоколе». Эката попросила портье сразу послать ее брата наверх, и буквально через несколько минут в дверь постучали. На пороге стоял Стефан Фабр. Он был бледен, даже какого-то сероватого оттенка, лицо измятое, точно неубранная постель.

— Я хотел спросить... — Голос его куда-то ускользнул. — Не пообедаешь ли ты со мной? — пробормотал он, глядя мимо нее в глубь комнаты.

— За мной брат сейчас должен зайти. А вот и он. — Но оказалось, что это управляющий гостиницей, который громко сказал:

— Извините, барышня, но у нас внизу есть гостиная. — Эката тупо смотрела на него. — Вы поймите, барышня, вот вы просили портье послать наверх вашего брата, а он не знает, как ваш брат выглядит. Зато я знаю. Это моя обязанность. Так что для интимных бесед внизу есть очень милая гостиная. Договорились? Вы хотите останавливаться в респектабельной гостинице, а я хочу для вас же сохранить ее респектабельность, понимаете?

Стефан оттолкнул его и с грохотом бросился по лестнице вниз.

— Он же пьян, барышня, — сказал управляющий с упреком.

— Убирайтесь, — и Эката захлопнула дверь у него перед носом. Потом села на кровать, стиснула руки, но сидеть спокойно не могла. Вскочила, схватила пальто, платок, но, так и не надев их, сбежала по лестнице, швырнула ключ на стойку портье, возле которой стоял управляющий с вытученными от изумления глазами, и выбежала на улицу. Улица Ардуре тонула во тьме, круглые островки света были лишь возле уличных фонарей; зимний ветер продувал улицу

насквозь. Эката прошла два квартала на запад, потом перешла на другую сторону и пошла в обратном направлении, миновав целых восемь кварталов. «Белый лев» уже снабдили зимними дверями, и ей не было видно, что там внутри. Ледяной ветер мчался по улицам, словно стремительный горный поток. Когда Эката вышла на улицу Гульхельм, то встретила там Мартина. Он как раз выходил из дому. Они отправились ужинать в «Колокол». Оба были задумчивы и чувствовали себя не в своей тарелке. Сидели притихшие, разговаривали мало и были благодарны друг другу за компанию.

На следующее утро Эката пошла в церковь одна. Сперва она убедилась, что Стефана там нет, и с облегчением опустила глаза. Ее со всех сторон обступили каменные стены церкви, пространство было наполнено безжизненным голосом проповедника, и Эката отдыхала, как судно в гавани. Но, услышав слова пастора: «И подниму я глаза свои на холмы, откуда идет помощь мне», она вздрогнула и еще раз оглядела помещение церкви в поисках Стефана, потихоньку поворачивая голову и скашивая глаза. Самой проповеди она практически не слышала. Однако после окончания службы уходить из церкви ей не хотелось. Она вышла оттуда вместе с последними прихожанами. Пастор задержал ее в дверях и стал расспрашивать о матери. И тут она заметила Стефана: он ждал внизу у крыльца.

Эката подошла к нему.

— Я хотел извиниться за вчерашнее, — выпалил он.

— Ничего страшного.

Он был без шапки, ветер трепал его светлые, но казавшиеся какими-то запыленными волосы, бросал пряди ему в глаза, он хмурился и все пытался убрать волосы с лица.

— Я был пьян, — сказал он.

— Я знаю.

Они пошли по улице рядом.

— Я беспокоилась о тебе, — сказала Эката.

— С какой стати? Я не так уж сильно напился.

— Не знаю.

Они молча перешли на другую сторону улицы.

— Костанту нравится с тобой беседовать. Он мне сам сказал. — Тон у него был неприязненный. Эката сухо ответила:

— Мне тоже нравится разговаривать с ним.

— Всем нравится. Еще бы, ведь это такая честь!

Она промолчала.

— Разве не так?

Она понимала, что это действительно так, но продолжала молчать. Они были уже совсем близко от гостиницы. Стефан остановился.

— Не хочу окончательно портить твою репутацию.

— Не вижу в этом ничего смешного.

— Я и не смеюсь. Я хотел сказать только, что не стану провожать тебя до входа, чтобы не ставить в неловкое положение.

— Мне нечего стыдиться.

— А мне есть чего. И мне стыдно. Ты уж извини меня, Эката.

— Тебе вовсе не обязательно без конца извиняться. — Слушая ее чуть хриловатый голос, он снова вспомнил о горных туманах, о вечерних сумерках, о густых лесах.

— Вот я и не стану. — Он засмеялся. — Ты что, прямо сразу поедешь?

— Придется. Сейчас рано темнеет.

Оба колебались.

— Ты не можешь оказать мне одну услугу?

— Конечно, могу.

— Присмотри, пожалуйста, как мою лошадь запрягают, а? В прошлый раз мне минут через пятнадцать пришлось останавливаться и подтягивать всю упряжь. Сделаешь? А я пока соберусь.

Когда Эката вышла из гостиницы, готовая повозка стояла у крыльца, а Стефан сидел на козлах.

— Я тебя провожу, можно? Прокачусь с тобой немного. — Она кивнула, он подал ей руку, помогая сесть в повозку, и они поехали по улице Ардуре на запад, через карст.

— Ох уж этот чертов управляющий! — сказала Эката. — Все утро возле моей комнаты шаркал и гнусно улыбался...

Стефан рассмеялся, но ничего не сказал. Он казался настороженным, погруженным в себя. Дул холодный ветер. Старенький чалый постукивал копытами по дороге. Прошло несколько минут, и Стефан наконец объяснил свое молчание:

— Я ведь никогда раньше лошадей не правил.

— Я тоже. Только вот этим чалым. Он спокойный, от него никаких неприятностей.

Ветер свистел на бескрайней равнине, покрытой сухой травой, все пытался сорвать с Экаты ее черный платок, упорно швырял Стефану в глаза пряди светлых волос.

— Ты только посмотри! — тихо проговорил Стефан. — Каких-то пять сантиметров жалкой земли, а под ней сплошной камень! Хоть весь день в любом направлении можешь ехать — везде тот же известняк и тонкий слой земли сверху. Знаешь, сколько всего деревьев в Кампе? Пятьдесят четыре. Я их специально пересчитал. И больше ни одного деревца до самых гор. Ни единого. — Стефан разговаривал точно с самим собой, голос его звучал негромко, чуть суховато, мелодично. — Когда я ехал на поезде в Браилаву, то все высматривал первое новое дерево, пятьдесят пятое. Им оказался огромный дуб возле одной из ферм в предгорьях. А потом вдруг деревья появились повсюду, их полно во всех горных долинах, и я уже не успевал считать. Но мне бы очень хотелось попробовать пересчитать их.

— Видно, тебе тут просто опротивело.

— Не знаю. Что-то, пожалуй, опротивело. Я чувствую себя страшно маленьким, вроде муравья, даже еще меньше, едва разглядеть можно. И вот я ползу куда-то по огромному полу, но так никуда и не приползаю — куда же тут приползешь? Вот посмотри на нас со стороны: мы ведь с тобой тоже ползем сейчас по полу без конца и без края... А вон над нами и потолок... Похоже, с севера идет снеговая туча.

— Надеюсь, до вечера снега не будет.

— Слушай, а как вам там живется, на ферме?

Она подумала, прежде чем ответить, потом тихо ответила:

— Там жизнь очень замкнутая.

— Твой отец такой жизнью доволен?

— По-моему, он в Кампе никогда себя нормальным человеком не чувствовал.

— Есть люди, которые, видно, созданы из земли, из глины, — сказал Стефан. Голос его, как всегда, легко ускользал за пределы слышимости, точно ему было все равно, слышат ли его. — А есть такие, кто сделан из камня. Те, кто способен нормально жить в Кампе, сделаны из камня. — «Такие, как мой брат», — подумал он, но вслух этого не сказал, однако она все равно услышала.

— Почему ты не уедешь отсюда?

— То же самое и Костант говорит. Легко сказать. Видишь ли, если бы Костант отсюда уехал, он бы и себя с

собой захватил. И я тоже никуда от себя не денусь... Так что не важно, куда именно переедешь. Все равно от себя не уйти. Да еще не известно, с чем встретишься. — Он направил лошадь прямее. — Я, пожалуй, здесь спрыгну. Мы, должно быть, уже километров пять проехали. Посмотри-ка, вон там наш муравейник. — С высоты козел они, оглянувшись, увидели темное пятно города на бледном фоне равнины: шпиль собора казался не больше булавочной головки; окна домов и слюдяные вкрапления на кровлях поблескивали в редких лучах зимнего солнца; далеко за городом под высоким, затянутым темно-серыми тучами небом ясно видны были очертания гор.

Стефан передал вожжи Экате.

— Спасибо за прогулку, — сказал он и выпрыгнул из повозки.

— Тебе спасибо за компанию, Стефан.

Он махнул на прощанье рукой, и Эката поехала дальше. Она чувствовала, что жестоко бросать его посреди карста и заставлять возвращаться пешком, но, когда оглянулась, Стефан был уже далеко и все больше удалялся от нее, быстро шагая по сужающимся к горизонту колеям под бескрайними небесами.

Она добралась до фермы еще до наступления темноты, в воздухе уже кружились легкие снежинки — первый снег наступающей зимы. Из окошка кухни она весь прошедший месяц видела холмы, затянутые пеленой дождя. А в первые дни декабря, выглянув из окна спальни ясным утром, наступившим после обильных снегопадов, она увидела белую равнину и нестерпимо сверкающие горы далеко на востоке. Больше поездок в Сфарой Кампе не было. За покупками дядя Экаты ездил в Верре или Лотиму, унылые деревушки, похожие на раскисший под дождем картон. На равнине после снегопадов или затяжных дождей было слишком легко сбиться с пути, потеряв колею.

— И куда ты тогда заедешь? — спрашивал Экату дядя.

— Сперва скажи, куда ты сам заехал? — говорила ему Эката тихим сухим голосом, похожим на голос Стефана. Но дядя не придавал ее словам значения.

На Рождество, взяв лошадь напрокат, приехал Мартин. Но уже через несколько часов заскучал и стал приставать к Экате с вопросами.

— А что это за штуковину тетя носит на шее?

— Это луковица, надетая на гвоздик. Помогает от ревматизма.

— О Господи! — Эката засмеялась. — Да тут у них все насквозь луком пропахло и старым фланелевым бельем! Неужели ты не чувствуешь?

— Нет. А в морозные дни они даже вьюшки в печах закрывают. Считают, пусть лучше дымно, только не холодно.

— Знаешь, Эката, возвращайся-ка ты в город со мной вместе!

— Мама нездорова.

— Но ей ведь уже ничем не поможешь.

— Да. Только я буду чувствовать себя последней дрянью, если брошу ее одну без особых на то причин. Сперва — самое главное. — Эката похудела; скулы выступали сильнее, глаза провалились и потемнели. — У тебя-то как дела? — поспешила она перевести разговор на другую тему.

— Нормально. Мы довольно долго не работали — из-за снегопадов.

— Слушай, а ты здорово вырос!

— Ага.

Мартин уселся на жесткий диван в их деревенской гостиной, и диван жалобно скрипнул под его крупным телом почти взрослого мужчины; да и держался Мартин спокойно и уверенно, как взрослый.

— Ты уже с кем-нибудь встречаешься?

— Нет. — И оба засмеялись. — Послушай, я тут видел Фабра, и он просил тебе передать пожелание весело провести зиму. Ему лучше. Он теперь выходит — с тросточкой.

На другом конце комнаты промелькнула их двоюродная сестра — в старых мужских ботинках, для тепла набитых соломой. В этих же башмаках она шныряла туда-сюда и по грязному, покрытому льдом и снегом двору фермы. Мартин посмотрел ей вслед с отвращением.

— Я с ним довольно долго беседовал. Недели две назад. Надеюсь, к Пасхе он действительно вернется в карьер, как обещают. Он ведь десятник в той бригаде, где я работаю, ты, наверно, знаешь? — Глядя на брата, Эката поняла, в кого именно он влюблен.

— Я рада, что он тебе нравится.

— Да в Кампе больше ни одного мужика нет, чтобы ему хоть бы по плечо был! Тебе ведь он тоже нравится, верно?

— Ну конечно!

— Знаешь, когда он спросил про тебя, я подумал...

— Ты неправильно подумал, — оборвала его Эката. — Может быть, все-таки перестанешь совать нос в чужие дела, Мартин?

— Я же еще ничего не сказал! — сделал он слабую попытку защититься; он по-прежнему испытывал благоговейный страх перед старшей сестрой. И хорошо помнил, как высмеяла его Розана Фабр, когда он попытался посплетничать с ней насчет Костанта и Экаты. Это было несколько дней назад, пронзительно светлым зимним утром. Розана развешивала на заднем дворе простыни, а он перевесился через забор, чтобы поболтать с ней. «Господи, ты что, с ума сошел? — издевалась над Мартином Розана, а мокрые простыни шлепали ее по лицу, ветер трепал волосы. — Эти двое? Да никогда в жизни!» Он попробовал спорить, но Розана и слушать не захотела. «Костант ни на ком из здешних жениться не намерен. Он себе невесту выберет в дальних краях, может быть, в Красное, а может, женится на теперешней жене управляющего или на королеве — во всяком случае, на красавице, у которой будут и слуги, и все такое. Просто она в один прекрасный день пойдет по улице Ардуре и увидит Костанта, который тоже совершенно случайно ей навстречу попадет, — раз и готово!»

«А что готово-то?» — спросил он, совершенно замороженный ее уверенностью профессионального предсказателя судеб. «Не знаю! — ответила она и накинула на веревку еще одну простыню. — Может, они убегут вместе. Может, что-то еще. Я знаю только, что Костант свою судьбу знает заранее и намерен ждать». «Ну хорошо, раз ты такая умная, скажи, у тебя-то судьба какая?» Розана во весь рот ухмыльнулась, сверкнула темными глазами из-под черных длинных ресниц и прошипела, как кошка: «Ох уж эти мне мужчины!», а белоснежные в солнечных лучах простыни и рубахи хлопали и бились вокруг нее на ветру.

Январь укрыл угрюмую равнину снегами, потом наступил февраль, принес серые тучи, день за днем медленно плывшие с севера на юг: тяжелая и долгая была зима. Костант Фабр иногда ездил с кем-нибудь на карьеры Чорина, примыкавшие к городу с севера; он стоял, наблюдая за работой бригад и непрерывно тянущейся вереницей вагонов, а кругом лежали белые снега да тускло белел на свежих срезях известняк в карьере. Каждый считал своим долгом подойти к Костанту, высокому мужчине, опиравшемуся на

трость, и спросить, как идут дела и когда он собирается снова приступить к работе.

— Говорят, еще несколько недель подождать нужно, — обычно отвечал он. Компания по требованию страховых агентов сохраняла за ним место до апреля. Костант чувствовал себя практически здоровым, он уже мог дойти от карьера до города, не опираясь на трость, и испытывал горькое раздражение от того, что сидел без дела. Вернувшись в город, он чаще всего шел в «Белого льва» и сидел там в дымном теплом полумраке, пока не начинали приходить другие рабочие; зимой они кончали работу в четыре из-за обильных снегопадов и ранних сумерек. Все это были крупные серьезные мужчины; рядом с ними даже воздух, казалось, нагревался от жара их могучих тел, и над головами рабочих повисал парок; слышалось непрерывное гудение их грубых голосов. В пять в «Белом льве» появлялся Стефан, худой, подвижный, в белой рубашке и легких туфлях — странноватая фигура в здешней компании. Обычно Стефан подсаживался к Костанту, но отношения у них были довольно натянутые. Оба словно чего-то нетерпеливо ждали.

— Добрый вечер, — улыбаясь, сказал, проходя мимо их столика, Мартин Сачик, большой, сильный, усталый парень. — Добрый вечер, Стефан.

— Для тебя, паренек, я господин Фабр, — сказал Стефан своим тихим голосом, который тем не менее тоже выделялся на убаюкивающем фоне густых, гудящих точно в улье голосов рабочих. Мартин, однако, решил не оглядываться и не обращать на его слова внимания.

— Ты чего к этому мальчишке цепляешься?

— А не желаю, чтобы меня называл по имени каждый щенок с карьера. Я и не каждому взрослому мужику это позволяю. Вы что, меня за городского дурачка держите?

— Вообще-то порой ты ведешь себя именно так, — уронил Костант и допил свое пиво.

— Хватит, наслушался я твоих советов.

— А с меня хватит твоего самодовольства. Ступай в «Колокол», если здешняя компания тебя не устраивает.

Стефан встал, швырнул на столик деньги и ушел.

Было первое марта; северную половину неба над городом сплошь затянули тяжелые тучи; кромка этой облачной гряды казалась серебристо-голубой, а за ней, на юге, началось совершенно чистое голубое небо, в нем над запад-

ными холмами висел месяц, похожий на лунку ногтя, и рядом сияла вечерняя звезда. Стефан молча шел по улицам, в спину ему дул ветер, который тоже молчал. Дома его гнев, казалось, сам принял форму комнаты, прямоугольного темного затхлого помещения, где полно столов и стульев с острыми краями и где светилась желтоватым светом керосиновая лампа. И вдруг эта лампа выскользнула у него из рук, точно живая, и разлетелась вдребезги, ударившись об угол стола. Стефан на четвереньках собирал осколки стекла, когда вошел его брат.

— Почему ты меня преследуешь?

— Я пришел к себе домой.

— Может, мне в таком случае вернуться в «Белого льва»?

— Да иди ты, черт бы тебя побрал, куда хочешь! — Костант сел и вытащил вчерашнюю газету. Стефан, по-прежнему стоя на коленях и держа на ладони осколки стекла, заговорил первым:

— Послушай. Я знаю, почему ты хочешь, чтобы я гладил младшего Сачика по головке. Во-первых, он на тебя как на Господа Бога глядит, и это еще понятно. Но, во-вторых, у него есть сестра. А ты бы хотел, чтобы все их семейство стало ручным, верно? Чтобы, как и все прочие, они ели у тебя из рук, да? Ну так вот, пусть я буду тем единственным, кто этого не делает и делать не будет, и всю игру тебе испорчу. — Он встал, пошел к помойному ведру, которое стояло на кухне рядом с грудой скопившегося за неделю и приготовленного для стирки грязного белья, и выбросил осколки в ведро. Некоторое время он постоял там, рассматривая ладонь: осколочек стекла поблескивал, впившись в сустав указательного пальца. Он, видно, сжал руку, разговаривая с Костантом. Стефан вытащил осколок и сунул кровоточащий палец в рот. В кухню вошел Костант.

— Какую игру ты имел в виду, Стефан? — спросил он.

— Ты прекрасно понимаешь, что я имел в виду.

— Вот и скажи внятно.

— Я имел в виду ее, Экату. Кстати, зачем она тебе? Она ведь тебе не нужна. Тебе ничего не нужно. Ты же у нас настоящий оловянный божок.

— Заткнулся бы ты.

— Нечего мне приказывать! Это я, черт побери, и сам умею! Но и от нее ты отстань. Она достанется мне, а не тебе! Я украду ее у тебя из-под самого носа, возьму прямо у тебя на глазах... — Огромные руки Костанта сжали плечи

Стефана и так встряхнули его, что голова чуть не оторвалась. Он вырвался и ударил Костанта кулаком прямо в лицо, но при этом и сам ощутил жесткий удар и отлетел назад, точно вагонетка, нагнавшая остальной состав, споткнулся и неловко упал куда-то за груды грязного белья. Голова его с глухим стуком ударилась об пол — точно нечаянно уронили дыню.

Костант стоял спиной к плите и рассматривал костяшки пальцев на своей правой руке; потом посмотрел на Стефана, чье лицо вдруг покрылось мертвенной бледностью и стало странно серьезным. Костант быстро вытащил из стопки белья чистую наволочку, намочил ее в раковине и опустился на колени рядом со Стефаном. Сделать это было непросто: правая нога у него все еще не гнулась. Костант стер тонкую темную струйку крови, стекавшую у Стефана изо рта. Лицо брата исказилось, он вздохнул, открыл глаза и посмотрел на склонившегося над ним Костанта почти бессмысленно, с трудом узнавая его. Так смотрит порой грудной ребенок.

— Вот так-то лучше, — сказал Костант. Он тоже был бледен.

Стефан приподнялся, опершись на одну руку.

— Я упал? — удивленно спросил он слабым голосом. Потом внимательно посмотрел на Костанта, и лицо его снова стало напряженным.

— Стефан...

Стефан встал — сперва на четвереньки, потом выпрямился во весь рост. Костант взял его за руку, но он руку отнял, рванулся к двери и выбежал на улицу. Стоя на пороге, Костант видел, как Стефан перемахнул через ограду и, срезая путь, длинными неровными прыжками бросился через двор вдовы Катални на улицу Гульхельма. Костант с застывшим печальным лицом еще несколько минут постоял в дверях, потом тоже вышел на улицу и торопливо зашагал в ту же сторону. Черные валы туч уже закрывали почти все небо, лишь на самом юге виднелась тоненькая голубовато-зеленая полоска. Луна и звезды тоже исчезли. Костант шел по старой колее к Западному Карьеру. Впереди никого не было видно. Стоя на краю карьера и глядя на воду, спокойную, подернутую пеленой, словно отражавшую снег, который должен был вот-вот пойти, он один раз громко позвал: «Стефан!» Легкие жгло, горло пересохло — он зря так спешил: ответа не последовало. Здесь сейчас было не

время и не место окликать брата по имени. Это все равно помочь не могло. Костант повернулся и пошел обратно. Теперь он шел медленно, чуть прихрамывая.

— Дайте мне лошадь, хочу в Колле съездить, — сказал Стефан конюху в платной конюшне. Тот уставился на его разбитую, перепачканную кровью физиономию.

— Уже темно. На дорогах скользко, все обледенело.

— У вас же должны быть лошади с шипастыми подковами. Я заплачу вдвойне.

— Ну ладно...

Сев на лошадь, Стефан сразу повернул направо, на улицу Ардуре, то есть в сторону Верре, а не Колле. Конюх закричал что-то ему вслед. Но Стефан лишь пришпорил лошадь, и та пошла рысью, а потом, когда мощеная улица кончилась, понеслась галопом. Полоску голубовато-зеленого неба на юго-западе тоже затянули тучи. Стефану вдруг показалось, что он сползает куда-то вбок, и он сильнее ухватился за переднюю луку седла, но поводья натягивать не стал. Когда лошадь совсем выдохлась и сама пошла шагом, стало уже совсем темно — и на земле, и на небе. В тишине всхрапнула лошадь, скрипнуло седло, в замерзшей траве просвистел ветер. Стефан спешил и внимательно посмотрел вокруг. Лошадь, в общем, все время держалась старой, проложенной вагонетками колеи и сейчас стояла метрах в полутора от нее. Лошадь и человек двинулись дальше; сидя в седле, человек не мог видеть колею, так что позволил лошади самой выбирать дорогу через равнину.

Ехали они долго; вдруг в покачивающейся тьме что-то легонько коснулось лица Стефана.

Он ощупал щеку. Правая челюсть опухла и одеревенела, а правая рука, сжимавшая вожжи, заоченела настолько, что когда он попытался перехватить вожжи левой рукой, то даже не понял, шевелятся у него пальцы или нет. Он был без перчаток, хотя и в зимней куртке, которую так и не успел снять, когда — все это случилось очень давно — пришел домой, а потом разбил керосиновую лампу. Держа вожжи левой рукой, он сунул правую за пазуху, чтобы немного отогрелась. Лошадь послушно шла шагом, понутив голову. И снова что-то легонько коснулось лица Стефана — словно шелковистой кисточкой провели по опухшей щеке и разбитой воспаленной губе. Самых редких снежных хлопьев он видеть не мог. Их прикосновение было нежным и совсем

не холодным. Он даже ждал этих редких ласковых прикосновений. Стефан снова перехватил вожжи правой рукой, а левой ухватился за теплую, жесткую, чуть влажноватую конскую гриву. Лошадь его прикосновение явно успокоило. Пытаясь хоть что-нибудь увидеть впереди, Стефан понял только, где находится горизонт, а может, ему и это почудилось; сама же равнина словно куда-то исчезла. Исчезли и небеса над головой. Лошадь мягко ступала во тьме, внутри ее, сквозь ее.

Изредка слово «заблудился» высвечивалось само собой, вспыхивало в темноте, словно зажженная спичка, и тогда Стефан пытался остановить лошадь, но лошадь продолжала идти. И Стефан отпустил вожжи, положил уставшую руку на переднюю луку седла и позволил себя везти.

Вдруг лошадь вскинула голову и даже пошла рысцой. Стефан вцепился в ее влажную гриву и ошалело заморгал: сквозь намерзшие на ресницах льдинки он увидел паутину света. Свет постепенно приобретал все более отчетливую форму прямоугольника, становился желтоватым, и наконец Стефан отчетливо разглядел окно дома. Интересно, кто это живет в полном одиночестве посреди бескрайней заснеженной равнины? Потом по обе стороны выросли неясные очертания каких-то стен — то ли сараи и амбары, то ли целая улица домов. Оказалось, что это Верре. Лошадь остановилась и так тяжело вздохнула, что подпруга громко скрипнула. Стефан уже не помнил, как уехал из Сфарой Кампе; потрясенный, он продолжал сидеть на потной лошади посреди погруженного во тьму Верре. Где-то на втором этаже светилось окно. Падали редкие крупные хлопья снега, который точно бросали сверху пригоршнями. На земле снега оставалось мало, он таял практически на лету, этот легкий весенний снежок. Стефан подъехал к тому дому, где горел свет, и крикнул:

— Скажите, где дорога на Лотиму?

Дверь в доме открылась, в полосе света посверкивая кружились снежинки.

— Вы доктор?

— Нет. Как мне добраться до Лотимы?

— Следующий поворот направо. Если доктора встретите, скажите, чтоб поторопился!

Лошадь покидала селение неохотно, она уже хромала на одну ногу, а вскоре захромала и на вторую. Стефан по-прежнему сидел прямо, высматривая первые проблески рас-

света, который, по его расчетам, должен был вскоре наступить. Теперь он ехал на север, ветер швырял снег прямо ему в лицо, слепя и не давая ничего разглядеть, хотя в окружавшей его со всех сторон тьме и так видно было очень плохо. Началась подъем, потом дорога пошла вниз, потом снова поползла вверх. Лошадь остановилась и, поскольку Стефан сидел без движения, свернула влево, сделала несколько неуверенных шагов, снова остановилась, вся дрожа, и заржала. Стефан спешил и сперва упал на четвереньки: ноги совершенно заоченели и не желали слушаться. Возле дорожки, ведущей куда-то вбок, виднелась изгородь покосотины. Он оставил лошадь на дорожке, а сам пошел к дому с темными стенами и заснеженной крышей, неожиданно возникшему перед ним. Он отыскал дверь, постучал, подождал немного и снова постучал; зазвенело стекло в окошке, и прямо у него над головой раздался голос насмерть перепуганной женщины:

— Кто там?

— Это ферма Сачиков?

— Нет! А кто это?

— Я что, мимо их дома проехал?

— А вы случайно не доктор?

— Доктор.

— Их дом следующий, но только слева от дороги. Дать вам фонарь, доктор?

Женщина спустилась вниз и дала ему фонарь и спички; она держала в руке свечу, свет которой сперва почти ослепил его, так что лица ее он так и не разглядел.

Теперь он повел лошадь в поводу, держа в левой руке фонарь. Лошадь, спотыкаясь, послушно и терпеливо шла за ним, ее влажные темные глаза поблескивали в свете фонаря, и у Стефана вдруг от жалости к ней защемило сердце. Они шли очень медленно, и он все высматривал вдали первые проблески зари.

Стефан чуть было не прошел мимо дома, когда тот вдруг мелькнул где-то слева, и снег, прибитый к его северной стене ветрами, отразил свет фонаря. Стефан развернул лошадь и повел обратно. Взвизгнули столбики ворот. Вокруг толпились темные сараи. Он постучал, подождал, снова постучал. Где-то в доме мелькнул огонек, дверь отворилась, и снова в чьей-то руке на уровне его глаз возникла свеча, на время ослепив его.

— Кто это?

— Это ты, Эката?

— Кто это? Стефан?

— Я, должно быть, пропустил еще один дом, тот, что посредине...

— Входи же...

— У меня лошадь. Это конюшня?

— Нет, вон там, левее...

Он уже вполне пришел в себя, когда отыскал для своей лошади свободное стойло, стащил у чалого Сачиков немного сена и воды, нашел какой-то мешок и немного вытер коня; ему казалось, что он со всем этим справился отлично, однако, подойдя снова к дому, почувствовал, как дрожат от слабости колени, и с трудом сумел рассмотреть комнату, куда Эката втащила его за руку. Да и саму Экату он видел неясно. Она была в пальто, накинутом поверх чего-то белого, наверное ночной сорочки.

— Ох, парень, — сказала она, — ты что же, сегодня вечером из Кампе выехал?

— Бедная старая лошадь, — сказал он и улыбнулся. На самом деле он произнес эти слова вслух немного позже, сперва ему это лишь показалось: они все время вертелись у него в голове. Он присел на диван, и Эката сказала ему:

— Посиди минутку. — Потом вроде бы она на какое-то время вышла из комнаты, а потом вдруг в руки ему сунули чашку с чем-то горячим. Он глотнул, обжег рот, и этот глоток горячего бренди настолько оживил его, что он сумел наконец разглядеть Экату: она ворошила почти остывшие угли, потом раздула огонь и подбросила дров.

— Видишь ли, мне хотелось поговорить с тобой, — начал Стефан и мгновенно уснул.

Эката сняла с него башмаки, положила его ноги на диван, достала одеяло, укутала его, поворошила дрова, чтоб горели веселей, но он не шелохнулся. Она погасила лампу и в темноте скользнула наверх. Ее кровать стояла у окна, и она из своей мансарды хорошо видела и слышала, как за окном в темноте идет обильный мягкий снег.

В дверь стучали; Эката резко приподнялась и села в постели; стены и потолок мансарды были залиты ровным отраженным от свежевывавшего снега светом. В дверь заглядывал дядя в желтовато-белом шерстяном нижнем белье. Волосы у него вокруг лысой макушки стояли дыбом, как тонкая проволока. Белки глаз были того же цвета, что и нижнее белье.

— Кто это там, внизу?

Чуть позже Эката потихоньку объяснила Стефану, что нужно говорить: он ехал в Лотиму по делам «Чорин компани» и выехал он из Кампе еще днем, однако пришлось задержаться, потому что лошади в подкову попал камень, а потом еще и снег повалил.

— Но к чему все это вранье? — спрашивал он смущенно; сейчас он был похож на ребенка, сонного и усталого.

— Мне же нужно было им что-то сказать.

Он почесал в затылке.

— А когда я сюда добрался?

— Ночью, часа в два.

Он вспомнил, как надеялся на скорый рассвет. Все это было очень, очень давно.

— А на самом-то деле зачем ты приехал? — спросила Эката. Она убирала после завтрака со стола; ее лицо казалось суровым, хотя голос звучал очень мягко.

— Я подрался, — сказал Стефан. — С Костантом.

Она замерла, держа в каждой руке по тарелке и внимательно глядя на него.

— Что, думаешь, не ударил ли я его слишком сильно? — Стефан рассмеялся. Голова была пустой и легкой до головокружения, в теле — свинцовая тяжесть усталости. — Нет, это он из меня дух вышиб. Неужели ты думаешь, что я мог бы с ним справиться?

— Не знаю, — печально сказала Эката.

— Я в драках всегда проигрываю, — сказал Стефан. — И убегаю.

Подошел глухой отец Экаты, одетый по-уличному — в тяжелых башмаках и в старой кацавейке, сшитой из одеяла; по-прежнему шел снег.

— А сегодня вы до Лотимы не доберетесь, господин Стефан, — с каким-то злобным удовлетворением сообщил он; голос его звучал как всегда громко и монотонно. — Томас говорит, лошадка ваша на все четыре захромала. — Это обстоятельство уже обсуждалось за завтраком, но глухой тогда не расслышал.

Он так и не спросил, как себя чувствует Костант, а когда наконец все-таки задал этот вопрос, то в голосе его звучало то же злобное удовлетворение:

— А братец ваш, небось, опять на каменоломнях вкалывает? — Он и не пытался выслушать ответ.

Большую часть дня Стефан продремал у огня. Лишь кузина Экаты проявила по поводу его появления в доме какое-то любопытство. Когда они с Экатой готовили ужин, кузина сказала:

— Говорят, его брат — очень красивый мужчина.

— Костант? Самый красивый из всех, кого я видела, — улыбнулась Эката, кроша луковицу.

— Этого-то я, пожалуй, красивым не назвала бы, — осторожно продолжала кузина.

Лук щипал глаза; Эката рассмеялась, вытерла слезы, высморкалась и покачала головой.

— Да уж, — сказала она.

После ужина Эката вынесла помои и объедки свиньям, вернулась на кухню и увидела там Стефана. Она была в отцовской куртке, в башмаках на деревянной подошве и все в том же черном платке. За нею следом на кухню ворвался морозный ветер, и ей не сразу удалось захлопнуть дверь.

— Разъяснило, — сказала она Стефану. — Но ветер теперь с юга дует.

— Эката, ты поняла, зачем я сюда приехал?

— А ты сам-то понял? — откликнулась она, глядя на него снизу вверх. Потом прошла и поставила на место помойное ведро.

— Да.

— Ну тогда, наверно, и я поняла.

— Да тут у вас просто поговорить негде! — вдруг рассердился Стефан: дядины деревянные башмаки загрохотали на пороге кухни.

— У меня есть своя комната, — с раздражением бросила Эката, сразу вспомнив, какие тонкие там стены, а за стенкой спит кузина, а напротив — ее родители... Она сердито нахмурилась и сказала: — Нет. Подождем до завтрашнего утра.

Рано утром кузина Экаты потихоньку вышла из дому и куда-то быстро пошла по дороге. Через полчаса она уже возвращалась обратно. Ее набитые соломой башмаки чавкали в снежной каше и грязи. Жена соседа, жившего от них через один дом, рассказала: «Ну так он доктором назвался, а я еще его спросила, кто же это у них заболел, и фонарь ему дала, темень такая, что лица-то мне его не разглядеть было, я и решила, это доктор, так ведь он и сам так сказал...» Кузина Экаты с удовольствием повторяла про себя слова соседки и прикидывала, когда лучше прищучить Сте-

фана и Экату — при свидетелях или наедине, — как вдруг из-за поворота заснеженной, сверкавшей на солнце дороги рысью выбежали две лошади: наемная из городской конюшни и их старый чалый. На них верхом сидели Стефан и Эката; оба смеялись.

— Куда это вы собрались? — крикнула им, вся задрожав, кузина.

— Подальше отсюда, — откликнулся Стефан. Молодые люди проехали мимо, вода в лужах веером разлеталась под копытами их коней и сверкала на мартовском солнце алмазными брызгами. Вскоре оба всадника скрылись вдаль.

НЕДЕЛЯ ЗА ГОРОДОМ

В Кливленде, штат Огайо, было солнечное утро 1962 года, а в Красное шел дождь, и улицы, зажатые между серыми стенами домов, были полны народа.

— Черт, прямо за воротник льет, — пожаловался Казимир, но его приятель в соседней кабинке уличного ватерклозета не расслышал — был увлечен собственным монологом:

— Историческая необходимость — это солицизм чистойшей воды! Ведь история не что иное, как то, чему необходимо было случиться. Однако и расширять значение этого понятия тоже нельзя. Кто его знает, что, собственно, случится дальше...

Оба вышли на улицу; Казимир, на ходу застегивая брюки, заметил мальчика, который не сводил глаз с огромного, метра два с половиной длиной черного футляра, похожего на гроб и прислоненного к стене ватерклозета.

— Что это? — спросил мальчик, и Казимир пояснил:

— Здесь тело моей двоюродной прабабушки. — Он подхватил «гроб» и вслед за Стефаном Фабром скрылся в пелене дождя.

— Фарс! Детерминизм — это фарс. Все что угодно, лишь бы не испытывать благоговейного страха. Нет, вы покажите мне истоки, семя всего этого? — Стефан остановился и ткнул пальцем в грудь Казимиру. — Хорошо, я покажу его вам: это яблочное зернышко. Но могу ли я утверждать, что из него вырастет яблоня? Нет! Мы полагаем, что существует

Закон, поскольку не существует свободы. Однако никакого Закона тоже не существует. А существуют развитие и гибель, радость и ужас, и существует бездна — все остальное выдумываем мы. Так, сейчас мы опоздаем на поезд.

Они принялись яростно проталкиваться сквозь толпу на улице Тийпонтий. Дождь полил вовсю. Стефан Фабр решительно продвигался вперед, размахивая своим портфелем; губы строго сжаты, бледное лицо мокро от дождя.

— Господи, и почему ты не взял с собой вместо этого гроба какое-нибудь пикколо? Дай-ка я понесу, — и он отобрал у Казимира футляр, когда тот в очередной раз столкнулся со спешившим на автобус чиновником.

— Наука, влачащая бремя Искусства, — провозгласил Казимир. — Что, тяжело? — Однако его друг, нахмурившись, волок футляр дальше, хотя, к тому времени как они добрались до Западного вокзала, здорово задыхался.

По платформе, окутанной клубами паровозного дыма и пеленой дождя, они уже бежали вместе с другими пассажирами, прислушиваясь к пронзительным свисткам и гремевшему из динамиков голосу, что-то назойливо повторявшему на санскрите. Совершенно без сил они ввалились в первый же вагон, но все купе оказались на удивление пусты. Видимо, вот-вот отправиться должен был совсем другой поезд — битком набитая пригородная электричка. Минут десять они сидели совершенно неподвижно.

— Что, кроме нас больше пассажиров нет? — мрачно спросил Стефан Фабр, подойдя к окну.

Потом поезд один раз громко свистнул, и стены за окном поплыли назад. Капли дождя ударялись о стекла, оставляя на них косые дорожки. По причудливо переплетающемуся множеству рельсов они взлетели на мост; отсюда оба молодых человека могли заглянуть в окна чужих спален, мимо пролетали кирпичные стены жилых домов с огромными надписями на них. Потом вдруг все исчезло, утонуло во тьме дождливого вечера, уплыло куда-то на восток. Теперь видна была только гряда холмов, казавшихся черными на фоне бесцветного, начинающего очищаться от туч неба.

— Ну вот мы и за городом, — сказал Стефан Фабр.

Он вытащил из портфеля, из-под стопки носков и маек журнал по биохимии, надел очки в темной оправе и погрузился в чтение. Казимир откинул прилипшие ко лбу мокрые волосы, прочитал надпись на оконном стекле — «Не

высовывайтесь!» — осмотрел трясущиеся на ходу стены купе, полюбовался дорожками, которые оставляли на стекле дождевые капли, потом задремал и в ужасе проснулся: ему приснилось, что вокруг него рушатся стены. Поезд только что отошел от Окаца. Стефан сидел, глядя в окошко, бледный, черноволосый, своей отрешенностью подтверждая реальность привидевшегося Казимиру кошмара.

— Ничего не разглядеть, — сообщил Стефан. — Ночь кругом. Только за городом еще и осталась настоящая темная ночь. — Он смотрел куда-то вдаль, всматривался сквозь собственное отражение в стекле в ночь, наполнившую его глаза благословенной тьмой.

— Итак, мы с тобой едем на поезде, идущем в Айзнар, — сказал Казимир, — но мы не можем быть уверены, что он идет именно туда. С тем же успехом он может идти и в Пекин. Он может также сойти с рельсов, и тогда всем нам конец. А если мы все-таки приедем в Айзнар? Что такое Айзнар? Просто слово и ничего больше. Господи, какой мрак! — Казимир снова вдруг вспомнил рушащиеся стены из своего кошмара.

— Напротив, твои рассуждения должны вселять бодрость, — откликнулся его друг, — ибо нужен немалый труд, чтобы наш мир не рассыпался, особенно если смотришь на него под таким углом. И труд этот безусловно имеет смысл. Строить города, поддерживать кров дома своего верностью... Нет, не верой. Верностью. — Стефан снова уставился во тьму за окном сквозь отражавшиеся в стекле собственные глаза. Казимир протянул ему половину шоколадки, похожей на глину. Они подъезжали к Айзнару.

Дождь поливал усыпанные золотистыми листьями сикомор тротуары; улицы были освещены плохо; автобус, идущий до Вермейра и Превне, поджидал пассажиров под промокшими насквозь деревьями. Футляр устроили на заднем сиденье. В проходе цыпленок со шнурком на шее скреб пол в поисках зерен, другой конец шнура держала в руке какая-то женщина с копной курчавых волос; пьяненький рабочий с фермы громко разговаривал с водителем автобуса. Автобус, постанывая, выезжал из Айзнара на южную дорогу, погружаясь в деревенскую ночь, ту самую благословенную ночь и темноту, которой уже не бывает в городе.

— ...А я и говорю ему: ты ведь не знаешь, что завтра случится...

— Послушай, — сказал Казимир Стефану, — если Вселенная бесконечна, то значит ли это, что все, способное в принципе в ней случиться, уже где-то случается — не здесь, не с нами, в другом временном измерении?

— ...А он мне: в субботу, говорит, в субботу...

— Не знаю. Наверное. Неизвестно ведь, что именно в ней возможно. И слава Богу. Если б мы это знали, я бы, пожалуй, застрелился, а ты?

— ...возвращаюсь, в субботу, а я ему: в субботу, значит, черт бы ее побрал...

В Вермейре развалины главной башни замка были мокры от дождя; здесь пьяный сошел, и в автобусе наконец стало тихо. Стефан Фабр помрачнел, нахохлился, сообщил, что у него болит горло, и погрузился в некрепкий сон смертельно уставшего человека. Голова у него раскачивалась в такт бесконечным ухабам на неровной, бегущей по предгорьям дороги, а автобус все стремился на запад, пробивая фарами туннель света в крошечной черноте. Вдруг над дорогой склонилось какое-то огромное дерево, точно предлагая автобусу убежище. Это был старый дуб, и автобус остановился под ним. Двери открылись, в салон ворвался свежий воздух, замелькали огоньки фонариков, форменные ботинки, фуражки. Откидывая со лба светлые волосы, Казимир пробормотал:

— Ну вот, вечно одно и то же. Понимаешь, здесь всего километров восемь до границы. — Молодые люди вытащили из нагрудных карманов документы.

— Так. Фабр Стефан, город Красной, улица Томе, 136. Студент, МР 64100282А. Аугескар Казимир, город Красной, улица Сорден, 4. Студент, МР 80104944А. Куда направляетесь?

— В Превне.

— Оба? По служебным делам?

— В отпуск. Хотим недельку в деревне пожить.

— А это что такое?

— Футляр для виолончели.

— А что в нем?

— Виолончель.

Футляр поставили на пол, открыли, снова закрыли, вытащили из автобуса и положили на землю. Потом снова открыли, и в свете электрических фонариков возникла виолончель, огромная и одновременно хрупкая — волшебный

предмет среди грязи, армейских ботинок, армейских ремней с металлическими пряжками и фуражек.

— Ее нельзя на мокрую землю ставить! — возмутился Казимир. Стефан, сидевший напротив, незаметно толкнул его.

Таможенники ощупывали виолончель, трясли ее что было сил.

— Послушай, Кази, может она открывается?

— Нет, она целая, ее открыть невозможно.

Один из этих людей, толстяк, похлопал инструмент по блестящему деревянному боку и отпустил какую-то шутку в адрес собственной жены. Стефан засмеялся, но тут кто-то еще грубо схватил виолончель, заскрипели колки, и в шуме дождя и ворчании работающего на холостых оборотах автобусного двигателя возник странный, резкий, быстро умолкнувший звук: лопнула струна. Стефан схватил Казимира за руку. Когда автобус снова тронулся в путь и они снова оказались рядом в теплой душной темноте, Казимир сказал:

— Извини, Стефан. Спасибо тебе.

— Ты сможешь ее исправить?

— Да, просто колок сломался. Я поставлю другой.

— Господи, как горло дерет. — Стефан потер виски и прикрыл ладонью глаза. — Похоже, я действительно простудился. Черт бы побрал этот дождь!

— Мы уже к Превне подъезжаем.

В Превне единственная улица, освещенная двумя фонарями, терялась в тумане морозящего дождя. За крышами домов что-то темнело — то ли верхушки деревьев, то ли холмы. Стефана и Казимира никто не встретил, поскольку Казимир забыл указать в письме, какого числа к вечеру они приедут. Он позвонил по единственному здесь телефону-автомату и вернулся к Стефану, который ожидал его вместе с виолончелью в футляре, сидя за столиком в кафе в здании местной почты.

— Дело в том, что отец уехал на вызов. Так что или пошли пешком, или придется подождать здесь. Ты уж извини, пожалуйста. — Продолговатое лицо Казимира было расстроенным и виноватым. — Здесь всего километра три.

Решили пойти пешком. Они молча шагали по грязной дороге среди полей сквозь дождь и тьму. В воздухе пахло сырой землей. Казимир начал было насвистывать, но капли дождя попадали в рот, и вскоре он перестал свистеть. Темнота была такой непроницаемой, что идти приходилось

очень медленно, не зная, куда попадет при следующем шаге нога. Стефан не мог бы сказать даже, насколько ровной была дорога. Стояла тишь, лишь в полях вокруг слышался бесконечный шепот дождевых капель. Начался подъем. Впереди темнела вершина холма, в темноте казавшаяся лишь еще одним, более плотным сгустком тьмы. Стефан остановился и поднял воротник пальто; голова у него кружилась. Передохнув, он снова двинулся вперед и в промозглой, полной шепота дождя тишине явственно услышал где-то за холмом негромкий, но звонкий девичий смех. Потом на вершине холма вдруг вспыхнули огни, мерцающие, манящие.

— Что это? — спросил растерянно Стефан и остановился. Чары тьмы были разрушены. Прозвенел детский крик:

— Вон они!

Огни впереди затанцевали и стали спускаться к ним, они со всех сторон были окружены огнями, зовущими голосами, из темноты в свете электрических фонариков появлялись чьи-то лица и руки и снова исчезали в ночи; вновь, но на этот раз совсем рядом, прозвучал тот же очаровательный девичий смех.

— Отец так и не вернулся, а вы все не появлялись, ну мы и решили пойти вас встречать.

— А ты привез своего друга? Где же он?

— Привет, Кази! — Светлая голова Казимира склонялась то к одному, то к другому.

— А где же твоя скрипочка? Ты разве ее с собой не захватил?

— Тут всю неделю льет и льет.

— Виолончель мы оставили у господина Праспайеца на почте.

— Давайте вместе сходим за ней, так приятно прогуляться!

— Меня зовут Бендика, а вас? Стефан?

Она засмеялась, когда они в темноте попытались пожать друг другу руки, потом подняла фонарь повыше и оказалась темноволосяй и очень высокой, почти такой же высокой, как брат; ее единственную из всех Стефан рассмотрел достаточно хорошо. А потом они все вместе пошли назад в Превне, болтая, смеясь, мигая фонариками, свет которых метался по дороге и по сорной траве у обочин; порою же столб света взлетал вверх, пытаясь пробиться сквозь ставший из-за дождя очень плотным воздух. Стефану удалось увидеть их всех сразу лишь на почте, пока Казимир ходил

за своей виолончелью: двое мальчиков, мужчина, высокая девушка по имени Бендика, та молоденькая блондинка, что особенно нежно расцеловала Казимира, еще одна блондинка, помоложе, — он рассматривал их всего минуту, а потом они снова вышли на дорогу, и ему снова пришлось гадать, которая же из трех девушек — а может, из четырех? — смеялась тогда вдали за холмом. Холодный дождь касался его разгоряченного лица. Рядом с ним, направив свет фонарика на дорогу, шел тот мужчина.

— Меня зовут Йоахим Брет, — сообщил он.

— А, вы энзимами занимаетесь! — голос у Стефана звучал хрипло.

— Да, а вы чем?

— Молекулярной генетикой.

— Да не может быть! Замечательно! Вы, наверное, с Метором работаете? Заглянете ко мне потом, хорошо? Вы американские журналы регулярно читаете? — И, словно поднимаясь виток за витком по спирали, они проговорили так половину пути. Брет был словоохотлив, Стефан лаконичен — он по-прежнему чувствовал головокружение и все время прислушивался к смеху девушек, которые, к сожалению, смеялись одновременно, так что проверить себя он никак не мог. Потом вдруг все смолкли, слышны были лишь звонкие голоса мальчишек, бежавших далеко впереди.

— А вон и дом наш, — сказала рядом со Стефаном высокая Бендика и указала куда-то в сторону неведомого желтого сияния.

— Ты еще тут, Стефан? — окликнул его из темноты Казимир.

Он что-то проворчал в ответ; его раздражал их глупый добродушный смех, бесконечное веселье, суета, крики, переполненный энтузиазмом Брет, сияние желтых окон впереди, для всех них означавших дом. Только не для него. В прихожей они сняли с себя мокрые пальто и куртки и куда-то разбежались, но потом собрались снова и их стало еще больше, когда все стали рассаживаться вокруг стола в темноватой комнате с высокими потолками, наполняя ее шумом и светом принесенных с собой ламп. На столе уже дымился кофе и стоял пирог, испеченный матерью Казимира. Она поспешно, хотя и спокойно сновала туда-сюда. Голова ее была украшена короной кос, еще довольно темных, но с сильной проседью. Фигурой она напоминала виолончель Казимира. У нее было семеро детей, и она тут же

присоединила к ним Стефана, не делая между ним и своими сыновьями никаких различий. Детей между собой она различала только по именам — Валерия, Бендика, Антоний, Брюна, Казимир, Йоахим, Поль. Шутки и смех не умолкали, невысокая темноволосая девушка смеялась прямо-таки до слез, Казимир уже не убирал со лба свои светлые волосы. Тут же двое одиннадцатилетних близнецов непрерывно ссорились из-за пустяков. Потом худой улыбающийся Йоахим взял гитару и заиграл, склонив голову, точно любопытная ворона. Его правая рука, перебиравшая струны, то ли была искалечена, то ли это было врожденное уродство. Все запели, не пел один Стефан: он этих песен не знал и у него страшно болело горло. Впрочем, он так или иначе петь бы ни за что не стал и теперь сидел, враждебно поглядывая на остальных. Вошел доктор Аугескар. Он поздоровался с Казимиром за руку и сразу затмил его собой — высокий король и хрупкий, не похожий на него сын-наследник.

— А где же твой друг? Простите, что не смог вас встретить — срочно вызвали. Пришлось подниматься в горы. Удалил аппендикс прямо на обеденном столе, точно гуся перед Рождеством потрошил. Ступай-ка спать, Антоний. Бендика, принеси мне стакан. Тебе налить, Йоахим? А вам, Фабр? — Он разлил красное вино и сел со всеми вместе за огромный круглый стол. Они снова запели. Доктор Аугескар первым начинал песню и вел остальных. Казалось, что его одного вполне достаточно, чтобы заполнить всю комнату. Одна из его светловолосых дочек пыталась кокетничать со Стефаном, маленькая темноволосая по-прежнему корчилась от смеха, Бендика поддразнивала Казимира, Брет исполнил любовную песню на шведском — было еще не поздно, часов одиннадцать вечера. Стефан вдруг поймал на себе взгляд серых ясных глаз доктора Аугескара, брошенный из-под его светлых бровей.

— Вы простужены?

— Да.

— В таком случае вам лучше лечь в постель. Диана, где у нас Фабр будет спать?

Казимир тут же с виноватым видом вскочил и повел Стефана наверх, по коридору, где пахло сеном и дождем, мимо бесконечных комнат.

— Когда у вас завтракают?

— О, в любое время! — У Казимира всегда были очень приблизительные представления о времени. — Спокойной ночи, Стефан.

Однако ночь выдалась беспокойная. Ему стало совсем плохо, всю ночь изуродованная рука Брета рвала одну длинную, свернувшуюся кольцами струну за другой, и они лопались со знакомым жалобным звуком, а он приговаривал, ухмыляясь: «Так-то ты за ними ухаживаешь — хуже всех». Утром Стефан встать не смог. Залитые солнцем стены почему-то кренились к нему, обступая кровать, а небо вытягивалось в голубую ленту и проникало в комнату через окна, а потом надувалось, точно огромный воздушный шар. Он лежал в постели, запустив руки в свои черные жесткие волосы, и стонал. Волосы, казалось, кололи голову, как булавки. Потом вошел тот высокий мужчина с золотистой седой головой и очень уверенно объявил:

— Мальчик мой, да вы совсем больны.

Эти слова пролились ему на душу бальзамом. Да, болен, он болен, а стены и небо в полном порядке.

— Ничего себе температурка! — сказал доктор. Стефан в ответ улыбнулся и чуть не расплакался, чувствуя себя важной персоной, о которой теперь позаботится этот одинаково добрый ко всем пациентам большой человек, похожий на короля, такой же уверенный в себе и такой же равнодушно-снисходительный к окружающим, как солнце в небе. Но солнечный свет не проникал в темную чашу его недуга, в потайные пещеры и закутки его страданий, а через некоторое время туда перестала поступать и живительная влага — вода.

Дом стоял тихий и днем, залитый лучами сентябрьского солнца, и ночью.

В тот вечер госпожа Аугескар, уронив на колени шерстяные нитки, иглу и носки, которые штопала, все время поднимала свою украшенную короной кос голову и прислушивалась к звукам наверху — так, много лет назад, слушала она, не плачет ли ее первенец Казимир в своей колыбельке.

— Бедный мальчик, — шептала она. И Брюна тоже поднимала свою светлую головку и прислушивалась, впервые услышав одинокий зов из тех темных лесов болезни и одиночества, в которых сама ни разу не бывала. Дом стоял вокруг них спокойно, как крепость. На следующий день мальчикам разрешили играть на улице дотемна, пока не пошел дождь. Казимир что-то выпиливал посреди кухни

для своей виолончели. Его лицо, склоненное над блестящим грифом, было спокойным и замкнутым; он продолжал работать, даже когда на кухню заходил кто-то еще из молодежи поболтать. Пришедший обычно садился на табуретку, или пристраивался у раковины, или прислонялся к стене, и начинались бесконечные разговоры — в конце концов, собравшимся на каникулы семерым молодым людям не под силу было подолгу хранить молчание. Но среди их болтовни все время как бы слышался глубокий, негромкий, мелодичный голос виолончели, говорившей без слов; голос ее был похож на тот зов из чащи леса, который все слышался Брюне, так что она, утратив вдруг терпение и наскучив зависимостью от остальных, сама по себе, не воспринимая себя в данном случае ни как дочь, третью по счету, ни как четвертого ребенка в семье, ни как члена всей этой молодой компании, скользнула по лестнице наверх, чтобы собственными глазами увидеть, какова она, эта тяжелая болезнь, эта смертельная опасность.

Такого она не видела никогда. Молодой человек спал. Он был очень бледен; черные волосы, разметавшиеся по белой подушке, казались четкой надписью — но только на чужом языке.

Брюна вернулась вниз и сказала матери, что заглядывала к больному и тот спокойно спит; что ж, в какой-то степени это была правда, но не вся. Только что наверху она еще раз получила подтверждение тому, что было раньше для нее недоступно, непостижимо; теперь она была уже готова пройти сквозь темную лесную чащу; она стала взрослой и понимала, что вполне может тоже умереть. И ее провожатым в этом лесу стал тот молодой человек, что явился к ним в пелене дождя уже больной пневмонией.

На пятый день после обеда Брюна снова поднялась в его комнату. Он уже потихоньку поправлялся и лежал, слабый, но довольный, размышляя о той утренней прогулке лет десять назад, когда они с отцом и дедушкой отправились на карьеры. Стоял апрель, карстовая равнина уже подсохла и была залита солнцем. Всюду цвели голубые цветочки. Когда они миновали карьеры «Чорин компани», разговор вдруг переключился на политику, и Стефан понял, что они специально ушли подальше от города, чтобы иметь возможность хоть что-то сказать друг другу вслух и чтобы ребенок тоже послушал, что говорят взрослые. «Знаешь, муравьев-рабочих, муравьев-солдат всегда будет достаточно, хватит,

чтобы все муравейники заполнить», — сказал отец. Дедушка, сухой, резкий, все еще порывистый, хотя ему уже перевалило за семьдесят, воскликнул сердито, хотя на самом деле был куда мягче сына и почти настолько же уязвим, как его тринадцатилетний внук: «Ну так уезжай отсюда, Коста! Почему же ты отсюда не уезжаешь?» Впрочем, он просто подначивал отца. Ни дед, ни отец никогда бы оттуда не уехали, никуда бы не сбежали. И Стефан шагал рядом с ними как взрослый мужчина среди взрослых мужчин; они вместе шли по бесплодной равнине, голубой от апрельских недолговечных цветов; отец и дед разделяли с ним свой гнев, свое бесплодное беспомощное ожесточение, свою недолговечную, словно взметнувшиеся языки синего пламени, ярость. Разговаривая в полный голос под открытым небом, они вручили Стефану ключи от мира взрослых, от той тюрьмы, где обитали сами и где, конечно же, станет жить и он. Но они знавали и другие дома. Ему же пока не довелось. Как-то раз дедушка, Стефан Фабр, положил руку на плечо Стефана-внука и сказал:

«А что бы мы делали со свободой, Коста, если б ее имели? Что сделал с ней Запад? Сожрал. Набил ею брюхо. Большое, прямо-таки выдающееся брюхо — вот что такое Запад. Хотя правит этим брюхом мудрая голова, голова настоящего мужчины, обладающая мужским разумом и мужским взглядом на вещи; зато все остальное на Западе — это брюхо. Такой человек не способен ходить. Он только и делает, что сидит за столом и все ест, ест да придумывает машины, которые поставляют ему еще больше еды... Порой он бросает еду под стол черным и желтым крысам, чтобы те не подтачивали стены его дома. Но он-то сидит там, а мы по-прежнему здесь, и в животах у нас пусто, один воздух, воздух и раковые опухоли, воздух и бесплодная ярость. Но мы еще можем ходить. Так что мы с Западом друг другу подходим. Мы подходим для иностранного плуга. Почуввав запах пищи, мы орем, как ослы, и лягаемся... Так люди ли мы после этого, Коста? Я что-то сомневаюсь».

Все это время рука его ласково, успокаивающе сжимала плечо внука, ведь мальчик понятия не имел о своем наследии, рожденный в тюрьме, где плохо — все, где нет ни гнева, ни понимания, ни гордости, где ничего хорошего не осталось, кроме ожесточенного упрямства и верности друг другу. Да, это еще у нас осталось, говорила ему тяжелая дедова рука. Так что, когда светловолосая девушка вошла в

комнату, где Стефан лежал слабый и довольный, он посмотрел на нее как бы из той залитой солнцем апрельской бесплодной равнины — с доверием и радостью, ведь она не имела никакого отношения к смерти его деда и отца; первый умер в поезде при депортации, а второго и еще сорок два человека с ним вместе расстреляли за городом, где-то на равнине во время репрессий 1956 года.

— Как ты себя чувствуешь? — спросила Стефана девушка, и он ответил:

— Отлично.

— Может, хочешь чего-нибудь? Так я принесу.

Он покачал головой. Она вспомнила, как его черные волосы на белой подушке и бледное лицо казались ей четко написанными на белой бумаге, но совершенно непонятными греческими словами; сейчас же глаза его были открыты, и говорил он на ее языке. И тот самый голос, который несколько ночей назад едва слышно звал ее из черной чаши лихорадочного бреда, брата смерти, произнес вполне понятные слова:

— Я никак не могу вспомнить твое имя.

Он оказался очень милым, очень симпатичным, этот Стефан Фабр. Он все еще был ошеломлен тем, что так неожиданно заболел, но сейчас явно радовался, что видит Брюну.

— Меня зовут Брюна, я следующая за Кази. Хочешь что-нибудь почитать? Тебе здесь не скучно?

— Скучно? Ну что ты! Ты и представить себе не можешь, как это приятно — лежать и ничего не делать. Мне раньше никогда не доводилось. Твои родители так добры, а весь этот огромный дом и поля вокруг... Знаешь, я все лежу и думаю: Господи, неужели это происходит со мной? И это я лежу здесь, в мирном тихом доме, среди просторов полей, и эта комната полностью в моем распоряжении, и можно сколько угодно бездельничать?

Она рассмеялась, и он узнал ее по смеху: именно его он слышал тогда под дождем в темноте, прежде чем на вершине холма засветились огоньки. Ее светлые волосы были разделены пробором ровно посередине и с обеих сторон слегка подкручены внутрь, оттеняя тоже довольно светлые и густые брови; а вот какого цвета были у нее глаза, определить Стефан не мог: то ли серо-карие, то ли просто серые. Теперь он наконец услышал ее смех совсем рядом, при свете дня — ласковый, задорный. «О, моя красавица,

нежная и тонкая, о, молодая кобылица, не знавшая упряжи, боязливая и норовистая, смех твой девичий...»

Желая, чтобы она осталась подольше, он спросил:

— А ты всегда здесь живешь?

— Летом — да, — ответила она, глядя на него своими непонятными сияющими глазами под шапкой светлых волос. — А ты где вырос?

— В Сфарой Кампе, на севере.

— Твоя семья и теперь там живет?

— Там живет моя сестра. — Ему было смешно, что она по-детски спрашивает о семье. Наверное, она ужасно наивна и еще более непостоянна и в то же время целостна, чем даже Казимир, который существует как бы в иной реальности, недостижимой для других, недоступной для нескромных вопросов о соответствии. Чтобы еще задержать ее, он сказал:

— У меня сейчас столько времени для размышлений! Только за сегодняшний день я передумал больше, чем за последние три года.

— О чем же ты думаешь?

— Об одном венгерском аристократе... знаешь эту историю? Его взяли в плен турки, а потом продали в рабство. В шестнадцатом веке. И какой-то турок купил его и стал запрягать в плуг, как вола, и несчастный пахал землю, а по спине его гулял кнут. Но в конце концов родным удалось его выкупить. Приехав домой, он взял свою шпагу и вернулся на поля сражений. И там ему удалось взять в плен своего бывшего хозяина, который некогда купил его как раба. Он привез турка в свое поместье, снял с него цепи и вывел из дому. Несчастный турок все высматривал кол, на который его посадят, или яму, где он будет медленно гнить, а все станут на него мочиться и лишь в самом конце сожгут, или рвущихся с поводка собак, или, по крайней мере, плеть. Но ничего так и не заметил. Только тот венгр, которого он когда-то купил, а потом продал родственникам, стоял с ним рядом. И повторял: «Ступай же, возвращайся домой...»

— И он вернулся?

— Нет, он остался и принял христианство. Но я не поэтому думаю о нем.

— А почему?

— Мне бы тоже хотелось быть таким благородным, настоящим аристократом, как тот венгр, — сказал Стефан Фабр и улыбнулся.

Да, он был упрям, этот мрачноватый юноша, и хотя лежал перед нею поверженный, все же побежденным себя не чувствовал. Он улыбался, в его черных глазах поблескивал огонек. В свои двадцать пять он уже не питал ни малейших иллюзий относительно реальной жизни, никому не доверял и наивностью отнюдь не отличался. Об этом свидетельствовали те холодные огоньки, что играли в его глазах. Однако сейчас он на время смирился с судьбой, упрямый человек, обладающий, впрочем, достаточной внутренней силой, достаточной значимостью. Девушка посмотрела на его сильные грубоватые руки, лежавшие поверх одеяла, потом — на сиявшие солнцем окна и подумала о том, что он и так аристократ духа; от Казимира, который редко рассказывал о жизни своего друга, она знала немного, собственно, один-единственный, но вполне реальный факт: Стефан вместе с другими нищими студентами снимал одну комнатушку на пятерых, и они сумели втиснуть туда всего три кровати.

Занавеси на трех огромных окнах были откинута, и комнату наполняла тишина сентябрьского полудня. Деревенского полудня. С далеких полей доносился звонкий мальчишеский голос.

— Ну, теперь быть аристократом не так-то просто, — тихо проговорила Брюна и потупилась; она ничего не хотела подчеркнуть своими словами, но почему-то чувствовала себя подавленной, усталой, в сердце не осталось ни нежности, ни восхищения. Он, конечно же, поправится и вернется неделей позже в свой город, в комнату, где три кровати и пятеро жильцов, где на пыльном полу валяются ботинки, а в раковине — прилипшие волосы... Вернется в свои аудитории и лаборатории, а после окончания получит место инспектора санитарной службы на государственной ферме где-нибудь на севере или на северо-востоке и двухкомнатную квартирку в государственном доме в пригородах небольшого городка, славящегося своими сталеплавильными комбинатами; женится на черноволосой женщине, которая будет учить третьеклассников по одобренным государством учебникам, родит ему одного ребенка и сделает два законных аборта; и в итоге они доживут до взрыва водородной бомбы... Ах, неужели нет никакого выхода из этого? Никакого?

— Говорят, ты очень умный?

— Свою работу, во всяком случае, я делаю отлично.

— Ты ведь научными исследованиями занимаешься, верно?

— Да, по биологии.

Раз так, то лаборатории, видимо, останутся; а квартира, возможно, будет четырехкомнатной и в пригородах Красная; двое детей, никаких аборт, двухнедельный отпуск летом в горах, а потом — водородная бомба. Или не будет водородной бомбы. Это, собственно, безразлично.

— А что именно ты исследуешь?

— Некоторые виды молекул. Молекулярную структуру живых организмов, структуру жизни.

Странно звучало: структура жизни. И, разумеется, он разговаривал с ней как с маленькой; ничего нельзя объяснить в двух словах, говаривал ее отец, а уж тем более если речь идет о жизни. Значит, он хорошо разбирается в молекулярной структуре жизни? А ведь это его беззвучный зов слышала она, то кричали его воспаленные легкие, и их неслышимый крик едва долетал из темной страны, что соседствует со смертью; но она услышала его зов, а ее мать тогда прошептала лишь: «Бедный мальчик!» Она, Брюна, ответила на его крик и последовала за ним — в темные края. А теперь он снова вернул ее к жизни.

— Ах, — сказала она, по-прежнему не поднимая глаз, — я ничего этого не понимаю. Я такая глупая.

— Почему тебя назвали Брюной, ты ведь блондинка*?

Она изумленно вскинула на него глаза и рассмеялась:

— До десяти месяцев я была совершенно лысой! — Она будто увидела его заново — и черт бы побрал все это будущее, если все его возможные варианты связаны лишь с грязными раковинами, двухнедельными отпусками и ядерными бомбами! Или с коллективным братством! Или с арфами и райскими девами! Господи, как все это убого и тоскливо! Нет, вся радость — в прошлом и настоящем, и вся правда тоже, и вся верность слову, и человеческая плоть. По-настоящему значимы лишь те мгновения, что проживаешь сейчас, ибо будущее, как бы его ни воспринимать, имеет лишь одну постоянную величину: смерть. А мгновения настоящего непредсказуемы. Просто невозможно сказать, что случится в следующую минуту.

В комнату вошел Казимир с букетом красных и синих цветов.

* Брюна (от фр. brune) — брюнетка.

— Мама просила узнать, хочешь ли ты на ужин гренки с яйцом и молоком, — сказал он.

— Овсянка, овсянка, тра-ля-ля-ля-ля-ля, — пропела Брюна, ставя принесенные Казимиром васильки и маки в стеклянную вазу. Здесь три раза в день ели овсяную кашу, различные блюда из домашней птицы, репы, картошки; один из младших братьев, Антоний, выращивал салат латук. Готовила мать, а уборкой занимались дочери; прислуги не было, как не было и пшеничной муки, говядины, молока — во всяком случае, с этим простились еще до того, как родилась Брюна. Они жили в своем большом старом деревенском доме, точно на временном поселении, без всяких удобств. Как цыгане, говаривала хозяйка дома; она была дочерью профессора, родилась в обеспеченной среде, вышла замуж за обеспеченного человека, но отказалась от царивших в этой среде порядков, от сытой и праздной жизни без жалоб, не уступив, однако, ни одного из тех отличительных признаков профессорской среды, которыми по привилегии она некогда была награждена. Так что Казимир, при всей его мягкости, мог сохранять полную собственную неприкосновенность и никому ничего не рассказывать. Так что Брюна все еще представлялась как младшая сестра Казимира и спрашивала других об их семьях. Так что Стефан ощущал себя здесь как дома, как в крепости, как в родной семье. Все трое — Стефан, Казимир и Брюна — громко смеялись, когда вошел доктор Аугескар.

— Немедленно все вон отсюда, — спокойно сказал он, стоя в дверях с видом абсолютного монарха, этакий король-солнце, герой солярного мифа. Казимир и Брюна, смеясь и, как дети, строя Стефану рожи у отца за спиной, вышли из комнаты. — Хорошенького понемножку, — приговаривал доктор Аугескар, выслушивая и выстукивая больного. Стефан тоже притих и лежал с виноватым видом, улыбаясь, точно ребенок.

Седьмой день, когда Стефану и Казимиру полагалось сесть в автобус, потом в поезд и вернуться в Красной, поскольку уже начались занятия в университете, выдался очень жарким. Он сменился теплым вечером, все окна в доме были распахнуты настежь, навстречу неумолчному хору лягушек у реки, звону сверчков в полях и юго-западному ветру, приносящему из-за пожелтевших осенних холмов лесные ароматы. Занавеси на окнах шевелил вечерний ветерок, в открытые окна светили с небес шесть звезд,

таких ярких в сухом прозрачном воздухе, что, казалось, могут поджечь занавеси. Брюна сидела возле кровати Стефана на полу, Казимир, словно огромный сноп пшеницы, возлежал поперек постели у него в ногах, Бендика, муж которой уехал в Красной, возилась со своим пятимесячным первенцем, сидя в кресле у незажженного камина. Йоахим забрался на подоконник, рукава его рубашки были закатаны, на худой руке виднелись голубоватые буквы и цифры: ОА46992; он наигрывал на гитаре мелодию старинной английской песенки:

Все ж справедлив и стоек будь,
Любовь на чудеса способна,
Она морозам летом иль грозе
порою зимнею подобна.
Любимым сердцем дорожа
до смертного порога,
Ты проживешь достойней всех
и радостнее многих.

Поскольку Йоахиму нравились песни о достоинствах и невзгодах любви, он пел их на всех мыслимых языках, известных ему и неизвестных, то вскоре он принялся брэнчать мелодию «Plaisir d'Amour»*, потом вдруг запечалился, стал подтягивать струны, а между тем на коленях у Бендики проснулось дитя и громко потребовало внимания к себе. Казимир взял малыша у сестры и стал подбрасывать вверх, а Бендика мягко протестовала:

— Кази, он ведь только что поел, он срыгнет!

— Я твой дядя. Я дядя Казимир, а в карманах у меня полным-полно мятных лепешек и папских индulgенций. Ну-ка посмотри на меня, у-у-ух! Ты ведь не посмеешь плюнуть дядюшке в лицо? Конечно, не посмеешь! Конечно, лучше, чтобы тебя стошнило прямо тете на платье, вот и иди к ней! — Он сунул ребенка Брюне, и тот, не мигая, устался на тетку, потом радостно замахал ручонками, и его пухленький шелковистый животик показался между рубашонкой и пеленкой, в которую были завернуты ножки. Брюна внимательно и молча смотрела на него. «Кто ты?» — спросил ее ребенок взглядом. «А кто ты?» — беззвучно спросила в ответ девушка, словно зачарованная. Стефан наблюдал за ними, негромко и весело звенели аккорды в ля мажоре, улетаая из освещенной комнаты в темную сухую

* Раздeсь любви (фр.).

осеннюю ночь. Наконец длинноногая молодая мать унесла ребенка, чтобы уложить его спать, Казимир выключил свет, и в комнату вошла осенняя ночь. Теперь голоса молодых людей смешивались с хором сверчков и лягушек, доносившимся с полей и с берега реки.

— Ты очень разумно поступил, что заболел, Стефан, — сказал Казимир, снова падая поперек постели; его длинные пальцы странно белели в сумерках. — Продолжай в том же духе, и мы сможем прожить здесь всю зиму.

— Лучше весь год. Долгие, долгие годы. У тебя твоя скрипочка-то настроена?

— Еще бы! Я тут Шуберта разучивал. Па-па-пум-па!

— Когда концерт?

— Да в октябре где-то. Времени еще полно. Пум, пум — плыви, плыви, рыбка-форель. Ах! — Длинные белые пальцы словно играли на виолончели.

— А почему ты вообще виолончель выбрал, Казимир? — спросил, перекрывая вопли лягушек и сверчков, голос Йоахима, донесшийся откуда-то с подоконника и словно прилетевший из болотистых низин и распаханых полей.

— Потому, что он постеснялся возразить, — прощелестел легким ветерком голос Брюны.

— Потому, что он враг всего легковыполнимого, — слышался суховатый мрачный голос Стефана. Остальные молчали.

— Нет, просто я оказался чрезвычайно многообещающим учеником, — заявил Казимир, — и мне пришлось решать, хочу я сыграть концерт Дворжака перед восхищенной публикой и получить главную премию на конкурсе исполнителей или не хочу. Мне нравится вести второй голос. Пум-па-пум. А вот когда я умру, то прошу положить мое тело в футляр для виолончели и в состоянии глубокой заморозки отправить срочной почтой Пабло Касальсу*, а на футляр прилепить табличку: «Тело величайшего виолончелиста Центральной Европы».

В темноте вздохнул горячий ветер. Казимир умолк, кажется, иссякнув. Брюна и Стефан готовы были переключиться на другую тему, однако Йоахим не унимался. Вдруг он заговорил о каком-то человеке, который помогал людям перебираться через границу; сейчас в юго-западном крае о

* Пабло Касальс (1878—1973) — испанский виолончелист, дирижер, с 1936 г. жил во Франции, с 1956 г. — в Пуэрто-Рико.

нем шло немало разговоров. По слухам это был молодой парень, которому удалось сбежать из тюрьмы и добраться до Англии. Потом он вернулся, наладил здесь переправу через границу и за последние десять месяцев вывел более сотни человек. Лишь недавно тайной полиции удалось нащупать его след, и теперь она устроила на него настоящую охоту.

— Что это? Донкихотство? Предательство? Героизм? — вопрошал Йоахим.

— Да он же у нас на чердаке прячется, — сказал Казимир, а Стефан прибавил:

— И мечтает о горячих гренках. — Им не хотелось говорить на эту тему; не хотелось никого судить; они воспринимали предательство и верность лишь в непосредственном проявлении, считая, что невозможно их оценить и взвесить отдельно от сиюминутного поступка, точно кусок мяса. Один только Брет, которому повезло родиться не в этой тюрьме, продолжал возбужденно настаивать на продолжении разговора. В Превне кишат агенты тайной полиции, вещал он, и даже если выйдешь купить вечернюю газету, у тебя все равно документы обязательно проверят.

— Может, проще сделать татуировку, как у тебя? — предложил Казимир. — Подвинь-ка свои конечности, Стефан.

— Лучше сам подвинь свою жирную задницу.

— Мой-то номер никуда не годится, это еще немецкий. Еще парочка таких войн, и у меня просто чистого места на руках не останется.

— А ты смени кожу — как змея.

— Нет, не выйдет. Они ее тогда насквозь прожгли, до кости.

— А ты и кости ликвидируй, — сказал Стефан, — стань медузой. Или амебой. Зато когда прижмут, можно размножиться простым делением. И два маленьких бесхребетных Стефана возникнут там, где по расчетам врага должен быть всего один за номером 64100282А. А потом появится четыре, восемь, шестнадцать, тридцать два, шестьдесят четыре, сто двадцать восемь Стефанов! Я бы тогда мог полностью покрыть собой всю поверхность земного шара, если мои естественные враги мне не помешают.

Кровать затряслась, в темноте засмеялась Брюна.

— Сыграй снова эту английскую песенку, Йоахим, — попросила она.

Все ж справедлив и стоек будь,
Любовь на чудеса способна...

— Стефан... — сказала Брюна на четырнадцатый день, сидя светлым полуднем на зеленом берегу болотистой реки с южной стороны дома. Стефан устроился, положив голову ей на колени. Услышав свое имя, он открыл глаза:

— Что, нам уже пора?

— Нет.

Он снова закрыл глаза и мечтательно сказал:

— Брюна... — Потом вдруг вскочил и уселся с нею рядом. — О Господи, Брюна! Лучше бы ты все-таки не была девственницей. — Она осторожно засмеялась, с любопытством наблюдая за ним. Она казалась совершенно беззащитной. — Если бы только... Прямо здесь, сейчас!.. Я ведь послезавтра должен уехать!

— И все-таки под самыми окнами кухни не стоит, — ласково сказала она. Дом был в тридцати шагах. Стефан снова рухнул на землю, спрятал лицо в сгибе руки Брюны, прижавшись щекой к ее теплому бедру и чувствуя губами нежность кожи. Она погладила его по голове, коснулась пальцами ямки на шее, чуть ниже затылка.

— А мы не могли бы пожениться? Хочешь выйти за меня замуж?

— Хочу. Да, я хочу выйти за тебя замуж, Стефан.

Он еще немножко полежал так, потом сел, на этот раз неторопливо, и стал смотреть куда-то вдаль, за тростники, за болотистые берега сверкавшей на солнце реки — на холмы и далекие горы.

— Я на следующий год получу диплом.

— Я тоже через полтора года получу свой учительский сертификат.

Оба помолчали.

— Вообще-то я уже сейчас мог бы бросить учебу и начать работать. Нам ведь придется платить за квартиру... — Стены жалкой меблированной комнатухи, выходящей окнами во дворик, увешанный грязноватым сушащимся бельем, обступили их, как стены крепости. — Да ладно, — сказал он. — Вот только ужасно жаль терять все это. — Он с трудом оторвал глаза от сверкающей воды и далеких гор. Теплый вечерний ветер пролетал мимо них. — Ладно. Но, Брюна, ты просто не представляешь, насколько все это для меня ново! Ведь я никогда в жизни не просыпался на рассвете,

еще до восхода солнца, в собственной комнате с высокими огромными окнами, не лежал, слушая абсолютную тишину вокруг, не гулял по просторам полей ясным октябрьским утром, не сидел за столом в компании светловолосых смеющихся братьев и сестер, не беседовал ранним вечером на берегу реки с любимой девушкой... Конечно, я давно знал, что порядок, покой и доброта должны существовать в этом мире, но никогда не надеялся сам встретиться с ними, не говоря уж о том, чтобы жить среди всего этого! И послезавтра я должен уезжать отсюда... — Нет, она этого не понимала. Она сама была этой деревенской тишиной, и благословенной тьмой, и сверкающим ручьем, и ветром, и холмами, и прохладным домом; все это было ее, было с ней нераздельно; она не могла понять его. Но это она впустила его, незнакомца, в свой дом дождливой ночью, и этот незнакомец непременно принесет ей горе... Она села с ним рядом и тихонько проговорила:

— Я думаю, что нам стоит попробовать, Стефан, да, стоит.

— Ты права, стоит. Мы зайдем денег. Мы станем просить милостыню, станем воровать, станем обчищать чужие карманы. Знаешь что, лучше я стану великим ученым и создам жизнь в пробирке. После нищенского существования в годы студенчества молодой Фабр быстро достиг уровня выдающегося ученого... Мы будем ездить на конференции в Вену. В Париж. Черт с ней, с жизнью в пробирке! Нет, я придумал кое-что получше! Ты у меня забеременеешь в пять минут! Ах ты, красавица, смеешься? Я тебе покажу, как смеяться, девчонка, моя маленькая форель, моя милая... — И там, прямо под окнами дома, вблизи застывших в солнечном свете гор, рядом с игравшими в теннис мальчишками, она лежала в его объятиях, распластавшись под тяжестью его тела, нежная, светловолосая, обмякшая, сама чистота, чистота плоти и духа, слившихся в одной мысли: пусть войдет в мой дом, пусть войдет.

Не сейчас, не здесь. Его желания путались, ожесточая сердце. Он откатился от нее, перевернулся и лежал на траве лицом вверх, глядя в небо. В черных глазах его мерцал огонь. Брюна села рядом, коснулась его плеча. Прежде душа ее всегда пребывала в покое. Стефан сел, и она посмотрела на него, как смотрела тогда на младенца Бендики — внимательно, с задумчивым узнаванием. Она не гордилась им, ничего от него не таила, никак его не судила. Вот он; и он такой, какой есть.

— Мы будем бедны, Брюна. Это неразумно.

— Наверное, — сказала она спокойно, наблюдая за ним.

Он встал и отряхнул с брюк травинки.

— Я люблю Брюну! — крикнул он, воздев руки; и залитые солнцем склоны холмов за болотистой речкой, уже окутанные сумерками, коротко откликнулись ему неясным далеким эхом, не похожим ни на ее имя, ни на его голос. — Видишь? — улыбаясь, сказал он, глядя на нее сверху вниз. — Даже эхо что-то отвечает. Вставай, солнце уже садится, а может, ты хочешь, чтобы я снова заболел пневмонией? — Она протянула руку, и он потянул ее вверх, к себе. — Я буду тебе очень верным мужем, Брюна, — сказал он. Он был невысок, и когда они стояли рядом, ей не требовалось поднимать к нему лицо: их лица были почти на одном уровне. — Хотя бы это я должен дать тебе, — сказал он. — И это все, что я могу тебе дать. Тебя еще, возможно, начнет от моей верности тошнить, знаешь ли. — Ее туманные глаза, то ли серо-карие, то ли серые, внимательно смотрели на него. Он молча поднял руку, на мгновение коснулся ее светлых волос, разделенных пробором, и они пошли назад, к дому, мимо теннисного корта, где Казимир с одной стороны и двое мальчишек с другой отбивали мячи, пропускали их, прыгали и орали. Под дубом сидел Йоахим, наигрывая какую-то новую песенку.

— А эта на каком языке? — спросила у него Брюна. В тени она, казалось, вся светилась от счастья. Он покивал, собираясь ответить ей, потом его изуродованная правая рука легла поверх струн.

— На греческом; я нашел ее в одной книжке; в ней говорится: «О, юные влюбленные, что под моим окном проходят, не замечают они, верно, что дождь давно уже идет?»

Брюна громко рассмеялась; Стефан, стоя с нею рядом, чуть отвернулся и наблюдал за тремя игроками, которые носились по корту в медленно наползавшей на площадку тени, но мяч время от времени взлетал так высоко, что успевал еще захватить золотистый отблеск заходящего солнца.

На следующий день они с Казимиром отправились пешком в Превне покупать билеты; а еще Казимиру хотелось заглянуть на тамошнюю еженедельную ярмарку. Ему всегда очень нравились всякие базары, ярмарки, аукционы, людской шум и суета, крики продавцов, ручные тележки с красной и белой репой, груды старой обуви, горы набивного ситца, поленницы сырных брусков в синей обертке, запах

лука, свежей лаванды, пота и пыли. Дорога, которая в ночь их прибытия сюда показалась Стефану такой долгой, сейчас, теплым осенним утром привела их в Превне совсем быстро.

— Йоахим говорил, они все еще ищут того парня — что беженцев через границу переводил, — сообщил Казимир. Высокий, хрупкий, он спокойно и быстро шагал рядом с другом; светлая непокрытая голова его светилась на солнце.

— Мы с Брюной пожениться хотим, — сказал ему Стефан.

— Правда?

— Да.

Казимир на мгновение притормозил, потом пошел дальше своей легкой походкой, сунув руки в карманы. По лицу его расплывалась улыбка.

— Нет, в самом деле?

— Ну конечно!

Казимир остановился, вытащил правую руку из кармана и сунул ее Стефану; тот с удовольствием ее пожал.

— Неплохо, — сказал Казимир. — Отлично потрудились. — Он даже чуточку покраснел. — Что ж, по крайней мере, это нечто реальное. — И он двинулся дальше, снова сунув руки в карманы; Стефан быстро глянул на его продолговатое, спокойное, юное лицо. — Безусловно реальное. Настоящее. — Он немного помолчал и прибавил: — Куда там Шурберту.

— Главная проблема, конечно, в том, чтобы найти жилье. Но я могу немного взять в долг для начала; Метор все еще хочет, чтобы я участвовал в работе над тем проектом... мы бы хотели не особенно тянуть... если, конечно, твои родители согласятся. — Казимир с восхищением слушал: перечисление всех этих обстоятельств лишь подтверждало главный, основной факт; с таким же восхищением он наблюдал на ярмарке за продавцами и покупателями, смотрел на горы турнепса и обуви, на стойки и тележки с товарами, ибо все это подтверждало жизненную потребность людей в еде и общении.

— Все у тебя уладится, — сказал он. — И квартиру ты найдешь.

— Надеюсь, — откликнулся Стефан; он, впрочем, никогда в этом и не сомневался. Он поднял с земли камень, подбросил его в воздух, поймал и что было силы запустил им в сторону поля, видневшегося слева от них; камень только на

солнце сверкнул. — Если бы ты знал, Казимир, как я счастлив!

— Ну, в какой-то степени я могу себе это представить. Знаешь, дай-ка мне еще раз пожать твою руку. — Они снова остановились и обменялись рукопожатием. — Слушай, а с нами ты поселиться не хочешь, Кази?

— Ладно, только купите мне раскладушку.

Они уже входили в город. По главной улице Превне между засиженными мухами витринами магазинов сползал грузовик цвета хаки; между старыми домами, стены которых были разрисованы давно выцветшими гирляндами цветов, и над их крышами виднелись вершины желтоватых гор. Обсаженная липами пыльная рыночная площадь была вся покрыта пятнышками теней от листвы. Посреди нее торчало несколько прилавков, какие-то стойки, пара тележек, да какой-то безносый мужчина торговал леденцами; три упорных кобеля с униженным видом преследовали белую суку; что-то обсуждали старухи в черных огромных шалях и старики в черных куртках; долговязый телеграфист с почты прислонился к дверному косяку и время от времени сплевывал на землю; два толстяка вполголоса пытались договориться о покупке пачки сигарет.

— Обычно тут куда многолюднее, — сказал Казимир. — Когда я был мальчишкой, сюда привозили груды сыра из Портачейки и овощей, прямо-таки целые горы овощей. За овощами в Превне отовсюду приезжали.

Они с довольным видом слонялись меж рыночными рядами, ощущая братское родство друг с другом. Стефан хотел что-нибудь купить Брюне, все равно что, какой-нибудь шарф, например. Но попадались только какие-то отвратительные грязные шмотки без пуговиц да растрескавшиеся стоптанные башмаки.

— Слушай, купи ей кочан капусты, — предложил Казимир, и Стефан купил огромный красный кочан, а потом они пошли на почту — она же телеграф-телефон-бар — покупать билеты до Айзнара.

— Два билета на айзнарский автобус, господин Праспайец.

— Что, возвращаться приходится? Снова за работу?

— Да уж.

К кассе вдруг подошли трое мужчин — двое со стороны Казимира, один со стороны Стефана. Потребовали предъявить удостоверения личности.

— Так, Фабр Стефан, город Красной, улица Томе, дом 136, студент, МР 64100282А. Аугескар Казимир, город Красной, улица Сорден, дом 4, студент, МР 80104944А. Вы в Айзнар по делу?

— У нас там пересадка на поезд до Красноя.

Мужчины молча вернулись к своему столику.

— Все время тут сидят, вот уже дней десять, — еле слышно пробормотал управляющий, — всех клиентов распугали, работать не дают, — и прибавил громче: — Прибавьте-ка еще одну сотенную купюру, господин Казимир; вы что ж, меня обжулить решили?

Тут же двое мужчин, один весьма плотного телосложения, другой худощавый, с армейской португеей под пиджаком, снова очутились возле них. Улыбка управляющего тут же погасла, как выключенный телевизионный экран. Он тупо смотрел, как агенты полиции обшаривают карманы молодых людей и ощупывают их с головы до ног. Когда они снова вернулись к своему столику, он молча вручил Казимиру сдачу и молодые люди молча вышли на улицу. Там Казимир остановился и постоял, глядя на золотистые липы, на золотящуюся, покрытую пятнышками теней пыль на площади, где по-прежнему три кобеля таскались за белой сукой с униженным видом и горящими глазами, смеялась женщина, по виду домашняя хозяйка, ей громко вторил какой-то старичок, двое мальчишек в поисках чего-то шныряли среди тележек с товаром, а рядом, понуриив голову и подняв одно ухо, стоял серенький ослик.

— Так, ладно, — сказал Стефан. Казимир промолчал. — Как бы в амебу не превратиться; я, по-моему, уже начал размножаться делением, — снова сказал Стефан. — Хватит, пошли, Кази. — Они медленно двинулись через площадь.

— Правее, — и Казимир чуточку спрямил путь.

— Просто бред какой-то, — пробормотал Стефан. — А что, у этого управляющего фамилия действительно Праспайец?

— Да, Эвандер Праспайец. У него еще брат есть, управляющий на винном заводе. Белизариус Праспайец.

Стефан улыбнулся. У Казимира тоже на лице появился призрачный улыбки. Они уже миновали рыночную площадь и собирались перейти на другую сторону улицы.

— Черт, я же капусту свою там забыл! — воскликнул Стефан, обернулся и увидел, что какие-то люди бегут по рыночной площади, лавируя между повозками и прилавками.

Послышались громкие хлопки. Казимир как-то странно пошатнулся, попытался схватить Стефана за плечо, промахнулся, из горла у него вырвался не то сдавленный кашель, не то рвота, он судорожно взмахнул руками и упал наземь. Он неподвижно лежал у ног Стефана; глаза его были открыты, рот тоже, изо рта стекала струйка крови. Стефан застыл как вкопанный. Потом, оглядевшись, упал на колени рядом с Казимиром, но тот на него не смотрел. Вдруг кто-то потянул его вверх, схватил за руку; вокруг толпились какие-то мужчины, один из них размахивал какой-то бумажкой и выкрикивал:

— Он это! Тот самый гад! Вот что с такими гадами случается. А это его документишки поддельные! Да он это, он!

Стефану хотелось быть поближе к Казимиру, но его не пускали; он видел мужские спины, собаку, краснощекую женщину, стоявшую поодаль, под золотистыми деревьями, и с любопытством глядевшую на него. Сперва он решил, что его просто поддерживают, помогают удержаться на ногах — колени были как ватные, — но тут его заставили повернуться и куда-то идти. Он попытался вырваться и крикнул: «Казимир!»

...Он лежал ничком на постели, но вовсе не в той комнате с высокими окнами, не в доме Аугескаров. Он понимал, что это не его постель; но продолжал думать, что это она и что ему слышатся крики мальчишек на теннисном корте. Потом он решил, что это его комната в Красное и рядом спят его приятели. Долгое время он лежал неподвижно, голова болела ужасно. Потом он сел и наконец осмотрелся. Стены обиты сосновыми досками, на двери зарешеченное окошечко, на каменном полу окурки и следы засохшей мочи. Охранник принес ему завтрак; это был тот самый плотного сложения полицейский, который подходил к ним на почте. Разговаривать с ним он не стал. Под ногтями обеих рук застряли занозы от сосновых досок пола; Стефану пришлось немало повозиться, вытаскивая их.

На третий день явился другой охранник, толстый, с темной бородкой, провонявший потом и луком, в точности как торговцы на том рынке под липами.

— В каком я городе?

— В Превне.

Охранник запер за собой дверь и сунул ему в зарешеченное окошечко сигарету, потом дал прикурить.

— Скажите, мой друг умер? Почему в него стреляли?

— Просто человеку, которого они искали, удалось удрать, — сказал охранник. — Тебе больше не нужно, а? Завтра тебя выпустят.

— Значит, его убили?

Охранник проворчал «да» и ушел. Через некоторое время в зарешеченное окошко влетели полпачки сигарет и коробок спичек и упали на пол у ног Стефана, сидевшего на койке. На следующий день его выпустили. Он никого так и не увидел, кроме толстого охранника с темной бородкой, который проводил его до дверей тюрьмы. Потом он долго стоял на главной улице Превне, примерно в квартале от рыночной площади. Закат уже догорел, было холодно, над липами, над крышами, над далекими горами куполом вздымалось ясное темно-синее небо.

Билет до Айзнара по-прежнему был у него в кармане. Он медленно, осторожно дошел до рыночной площади, пересек ее, скрываясь в тени темных деревьев, и остановился возле почты. Ни одного автобуса видно не было. Он понятия не имел, по какому расписанию они ходят. Потом вошел в дверь почты, прошел в кафе и присел, понурившись, дрожа от холода, за один из трех имевшихся там столиков. Вскоре из задней комнатки появился управляющий.

— Скажите, когда будет следующий автобус? — Он никак не мог вспомнить фамилию этого человека — то ли Праспец, то ли Прайеспец, что-то в этом роде.

— В Айзнар? В восемь двадцать утра, — ответил тот.

— А в Портачейку? — помолчав, спросил Стефан.

— Есть местный рейс, в десять.

— Вечера?

— Да, в десять вечера.

— Вы можете поменять это на... билет до Портачейки? — Стефан вытащил и протянул управляющему свой билет до Айзнара. Тот взял его и о чем-то задумался.

— Подождите, я посмотрю. — Он снова вышел в заднюю комнатку. Стефан неторопливо приготовил мелочь — расплатиться за чашку кофе — и склонился над столом. Было десять минут восьмого, если верить будильнику с белым циферблатом, стоявшему на стойке. В семь тридцать вошли три местных жителя, все трое были огромного роста и желали выпить пивка. Стефан задвинул свой стул как можно глубже в угол и сидел, уставившись в стену и время от времени украдкой поглядывая на посетителей и на будиль-

ник. Его по-прежнему бил озноб; через некоторое время он не выдержал: уронил голову на руки и прикрыл глаза.

И тут услышал голос Брюны прямо над головой:

— Стефан!

Она присела к нему за столик. Волосы, обрамлявшие ее лицо, казались очень светлыми, точно хлопковое волокно. Стефан никак не мог заставить себя поднять голову, подпертую стоявшими на столе руками. Потом посмотрел на Брюну и опустил глаза.

— Нам позвонил господин Праспайец. Куда ты собирался ехать?

Он не ответил.

— Они что, велели тебе убираться из города?

Он покачал головой.

— Значит, они тебя просто отпустили? Ну так пошли же! Я принесла твою пальто, ты наверняка замерз. Пойдем домой, Стефан. — Она встала, и он встрепенулся; взял у нее свое пальто и сказал:

— Нет. Я не могу.

— Почему же?

— Это опасно для тебя. И потом, с какими глазами я туда приду?

— С какими глазами? Ну хватит, пойдем. Мне хочется поскорей отсюда уйти. Завтра мы снова переезжаем в Красной, ждали только тебя. Ну пошли же, Стефан. — Он встал и пошел следом за ней. Уже наступила ночь. Они пересекли улицу и пошли дальше по проселочной дороге. Брюна освещала путь электрическим фонариком. Стефана она держала за руку; оба молчали. Вокруг были только темные поля да звезды.

— А ты не знаешь, что они сделали...

— Нам сказали, что его увезли куда-то на грузовике.

— Я не... Ведь все в городе его знали, и все-таки... — Он почувствовал, как она пожала плечами, и они молча пошли дальше. Дорога опять казалась Стефану очень длинной, как в первый раз, когда они с Казимиром шли здесь в темноте. Начался подъем на холм — именно тогда в тот раз и появились вокруг них те огоньки среди дождя.

— Пошли скорей, Стефан, — почему-то смущенно попросила его шедшая рядом с ним девушка, — ты совсем замерз.

Однако ему пришлось остановиться, отойти от нее и на ощупь искать у обочины дороги что-нибудь — изгородь или

дерево, — к чему можно было бы прислониться, пока не перестанут литься слезы; но он так ничего и не нашел. Просто стоял в темноте и плакал, и она стояла с ним рядом. Наконец он обернулся к ней, и они пошли дальше. Камни и сорные травы казались белыми в неровном круге света от ее фонарика. Когда они миновали вершину холма, она сказала по-прежнему смущенно, но упрямо:

— Я сказала маме, что мы хотим пожениться. Когда мы услышали, что тебя посадили в тюрьму, я пошла и сказала ей. Отцу, правда, еще не говорила. Случившееся... его просто убило, он никак не может смириться с его гибелью. А мама все восприняла нормально, когда я ей сказала. Я бы хотела, чтобы мы поженились как можно скорее, если, конечно, ты еще этого хочешь, Стефан.

Он молча шагал с нею рядом, потом сказал:

— Все правильно. Нельзя просто так упускать свое счастье. — Сквозь деревья, внизу и прямо перед ними, желтым светились окна дома; над ними сияли звезды да несколько легких облачков проплывало по небу. — Нельзя.

AN DIE MUSIK*

Т — ут вас кто-то спрашивает. Некий господин Гайе.

Отто Эгорин кивнул. Это был его единственный свободный день в Фораное, и неизбежным казалось, что какие-то юнцы, подающие надежды, непременно отыщут его и день, естественно, пропадет. По тону слуги он догадался, что «кто-то» — персона не слишком важная. Впрочем, он слишком долго занимался исключительно делами жены, организовав ей концертное турне, и теперь воспринимал почти как развлечение очередного поклонника своего таланта, рвущегося к нему в ученики.

— Проводите его сюда, — сказал Отто, вновь занялся письмом, которое писал, и поднял голову, только когда посетитель успел вдоволь налюбоваться его крупной и совершенно лысой головой. Он отлично знал, что первое подобное впечатление навсегда гасит практически любые наглые поползновения. Однако этот посетитель наглым отнюдь не выглядел: невысокий, в дешевеньком костюме, он держал за руку маленького мальчика и что-то заикаясь бормотал насчет чудовищной бесцеремонности... драгоценного времени... великой привилегии...

— Так-так, ну хорошо, — промолвил импресарио, в меру доброжелательно, ибо знал, что если таким вот застенчивым сразу не помочь освоиться, то на них уйдет куда больше времени, чем на самого дерзкого наглеца, — значит, он

* К музыке (нем.).

у вас играет гаммы с тех пор, как научился сидеть, а «Аппассионату» — с трех лет? Или, может, вы сами пишете для него сонаты, дорогой мой? — Ребенок не мигая смотрел на него холодными темными глазами. Мужчина стал еще больше заикаться и совсем умолк.

— Ради Бога простите меня, господин Эгорин, — заговорил он снова, — я бы никогда не осмелился... но моя жена больна, и по воскресеньям я вожу мальчика гулять, чтобы хоть немного освободить ее от забот... — Мучительно было видеть, как он то краснеет, то бледнеет. — Он никаких хлопот не причинит! — вырвалось у него.

— В таком случае, о ком идет речь, господин Гайе? — довольно сухо спросил Отто.

— Я пишу музыку, — сказал Гайе, и Отто наконец понял, что ошибся: не мальчика предлагали ему в качестве очередного вундеркинда; у мужчины под мышкой торчал небольшой сверток — скатанная в трубку нотная бумага.

— Ах так! Ну хорошо, дайте-ка мне посмотреть, пожалуйста, — сказал Отто, протягивая руку. Именно этого момента он больше всего опасался при общении со стеснительными людьми. Однако Гайе не стал объяснять в течение получаса, что именно он хотел написать, как и почему, комкая свои сочинения и потея, а молча протянул ноты Эгору и, когда тот сделал приглашающий жест, присел на жесткий гостиничный диван. Мальчик сел с ним рядом; оба явно нервничали, однако казались покорными и смотрели на Отто одинаковыми, странно неподвижными темными глазами. — Видите ли, господин Гайе, в конце концов, вы ведь именно за этим сюда пришли, верно? Самое главное для вас — музыка, которую вы мне принесли. И вы хотите, чтобы я на нее взглянул. Мне тоже хочется посмотреть ваше произведение, так что прошу меня извинить. — С этими словами ему обычно удавалось вырвать манускрипт из рук застенчивых говорунов и посмотреть его. Однако мужчина просто кивнул в ответ и пояснил едва слышно:

— Здесь четыре песни и ч-ч-часть реквиема.

Отто нахмурился. В последнее время он часто говорил, что понятия не имел о том, сколько идиотов на свете пишут песни, пока не женился на певице. Однако мрачные подозрения улеглись, стоило ему взглянуть на первую песню; это оказался дуэт для тенора и баритона, и Отто даже решил, что стоит разглядить хмурые складки на лбу. Послед-

няя из четырех песен особенно привлекла его внимание; это было одно из лирических стихотворений Гёте, положенное на музыку. Отто даже вылез из-за письменного стола и двинулся в сторону пианино, однако вовремя остановился: ни к чему зря обнадеживать. С такими посетителями нужно ухо держать востро, не то сыграешь хотя бы одну ноту из сочиненной ими дребедени, и они уже считают себя равными Бетховену и уверены, что через месяц непременно будут выступать в столице в программе Отто Эгорина. Впрочем, на этот раз попалась настоящая музыка — замечательная мелодия в первом голосе и полный томления, изящный, тихий аккомпанемент. Он перешел к реквиему, точнее — к трем его фрагментам: *Kyrie eleison, Benedictus, Sanctus**. Почерк был аккуратный, но торопливый и мелкий. Ну да, нотная бумага ведь дорогая, подумал Отто, взглянув на башмаки посетителя. В ушах у него звучало соло тенора, сопровождаемое громом органа, тромбонов и контрабасов. «*Benedictus qui venit in nomine Domini*»**... — очень интересно задумано: как раз когда кажется, что грохот инструментов вот-вот сведет тебя с ума, мелодия вдруг становится прозрачной, простой, и можно поклясться: именно такой она и была все время. А тенор, черт бы его побрал! *Piano* да еще на самых верхних нотах! Нет, вы найдите мне такой тенор, чтобы все это спел да и сумел заглушить ревущие тромбоны! Так, теперь *Sanctus*: что ж, замечательно, ага, труба... нет, в самом деле замечательно! Отто поднял голову. Он, сам того не замечая, отбивал рукой ритм, кивал, улыбался и что-то бормотал себе под нос. Ну и музыка!

— Подойдите-ка сюда! — сказал он сердито. — Как ваше имя? Что это такое?

— Ладислас Гайе. Это... это... вторая труба.

— А почему не помечено? Вот здесь, сыграйте-ка!

Они прошли *Sanctus* с начала и до конца пять раз.

— Плам, пла-ам, плам! — гудел Отто, изображая трубу. — Прекрасно! А почему у вас здесь басы вступают, раз-два-три-четыре — Р-РАЗ! — и вступают басы, как слоны, а зачем, собственно?

* *Kyrie eleison* (греч.) — Господи, помилуй! *Benedictus* (лат.) — Благословенный. *Sanctus* (лат.) — Священный.

** Начало молитвы «Благословен будь тот, кто является от имени Господа» (лат.).

— Чтобы вернуться к началу, послушайте, вот орган аккомпанирует тенорам, — и пианино загрохотало, а Гайе запел хрипловатым тенорком. — Вот является Саваоф, потом вступают виолончели и ревут слоны, четыре слона, Sanctus! Sanctus! Sanctus!

Гайе пересел на прежнее место. Отто с трудом оторвался от последней ноты. В комнате стояла тишина.

Отто поправил увядающую красную розу в вазе, стоявшей на взятом напрокат пианино, и спросил:

— А где вы, собственно, надеетесь услышать исполнение этого реквиема?

Композитор молчал.

— Нужен женский хор. И два мужских. И оркестр в полном составе — с духовыми, с органом. Ну-ну. Дайте-ка мне еще разок взглянуть на ваши песни. Для мессы вы больше ничего не написали?

— «Верую», только еще оркестровка не готова.

— Полагаю, там вы введете двойное количество ударных, а? Ну хорошо. Так которая из них на слова Гёте? Дайте-ка я сыграю. — Он дважды сыграл песню с начала и до конца, потом долго молчал, машинально наигрывая одну из причудливых, точно недоговоренных музыкальных фраз аккомпанемента. — А знаете, первоклассная музыка! — заявил он наконец. — Просто первоклассная. Нет, какого черта! Вы что, пианист? Кто вы, собственно, такой?

— Обыкновенный чиновник.

— Чиновник? Какой еще чиновник? Так это что, ваше хобби, а? Вы этим в свободное время развлекаетесь?

— Нет, это... это то, что я...

Отто поднял голову и посмотрел на него: какой-то коротышка в жалком костюме, бледный от волнения, неразговорчивый...

— Я бы хотел кое-что узнать о вас поподробнее, Гайе! В конце концов, вы вторглись ко мне, заявили: «Я пишу музыку», показали мне кое-что — маловато, правда, но очень неплохо. Очень... Да, очень, особенно вот эта песня и ваш Sanctus, впрочем, и Benedictus — тоже настоящая работа. Мне просто не оторваться! Но я и раньше видел неплохие произведения — на бумаге. Вот вы когда-нибудь выступали со своими на публике? Сколько вам лет, кстати?

— Тридцать.

— Что вы еще написали?

— Ничего. Во всяком случае, ничего достаточно крупного...

— К тридцати-то годам? Всего четыре песни и половину реквиема?

— У меня мало времени остается для работы.

— Господи, какая чепуха! Чепуха! Невозможно написать такое, не имея никакой практики. Где вы учились?

— Здесь, в Школе Канторов... до девятнадцати лет.

— У кого? У Бердике, у Чея?

— У Чея и у мадам Везерин.

— Никогда о такой не слышал. И больше вы мне ничего не покажете?

— Остальное хуже или еще не закончено...

— Сколько вам было лет, когда вы написали эту песню?

Гайе колебался:

— По-моему, лет двадцать.

— Десять лет назад! А что вы остальное-то время делали?

Скажете «хочу музыку писать», да? Ну так и пишите! Что я еще могу вам посоветовать? Эти вещи хороши, даже очень хороши, а тот пассаж с ревущими тромбонами просто отличный! Дорогой мой, вы безусловно можете писать музыку, но чем я-то могу помочь? Не могу же я опубликовать четыре песни и полреквиема, написанные никому не известным учеником Васласа Чея? Ясно, что нет. Вам, насколько я понимаю, требовалось чье-то одобрение? Что ж, это в моих силах. Я полностью одобряю вашу деятельность. Да, одобряю и призываю вас писать больше музыки, больше. Почему вы ее не пишете?

— Я понимаю, как это мало, — сдавленным голосом проговорил Гайе. Лицо его было искажено, рука елозила по узлу галстука, мяла и терзала его. Он вызывал у Отто одновременно жалость и раздражение.

— Да, крайне мало, но почему бы не написать еще? — спросил Отто, стараясь быть дружелюбным.

Гайе потупился, словно разглядывая клавиши, потом коснулся их рукой; он весь дрожал.

— Видите ли, — начал он, потом вдруг резко отвернулся, сторбился, спрятал лицо в ладонях и разрыдался. Отто так и застыл на вертящейся табуретке у фортепиано. Мальчик, о котором никто не вспоминал, все это время смиренно сидел на диване, свесив ножки в серых чулках; теперь он соскользнул на пол и бросился к отцу; и, разумеется, тоже

захныкал. Он упорно тянул отца за куртку, пытаясь достать его руку, и шептал:

— Папа, не надо, папа, пожалуйста, не надо.

Гайе опустил на колени и одной рукой обнял ребенка:

— Извини, Васли. Не волнуйся, все хорошо... — Но он никак не мог успокоиться, и Отто встал, позвал горничную жены и величественно приказал:

— Возьмите-ка этого молодого человека да угостите его чем-нибудь вкусненьким, пусть порадует, хорошо?

Горничная, спокойная молодая швейцарка, абсолютно уверенная, что все жители Центральной Европы сумасшедшие, кивнула и, совершенно не обращая внимания на плачущего мужчину, сказала:

— Пойдем-ка со мной, малыш. Как тебя зовут?

Но ребенок продолжал цепляться за отца.

— Ступай с этой госпожой, Васли, — сказал Гайе, и мальчик позволил девушке взять себя за руку и увести.

— Хороший у вас малыш, — сказал Отто. — А теперь, Гайе, присядьте-ка. Бренди? Немножко, а? — Он открыл дверцы бюро, выдвинул какой-то ящик, фыркая и что-то ворча себе под нос, протянул Гайе стакан и снова уселся за стол.

— Я не могу... — начал было совершенно измученный Гайе.

— Да, не можете; и я не могу; что ж, бывает. Возможно, вас это удивляет больше, чем меня. А теперь послушайте, Ладислас Гайе. У меня нет времени заниматься чужими бедами, у меня слишком много собственных забот. Но раз уж мы с вами так далеко зашли, то я бы хотел знать: из-за чего вы сдались?

Гайе покачал головой и ответил по-прежнему покорно; смиренное выражение исчезло у него с лица, лишь пока они занимались его сочинениями. Он вынужден был бросить музыкальное училище, когда умер его отец; теперь ему приходится содержать мать, жену и троих детей, будучи жалким чиновником на заводе, изготовляющем шарикоподшипники и прочие мелкие детали. Там он работает уже одиннадцать лет. Четыре раза в неделю по вечерам он дает уроки игры на фортепиано, и ему разрешают пользоваться классом в Школе Канторов.

Некоторое время Отто молчал; ему просто нечего было сказать в ответ.

— Господь явно позаботился, чтобы ваш жизненный путь был достаточно тернист. Не повезло вам, — заметил он. Гайе не ответил. И действительно, слова «повезло» или «не повезло» не годились для описания той нескончаемой череды несправедливостей, от которых Ладислас Гайе, как и многие другие, страдал так жестоко, зато Отто Эгорин, неизвестно по какой причине, не страдал совершенно. — Почему вы решили прийти ко мне, Гайе?

— Мне это было необходимо. Я знал, что вы, вероятно, скажете: этого мало. Однако, услышав о вашем скором приезде сюда, я поклялся обязательно повидать вас. Я должен был сделать это. Меня, конечно, знают в Школе, но там все слишком заняты с другими учениками; с тех пор как умер Чей, не осталось никого... Мне необходимо было вас увидеть! Не для того, чтобы вы меня приободрили — просто очень хотелось увидеть того, кто живет ради музыки, кто организует половину всех концертов в стране, кто символизирует собой...

— Успех, — договорил за него Отто Эгорин. — Да, я понимаю. Я ведь хотел стать композитором. Когда мне было двадцать и я жил в Вене, то вечно ходил к дому Моцарта или к могиле Бетховена. Я взывал к Малеру, к Рихарду Штраусу, ко всем композиторам, которые когда-либо посещали Вену. Я тщательно изучал их путь к успеху — как живых, так и мертвых. Когда-то они написали музыку, которую исполняют до сих пор. Видите ли, уже тогда я понимал: сам я настоящим композитором не являюсь, так что мне нужно ощутить реальность их существования, чтобы жизнь обрела хоть какой-то смысл. Впрочем, вас это не касается. Вам и нужно-то всего лишь напомнить, что музыка существует вечно. Я прав? И что не все на этом белом свете занимаются изготовлением шарикоподшипников.

Гайе кивнул.

— А что, больше некому позаботиться о вашей матери? — вдруг спросил Отто.

— Моя сестра вышла замуж за чеха, они живут в Праге... А она прикована к постели, моя мать то есть...

— Понятно. Да еще имеется жена, у которой нервы не в порядке, детишки, бесконечные счета, и этот шарикоподшипниковый завод... Верно? Ну что ж, Гайе, не знаю, что вам и сказать. Видите ли, был на свете Шуберт. Я часто думаю о нем — это вовсе не вы заставили меня о нем вспомнить — и никак не могу понять, для чего Господь

создал Франца Шуберта? Чтобы искупить чужие грехи? И почему он убил его именно тогда, когда был достигнут уровень его последнего квинтета?.. Но сам-то Шуберт не задумывался, зачем Господь его создал. Разумеется, затем, чтобы писать музыку! *Du holde Kunst, ich danke dir!** Невероятно! Маленький, болезненный, безобразный, развалина в очках! Ему так и не довелось услышать, как исполняют его произведения... *Du holde Kunst!* Как лучше — «о, милосердное Искусство» или «о, возлюбленное Искусство»? Точно искусство способно быть добрым или милосердным! А вы никогда не думали, что надо все это бросить, Гайе? Только не музыку. Все остальное, а?

Он выдержал взгляд странных, холодных и темных глаз, не испытывая ни стыда, ни желания извиниться. Гайе ведь сам только что сказал: он, Отто Эгорин, живет ради музыки. И это действительно так. Он мог бы проявить буржуазную доброту и сочувственно отнестись к этому бедняге, которому ничего в мире не нужно, чтобы быть хорошим композитором, разве что немножко денег; но он ни за что не стал бы извиняться перед его больной матерью, или больной женой, или тремя детишками. Если живешь ради музыки, то и живи ради нее.

— Я не так устроен.

— Значит, вы не годитесь и для того, чтобы писать музыку.

— Вы думали иначе, когда читали мой *Sanctus*.

— *Du lieber Herr Gott!* — взорвался Отто. Он был большим патриотом, но мать его была уроженкой Вены, он и сам вырос в Вене, так что в моменты сильного душевного волнения переходил на немецкий. — Ну хорошо! А вам никогда не приходило в голову, мой дорогой молодой друг, что вы берете на себя некую ответственность, если пишете нечто вроде этого? Что с вас за ваш *Sanctus* еще спросится? Что у музыки не бывает ни артрита, ни расстроенных нервов, ни голодного брюха, ни «папа, папа, я хочу то, я хочу это», но тем не менее она зависит от вас, от вас одного? Другие тоже могут кормить детей и ухаживать за больными женщинами. Но больше никто не может написать вашу музыку!

— Да, я понимаю.

— Но не совсем уверены, что кто-нибудь возьмется кормить ваших детей и содержать ваших больных женщин.

* О, прекрасная Музыка, благодарю тебя (нем.).

Возможно, и нет. Так-так... вы слишком мягки, слишком мягки, Гайе. — И Отто забегал по комнате на своих кривоватых ногах, фыркая и гримасничая.

— Можно мне прислать вам реквием, когда я его закончу?

— Да. Да, разумеется! Мне было бы очень приятно. Только когда же это случится? Лет через десять? «Гайе? А кто, черт побери, это такой? Где я его встречал?.. Но, знаете, очень неплохо... у молодого человека явно есть задатки...» А вам уже будет сорок, вы уже начнете уставать, уже сами вплотную подойдете к артриту или расстройству нервной системы... Но, конечно же, присылайте мне свой реквием! Вы очень талантливы, Гайе, и обладаете великим мужеством, но чересчур мягки; вам не стоит писать такие большие вещи, как Реквием. Вы не можете служить двум господам сразу. Пишите песни, небольшие пьесы, что-нибудь такое, о чем можно думать во время работы на этом вашем Богом забытом предприятии, а записать потом, ночью, когда ваше семейство хотя бы на пять минут оставит вас в покое. Пишите на чем придется, хоть на неоплаченных счетах, и присылайте мне, только не думайте, что непременно нужно покупать лучшую нотную бумагу по два с половиной кронера за лист! Этого вы себе позволить не можете. А вот когда ваши вещи будут опубликованы, тогда другое дело. Присылайте, присылайте мне свои песни и не через десять лет, а через месяц, считая от сегодняшнего дня, и если они будут такими же хорошими, как та, что на слова Гёте, я отдам вам целое отделение в концерте моей жены, который состоится в декабре в Красное. Пишите небольшие песни, а не огромные мессы. Гуго Вольф — вы ведь знаете Гуго Вольфа? — так вот, Гуго Вольф писал только песни, ясно?

Он опасался, что Гайе, преисполненный благодарности, снова сорвется, и все-таки был доволен собой, мудрым и великодушным: он ведь уже сумел осчастливить этого бедолагу и теперь имел право на собственную выгоду. Второй голос той мелодии на слова Гёте все еще звучал в голове — вольный, незатейливый, печальный и прекрасный. Потом вдруг заговорил сам Гайе, и Отто не сразу понял — хотя и не особенно удивился, — что в словах его звучит отнюдь не благодарность.

— Реквием — именно то, для чего я предназначен, он живет у меня внутри. А песни — да, они порой рождаются сразу в большом количестве, но я никогда не имел возможности записать их, даже если хотел: для этого потребовался

бы целый день. Видите ли, этот реквием и еще одна симфония, над которой я в последнее время работал, обладают как бы определенным объемом и весом, ты долгое время носишь их в себе и всегда можешь продолжить работу над ними, если появляется время. Я понимаю, этот мой реквием кажется несколько амбициозным. Однако я уже знаю, что именно хотел бы сказать в нем. И это будет неплохо. Понимаете, я уже умею выразить то, что должен был выразить. Я уже начал работу над ним и теперь обязан ее закончить.

Отто давно уже перестал бегать по комнате, остановился и смотрел на Гайе недоверчиво, но с неким дружелюбным долготерпением.

— Ба! — сказал он. — Так какого же черта тогда вы явились ко мне? Да еще и нюни тут распустили? А сами заявляете: спасибо, мол, большое за ваши советы и предложения, но я все-таки попытаюсь достигнуть недостижимого? Невежество, безрассудство — нет, это все я пережить могу — но вот глупость, абсолютную глупость артистов у меня больше нет сил выносить!

Смущенный, снова ставший покорным, Гайе сидел перед ним в своем жалком костюме и сам тоже казался жалким; все в нем свидетельствовало о крайней нужде, о чрезмерном напряжении, о постоянном недоедании, о неизбежных бытовых неурядицах и заботах. Отто отлично понимал: можно кричать на него хоть два часа, можно пообещать ему рекомендательные письма, публикацию его произведений, выступления перед публикой — Гайе все равно ничего не услышит и будет лишь повторять невнятно и заикаясь: «Сперва я должен закончить реквием...»

— Вы читаете по-немецки?

— Да.

— Это хорошо. Значит, как только ваш реквием будет закончен, сразу начинайте писать песни. На немецком. Или на французском, если он вам больше нравится, публика к нему привыкла. Знаете, в Вене и Париже не станут особенно слушать песни на языке, вроде нашего, на каком-нибудь румынском или датском — они для публики всего лишь забава, этакое фольклорное явление. А мы с вами хотим, чтобы вашу музыку слушали, так что пишите в расчете на крупные государства и помните, что большинство певцов — идиоты. Договорились?

— Вы очень добры, господин Эгорин, — сказал Гайе, но отнюдь не покорным тоном, а с холодным достоинством,

позабавившим Отто. Он явно понял, что Отто уступил его упрямому безрассудству, как уступил бы безрассудству любого великого, знаменитого артиста, которого стал бы обхаживать с шуточками, а ведь его, Гайе, он мог бы с тем же успехом запросто раздавить, как какого-нибудь жучка. И он догадался: Отто побежден.

— Вот только отложили бы вы этих своих громогласных слонов хоть ненадолго, хоть на несколько вечеров, и написали бы что-нибудь такое, знаете ли, что можно было бы опубликовать, вставить в концерт, что вы сами смогли бы услышать в чужом исполнении, — говорил Отто по-прежнему иронично, по-прежнему с легким раздражением, однако вполне уважительно, и тут вдруг дверь со стуком распахнулась. Вошла жена Отто Эгорина, которая волокла за собой сынишку Гайе. Следом за ними шла горничная-швейцарка. В комнате мгновенно стало много народу — мужчины, женщины, дети, — зазвучало множество голосов, запахло духами, заблестели драгоценности.

— Отто, посмотри, кого я обнаружила у Анны Элизы! Ты видел когда-нибудь такое обворожительное дитя? Нет, ты только посмотри, какие у него глаза — огромные, темные, трагические! Его зовут Васли, и он любит шоколад. Такое чудо, настоящий маленький мужчина! Нет, ты когда-нибудь видел подобного ребенка? Как вы поживаете? Я очень рада... Вы ведь отец Васли?.. Ну да, разумеется! Те же глаза! Господи, какая отвратительная дыра — этот городишко! Отто, я хочу уехать отсюда сразу после концерта, на первом же поезде, мне все равно, пусть он хоть в три утра отходит. У меня такое ощущение, что я уже похожа на те огромные заброшенные дома за рекой — у них окна, как пустые глазницы черепа, и плятятся, плятятся, плятятся без конца! Почему эти дома не снесут, если там больше никто не живет? Никогда, ни за что больше не поеду на гастроли в провинцию, провались оно, это вдохновляющее воздействие национального искусства! Не могу я петь здесь на каждом кладбище, Отто. Анна Элиза, приготовьте мне ванну, пожалуйста. Я чувствую себя грязной, прямо-таки бурой от грязи, такого же цвета, как их гречневая крупа. Вы из администрации Сорга?

— Я уже говорил с ними по телефону, — вмешался Отто, зная, что Гайе ничего не сможет ей ответить. — А господин Гайе — композитор, дорогая, он пишет мессы. — Он не сказал «песни», потому что это слово тут же привлекло бы

внимание Эгорины. Он пытался хоть чем-то отплатить Гайе, давая ему предметный практический урок. Эгорина, которой мессы были совершенно не интересны, продолжала болтать о своем. Перед каждым концертом из нее в течение двадцати четырех часов изливался бесконечный поток слов, она умолкала, только когда выходила на сцену петь — высокая, великолепная, сияющая улыбкой. После концерта она обычно становилась очень тихой и задумчивой. По словам Отто, она являлась «самым прекрасным музыкальным инструментом в мире». Он женился на ней только потому, что это было единственным способом удержать ее от выступлений в опереттах; упрямая, глупая и чувствительная, что было в ней прямо пропорционально ее таланту, Эгорина ужасно боялась провала и желала добиться успеха надежным путем. Женившись на ней, Отто заставил ее пойти к победе нелегким путем солистки хора. В октябре она должна была впервые петь в опере — в «Арабелле» Штрауса. Вполне возможно, что перед этим она будет говорить не умолкая в течение полутора месяцев. Но Отто вполне мог вынести это испытание. Эгорина, в общем, отличалась красотой и добродушием; кроме того, совсем не обязательно было ее слушать. Она не очень-то обращала внимания на то, слушают ее или нет; главное — чье-то присутствие, аудитория.

Она продолжала говорить. Из ванной комнаты доносился звук льющейся воды. Зазвонил телефон, Эгорина взяла трубку. За все это время Гайе не промолвил ни слова. Мальчик с мрачным видом стоял с ним рядом. Эгорина совершенно забыла о Васи после своего торжественного выхода и теперь ругалась с кем-то по телефону, как извозчик.

Гайе встал. Облегченно вздохнув, Отто проводил его до дверей, протянул две контрамарки на завтрашний концерт Эгорины и, пожав плечами, отверг всякую благодарность:

— Да что вы в самом деле! Нам тут и билеты-то распродать не удалось! Какая музыка — совершенно тухлый город!

У них за спиной продолжал литься восхитительный голос Эгорины, взрывы ее смеха казались струями великолепного фонтана.

— Господи! Да какое мне дело, что там этот еврейчик скажет? — пропела она, и снова золотистыми колокольчиками зазвенел ее смех.

— Знаете, Гайе, — сказал Отто Эгорин, — этот мир вообще не очень-то годится для музыки. Особенно теперь, в

1938 году. Вы не единственный, кто мучается вопросами: а что такое добро? кому нужна музыка? кто хочет ее слушать? А действительно, кто, если Европа кишит военными, точно труп червями? Если в России пишут симфонии, желая торжественно отметить открытие очередной птицефабрики на Урале? Если музыка годится лишь для того, чтобы Пуци наигрывал на фортепиано, успокаивая нервы Вождя? Знаете, к тому времени как вы закончите свой Реквием, все церкви, вполне возможно, взлетят на воздух, а мужской хор будет выступать исключительно в военной форме, а потом и он тоже взлетит на воздух. Если же этого все-таки не произойдет, пришлите ваш Реквием мне, мне это безразлично. Впрочем, особых надежд я не питаю. Я, как и вы, на стороне проигравших. И она тоже, моя Эгорина. Можете мне не верить, но это так. Она-то никогда этому не поверит... А музыка сейчас ни к чему, она сейчас бесполезна, Гайе. Она утратила свою силу. Но вы пишете — песни, реквием — пишете, это никому не приносит вреда. А я буду продолжать свою концертную деятельность, это тоже никому не приносит вреда. Но это не спасет нас...

Ладислас Гайе с сыном пошли от гостиницы пешком, через старый мост над рекой Рас; их дом находился в Старом Городе, в одном из унылых беспорядочно застроенных кварталов северного берега. Все приличные современные дома Фораноя были на южном берегу, в Новом Городе. Стоял ясный теплый день; поздняя весна. Они остановились на мосту, любуясь отражавшимися в темной воде арками; каждая из них, соединяясь со своим отражением, образовывала идеальную окружность. Мимо проплыла баржа, тяжело нагруженная упаковочными клетями, и Васи, которого отец взял на руки, иначе ему ничего не было видно из-за каменных перил моста, сплюнул вниз, прямо на одну из клетей.

— Как тебе не стыдно! — сказал Ладислас без особого, впрочем, возмущения. Он был счастлив. Неважно, что он заикался и лепетал что-то, как ребенок, перед великим импресарио Отто Эгорином. Неважно, что сам он безумно устал, что сегодня жена особенно не в форме, что они давно уже опаздывают домой. Ему было безразлично все, кроме маленькой твердой ладошки сына, которую он сжимал в руке, и ветра, который здесь, на мосту, перекинутом меж двумя городами, уносил прочь все лишние звуки и оставлял человека в тишине, омытой теплом молчаливых солнечных

лучей; здесь, сейчас Отто Эгорин знал, кто он такой: музыкант, композитор. И признание его таковым тем, пусть единственным, человеком давало ему силы и ощущение свободы. Ничего, что он лишь какое-то мгновение испытывал это чувство — собственной силы и свободы: ему и этого было довольно. В голове звучал Sanctus — партия трубы.

— Папа, а зачем у той большой дамы в ушах такие странные штучки? И почему она все время спрашивала меня, люблю ли я шоколад? Разве бывает, чтобы люди не любили шоколад?

— Это драгоценные камни, Васи, сережки такие. А про шоколад я не знаю. — Труба все еще пела у него в ушах. Ах если б только они с малышом могли задержаться здесь подольше, в этом солнечном свете и тишине, между двумя мгновениями... Но они двинулись дальше, в Старый Город, мимо верфей, мимо заброшенных каменных домов, вверх по склону холма, к своему убогому жилищу. Васи вырвал руку и тут же исчез в толпе орущих детей, кишевших во дворе. Ладислас Гайе окликнул было его, потом сдался, поднялся по темной лестнице на третий этаж, открыл дверь в темную прихожую и сразу прошел в темноватую кухню — первую из трех комнат их квартиры. Жена чистила за кухонным столом картошку. В грязном белом халате и грязных розовых синелевых шлепанцах на босу ногу.

— Уже шесть часов, Ладис, — сказала она, не оборачиваясь.

— Я был в Новом Городе.

— А ребенка-то зачем в такую даль потащил? Где он, кстати? И где Тоня и Дживана? Я их звала, звала... Во дворе их нет, это точно. Да, так зачем ты таскался в Новый Город с ребенком?

— Я ходил к...

— Ох, спина у меня сегодня ноет — сил нет! А все из-за жары. И почему это лето здесь всегда такое жаркое?

— Давай я почищу.

— Нет уж, я сама закончу. Не мог бы ты, наконец, прочистить горелки в духовке, Ладис? Я тебя об этом раз сто, наверно, просила! Мне ее теперь вообще не зажечь, там все засорилось, а с такой спиной я ее чистить не могу.

— Хорошо. Только рубашку переодену.

— Послушай-ка, Ладис... Ладис! А что, Васи так и гуляет в хорошем костюме? Спустись и немедленно уведи мальчика со двора! Ты что, считаешь, мы в состоянии каждый

раз отдавать в чистку его воскресный костюм? Ладис, ты слышишь? Спустись и приведи его домой! Ну почему ты никогда ни о чем не думаешь? Васли наверняка уже по уши в грязи. К тому же он водится с этими хулиганами и вечно играет у колонки!

— Иду, иду, не погоняй меня, ладно?

В сентябре задули восточные ветры. Ветер пролетал мимо пустых каменных домов, спускался к сверкающей реке, морща ее поверхность, поднимал сухую пыль на улицах, стремясь запылить глаза людям, идущим с работы. Ладислас Гайе миновал уличного оратора, и навстречу ему попала маленькая девочка, которая, громко плача, бежала по крутой улочке; потом он прошел мимо газетного киоска, заметив крупными буквами напечатанный заголовок: «Пребывание мистера Невилла Чемберлена в Мюнхене». У обочины был припаркован большой автомобиль, возле него собралась целая толпа. Потом Ладислас обошел группу юнцов, наблюдавших за кулачным боем, миновал двух женщин, задушевно беседовавших друг с другом на всю улицу — одна стояла на краю тротуара, а вторая, одетая в синий с малиновыми цветами атласный халат, свесилась из окна. Он вроде бы видел и слышал все это, но все-таки не видел и не слышал ничего. Он очень устал. Вот и дом. Маленькие дочки Ладисласа Гайе играли во дворе, в темном колодце, окруженном со всех сторон стенами четырехэтажных домов. Он заметил их среди множества других девочек, визжавших у двери в полуподвал, но не остановился, а сразу поднялся по темной лестнице, вошел в прихожую и проследовал на кухню. В последнее время его жене стало лучше, поскольку жара стала ослабевать, но в данный момент она пребывала в дурном расположении духа. Глаза у нее были явно на мокром месте. Оказалось, что Васли вместе со старшими мальчишками был пойман за отвратительным занятием: они мучили кошку, а в итоге облили животное керосином и собирались поджечь.

— Никчемный мальчишка! Маленькое чудовище! Как нормальному ребенку может прийти в голову такая гадость?

Васли, запертый в средней комнате, ревел от злости. Ладислас Гайе сел за кухонный стол и опустил голову на руки. Перед глазами все плыло. Жена продолжала свой гневный монолог по поводу «никчемного мальчишки» и его дворовых приятелей.

— ...да еще эта госпожа Рассе вечно сует повсюду свой нос! Влезла сюда, даже не постучавшись, да еще спрашивает, знаю ли я, что собирается сделать мой драгоценный Васли, словно ее собственными сорванцами можно гордиться! Вот уж у кого рожи — грязней не придумаешь и глаза красные, как у кроликов! Ну что, ты намерен как-то наказать его, Ладис? Или так и будешь сидеть? Может, ты думаешь, я одна могу с ним справиться? Или тебя и такой сынок устраивает?

— А что мне с ним делать? И вообще, мы сегодня есть будем или нет? У меня в восемь урок, ты же знаешь. И ради Бога, дай мне минутку посидеть спокойно.

— Спокойно? Значит, хочешь, чтобы тебя оставили в покое? Ну да, какое тебе дело до того, что твой сынок превращается в грубое животное, становится таким, как все здесь! Ну ладно, раз ты сам этого хочешь, с какой стати мне-то беспокоиться. — Она зашлепала по кухне в своих розовых шлепанцах, накрывая на стол.

— Маленькие дети всегда жестоки, — сказал Ладислас. — Они еще не понимают, что такое жестокость. Потом поймут.

Жена только плечами пожала. Васли теперь уже рыдал у самой двери: понял, что отец вернулся домой. Ладислас еще минутку подождал, потом прошел в соседнюю комнату и немного посидел с мальчиком, не зажигая света. Из третьей комнаты, где лежала бабушка, доносилась громкая танцевальная музыка. Ладислас специально для нее купил в комиссионке этот радиоприемник; радио было ее единственным развлечением, она только и говорила, что об услышанном по радио: Васли жался к отцу; плакать он перестал и выглядел совершенно измученным.

— Ты не должен так поступать, Васли. Ни ты, ни другие мальчики, — шепнул ему отец. — Бедная кошка ведь куда слабее вас, она даже защитить себя не может.

Васли молчал. Казалось, вся жестокость, вся нищета, вся тьма этого мира, настоящая и грядущая, окружают их в этой комнате. Рядом в вальсе ревели тромбоны. Васли жался к отцу и не говорил ни слова.

Среди рева тромбонов, густого, точно сладкая микстура от кашля, Гайе на мгновение услышал глубокие чистые звуки — свой Sanctus, точно гром небесный среди ясных звезд, из-за края Вселенной. Словно на мгновение с дома вдруг сорвали крышу и ему удалось заглянуть прямо в темную бездну. По радио заговорил ведущий — гладко и вос-

торженно. Гайе снова вернулся на кухню и сказал жене, пытаясь перекрыть пронзительные голоса дочек:

— Английский премьер-министр сейчас в Мюнхене, с Гитлером встречается.

Она не ответила и молча поставила на стол тарелки с едой — суп и картошку. Она все еще была очень рассержена.

— Ешь да язык придержи, бесстыдник! — рявкнула она на Васи, который уже обо всем забыл и всю болтал с сестрами.

Пока Гайе спускался с холма и шел по мосту через Рас в сгустившихся сумерках, мелодия, которую он написал когда-то, упорно звучала у него в ушах. Это была последняя из семи песен, которые еще в августе он сочинил сразу, одну за другой; он все думал, достаточно ли семи песен, чтобы отослать Отто Эгорину в Красной, и стоит ли переписать их для этого начисто. Но сейчас его почему-то тревожили последние строки стихотворения: «Не жалею я, ибо это Ты в милости Твоей обрушиваешь на головы нам стены того, что мы строили, дабы могли мы увидеть небо». Он повторил их вполголоса; здесь музыка должна звучать так... Гайе пропел мелодию про себя, потом повторил всю песню с начала до конца, прислушиваясь к аккомпанементу. Да, именно так. Господи, хоть бы его ученик опоздал, чтобы успеть наиграть аккомпанемент в Школе до начала урока. Однако опоздал на этот раз он сам, а когда урок закончился, голова была забита этюдами Клемента, и, хотя основная мелодия теперь слышалась уже совершенно ясно, как следует расслышать аккомпанемент он не мог — услышать его так же ясно, как слышал на мосту. Он пробовал повторить сперва стихотворение, потом всю мелодию, пробовал снова и снова, но тут явился сторож со своей метелкой и заявил, что пора запираить Школу. Гайе двинулся домой. Дул сильный холодный ветер, небо расчистилось, река казалась черной, как нефть, в ней отражались арки моста. На мосту он ненадолго остановился, но так и не услышал больше той музыки. Не смог.

Вернувшись домой, он сел за кухонный стол и стал просматривать запись основной мелодии, но этот вариант оказался куда слабее услышанного на мосту. Однако теперь у него не было ни инструмента, ни соответствующего настроения. Он забыл даже тональность, в которой звучал тот аккомпанемент, который так ему нравился. Все сразу стало как бы недостижимым. Он понимал, что слишком устал, что работа не пойдет, но упрямо продолжал работать и сердился,

тщетно пытаюсь снова услышать музыку и записать услышанное. С полчаса он просидел без движения, даже пальцами ни разу не пошевелил. У противоположного конца стола сидела жена и чинила Тонино платье, одновременно слушающая какую-то передачу по бабушкиному радио. Он закрыл уши руками. Жена что-то сказала насчет музыки, но он не слушал. Полная неспособность записать хоть одну музыкальную фразу душила его, давила непереносимой тяжестью, в груди точно застрял огромный булыжник. Я никогда не дождусь перемен, подумал он, и тут же почувствовал облегчение, просветление, а затем и уверенность в своих силах. И догадался, что та мелодия снова всплывает в его душе, понял, что снова слышит ее. Нет, ему не требовалось ее записывать: она была написана давным-давно, и никому больше не нужно было из-за нее страдать. Ее пела Легман*:

Du hold Kunst, ich danke dir.

Он долго еще сидел неподвижно. Музыка не спасет нас, сказал тогда Отто Эгорин. Не спасет ни вас, Отто, ни меня, ни ее — ту крупную женщину, в голосе которой звенят позолоченные колокольчики, но у нее нет детей и она их иметь не хочет. Она не спасет и Легман, которая пела эту песню; и Шуберта, который ее написал и уже сто лет как лежит в могиле. Да и какой вообще от музыки прок? Никакого. В этом-то все и дело, подумал Гайе. Миру с его государствами, армиями, заводами и великими Вождями музыка говорит: «Все это неуместно», а страдающему человеку она, уверенная в себе и нежная, как истинное божество, шепчет: «Слушай». Ибо быть спасенным — не самое главное. Музыка ничего не спасает. Милосердная и одновременно равнодушная, она отвергает и разрушает любые убежища, стены любых домов, построенных людьми для себя, чтобы люди эти смогли увидеть небо!

Гайе отодвинул исчерканные разлинованные листы бумаги, маленький томик стихов, ручку и чернильницу. Потом потянулся и зевнул.

— Спокойной ночи, — тихо сказал он жене и пошел спать.

* Лилли Легман (1848—1929) — немецкая оперная певица, знаменитое сопрано.

ДОМ

Солнечный свет, как всегда в октябре, желтыми полосами ложился поперек улицы; сотни сухих золотистых полудней шуршали под ногами. Лишь почтенный возраст спасал сикоморы от излишней назойливости. Зато в течение нескольких кварталов ее буквально преследовали фамильярно-дружески настроенные тени знакомых кирпичных стен и балконов. Фонтаны разговаривали с ней так, словно она никуда и не уезжала. Ее не было здесь восемь лет, а этот дурацкий город даже не заметил ее отсутствия; залитый солнечным светом, наполненный шумом множества фонтанов, он обступал ее со всех сторон, точно стены родного дома. Смущенная и обиженная, она прошла мимо дома номер 18 по улице Рейн, даже не взглянув ни на дверь в парадном, ни на ограду сада, хотя каким-то образом — не глазами — все-таки заметила, что и дверь, и калитка в сад заперты. После этого город постепенно отступился и оставил ее наконец в покое. Через один-два квартала он ее уже практически не узнавал. Фонтаны теперь разговаривали с кем-то другим. Теперь ее охватило иное смущение: она не узнавала ни перекрестков, ни подъездов домов, ни окон, ни витрин магазинов и, стыдясь, вынуждена была обращаться с вопросами к уличным указателям и табличкам с номерами домов, а когда отыскала нужный дом и в нем оказалось несколько подъездов, то пришлось войти и сперва спросить у открытых дверей, туда ли она попала. Неубранные постели, семейные ссоры, не до конца застегнутые платья отослали ее навстречу,

на четвертый этаж, но там на ее стук ответила лишь изящная надпись на дверной табличке: Ф. Л. ПАНИН. Она заглянула внутрь. Комната в мансарде была забита тяжелыми диванами и столами и имела вид разоренного жилища; комната казалась абсолютно чужой, залитой солнцем, душной и беззащитной.

Напротив она увидела занавешенный дверной проем и спросила:

— Есть кто-нибудь дома? — Из-за занавески ей ответил полусонный голос:

— Подождите минутку, пожалуйста.

Она подождала.

И он появился оттуда собственной персоной и прошел к ней через комнату, в точности такой, как прежде, ничуть не изменившийся за прошедшие восемь лет, как не изменились и камни на городской мостовой, и солнечный свет, пронизывающий этот город. Итак, ее ужасные сны стали явью: в этих снах он и она останавливались в придорожных гостиницах, направляясь к высоким серым горам, а потом не могли отыскать комнаты друг друга в холодных коридорах; а в Красное зимними вечерами точные копии этого человека его походкой переходили на другую сторону улицы, озирались по сторонам и поворачивали голову в точности как он. Но теперь это был он сам.

— Извините, я спал.

— Я Мария.

Он так и застыл. Пиджак висел на нем как на вешалке. Она заметила, что и волосы у него приобрели какой-то сероватый оттенок... да, он поседел. Он стоял перед ней худой, седой, сильно изменившийся. Она бы, наверное, не узнала его, если б встретила случайно на улице. Они пожали друг другу руки.

— Садись, Мария, — сказал он. Оба уселись в огромные обшарпанные кресла. На голом полу меж ними лежала полоса того неповторимо ясного солнечного света, какой бывает осенью только в Айзнаре. — Обычно я сплю в чулане, но Панины разрешают мне пользоваться этой комнатой, когда их нет дома. Они оба целыми днями на работе, в ГПР.

— Ты ведь тоже там работаешь... в вечернюю смену, да? Я уже собиралась оставить тебе записку.

— Да, обычно в это время я уже ухожу на работу. Но сейчас взял несколько дней отгулов. У меня грипп.

Ей следовало бы знать, что сам он никаких вопросов задавать не будет. Он и сам не любил отвечать на вопросы, и редко задавал их другим. Ему мешало чувство собственного достоинства, настолько глубокое и всеобъемлющее, что распространялось и на всех остальных мужчин и женщин, которых он изначально воспринимал как людей достойных доверия и разумных и избавлял от всяких вопросов. Как только он умудрился выжить в этом мире, в этой публичной исповедальне?

— У меня двухнедельный отпуск, — сказала она. — Я работаю в Красное, преподаю. В начальной школе.

Его улыбка на лице совершенно незнакомого человека смущала ее.

— С Дживаном я развелась.

Он смотрел прямо в солнечное пятно на полу. Она ответила и на следующий вопрос, которого он не задал:

— Четыре года назад.

Потом, от растерянности и желания как-то защититься, вытасила сигареты. Но прежде чем отгородиться от него пеленой дыма, собрала все свое мужество и протянула пачку ему прямо над полосой солнечного света:

— Хочешь?

— Да, спасибо. — Он взял сигарету, осмотрел, понюхал и с довольным видом прикурил от зажженной ею спички. Затянувшись, он тут же страшно закашлялся; кашель был изнуряющий, глубокий, похожий на взрывы или залпы тяжелой артиллерии; таких громких звуков она от него никогда в жизни не слышала. Несмотря на кашель, он буквально не сводил с сигареты глаз, а немного отдышавшись, тут же снова затянулся, не вдыхая, однако, дым.

— Не стоит тебе курить, — беспомощно пролепетала она.

— Да я давно уже не курю, — сказал он. Капли пота выступили у него на лбу, даже повисли на волосах, которые, как она теперь разглядела, были лишь отчасти тронуты сединой. Вскоре он аккуратно затушил сигарету и сунул бычок в нагрудный карман рубашки. Все это он проделал легко и непринужденно, хотя потом посмотрел на нее виноватыми глазами. Она не была с ним в те годы, когда он научился экономить недокурные бычки, так что его действия могли ее смутить; и она тут же постаралась вести себя как ни в чем не бывало, зная, как он не любит смущать людей.

Чужая комната, мебель из чьего-то еще дома молча окружали их.

— Мария, а зачем ты сюда приехала? — Этот вопрос вполне мог бы принадлежать любому другому человеку, только не ему, как и тон, которым он его задал; только глаза были его — ясные, честные, упрямые.

— Чтобы повидаться с тобой. Точнее, чтобы поговорить с тобой, Пьер. Почувствовала, что мне это необходимо. Я очень одинока. То есть куда хуже: я одна. Предоставлена самой себе. Там, в Красное, я аутсайдер, я никому ничего не могу сказать, я не нужна им. Я раньше думала — пока мы были женаты, — что если буду сама по себе, буду зависеть только от себя, то сразу найду массу интересных людей, заведу собственных друзей, свой круг общения, ну, ты понимаешь, что я хочу сказать. Однако я заблуждалась. Вот у тебя и тогда были друзья и, я полагаю, есть и теперь. Ты всегда находишь, о чем поговорить с теми, с кем ты встречаешься. Я этого никогда не умела, я никогда ни с кем по-настоящему не дружила. У меня никогда не было близких друзей, кроме тебя. Наверное, я и сама не очень-то стремилась к подобной близости. А теперь мечтаю о ней. — Она умолкла и разрыдалась, слушая собственные рыдания с тем же ужасом, с каким слушала его кашель. — Я так долго не выдержу. Все разваливается вокруг. Я совершенно утратила самообладание. — Она снова торопливо заговорила: — Здесь у вас соль еще продается? В Красное просто невозможно ее купить, люди скупили ее всю, считая, что если вернуться в простыни, смоченные соленой водой, то это помогает залечить лучевые ожоги. Это правда? Я не знаю. А здесь тоже все боятся? Впрочем, разговоры идут не только о бомбах, но и о бактериологической войне, например, и о том, что Земля и так перенаселена, но на ней с каждым днем рождается все больше и больше людей и скоро все мы будем точно крысы в тесном ящике. Похоже, никто ни на что хорошее больше не надеется. А годы идут, становишься все старше, все чаще думаешь о смерти, и тогда мир вокруг кажется мрачным и бессмысленным... И все равно — что жить, что умереть. Такое ощущение, что стоишь ночью одна на ветру, а ледяной ветер продувает тебя насквозь... Я стараюсь, правда, держаться, стараюсь вести себя достойно, но, знаешь, я больше и в это тоже не верю. Я чувствую себя каким-то муравьем среди кишения других муравьев, и с этим мне одной не справиться!

Шадя то ли ее чувства, то ли свои собственные, он отошел к окну и стоял там, и теперь заговорил оттуда, не оборачиваясь, но голос его звучал мягко:

— Никому с этим в одиночку не справиться. Однако и вспять тоже повернуть нельзя, дорогая. Этого тоже не может никто.

— Я и не пытаюсь повернуть вспять. Правда! Я пытаюсь лишь заново познакомиться с тобой, прямо сейчас, здесь, разве ты этого не понимаешь? Что ж, вот мы снова и встретились. И ты единственный человек, с которым я действительно когда-либо была близка. Все остальные шли иными дорогами, жили другой жизнью. Разве ты никогда не задумывался о том, что мне следовало к тебе вернуться?

— Ни разу.

— Но я же никогда не оставляла тебя, Пьер! Я сбежала всего лишь потому, что поняла: я принадлежу тебе, и считала единственным способом стать самой собой — избавление от тебя. Ну вот я и стала самой собой — уж себя-то я получила в избытке! А на самом деле я вела себя как глупая собака, которая рвется в сторону, пока позволяет поводок.

— Что ж, у поводка ведь два конца, — сказал он, наклоняясь к окну и словно желая рассмотреть что-то сквозь стекло — то ли конек крыши, то ли облако, то ли далекую серую горную вершину. — И я свой конец из рук выпустил.

Она попыталась пригладить светлые рыжеватые волосы, которые упрямыми прядками выбивались из уложенных в пучок кос. Голос у нее все еще дрожал, но она сказала с достоинством:

— Я говорила вовсе не о любви, Пьер.

— В таком случае я не понимаю.

— Я имела в виду верность, преданность. Когда кого-то другого воспринимаешь как часть собственной жизни. Это либо есть, либо нет. У нас было. И я нашу верность нарушила. И ты меня отпустил. Но на неверность ты не способен.

Он снова сел в кресло напротив нее. Теперь у нее хватило мужества посмотреть ему в лицо и убедиться, что в действительности он почти не изменился; появились, конечно, новые морщинки, да и выглядел он изможденным — то ли из-за болезни, то ли из-за жизненных передряг, — но то были всего лишь следы утрат, а не перемен в нем самом.

— Послушай, Мария, милая... — это звучало как самое лучшее утешение, хотя она отлично понимала: он просто добр, как и со всеми, — не имеет значения, как ты все это пытаешься представить, но ты безусловно хочешь повернуть время вспять. А ведь там, позади, не осталось ничего, к чему можно было бы вернуться. Как ни крути. — И он посмотрел на нее так ласково, точно надеялся смягчить реальную действительность.

— Но что все-таки случилось? Можешь мне рассказать? Пусть не сейчас, если не хочешь. Когда-нибудь. Я разговаривала с Моше, но мне не хотелось спрашивать о тебе. Я ведь приехала сюда, считая, что ты по-прежнему живешь в том доме на улице Рейн, ну и... так далее.

— Видишь ли, при правительстве Пентора мы опубликовали несколько книг, из-за которых у Дома было немало неприятностей, когда к власти снова пришла Р. Е. П. Берной, если ты его помнишь, и я в ту осень попали в тюрьму, нас пытали, потом мы оказались на севере, в горах. Меня выпустили два года назад. И, разумеется, я больше не имею права занимать ответственные государственные посты, а стало быть, и работать на благо Дома. — Он по-прежнему называл «Домом» издательскую фирму «Корре и сыновья», которой владела и управляла его семья с 1813 по 1946 год. Когда фирма была национализирована, его оставили там в качестве управляющего. Он работал там, когда Мария встретила его и вышла за него замуж, а потом бросила. Ей и в голову никогда не приходило, что он может это место потерять.

Он вытащил из кармана рубашки тот бычок, взял со стола коробок спичек, но так и не закурил.

— В общем, короче: сейчас я отнюдь не в том же положении, как во времена нашей совместной жизни. Видишь ли, во-первых, я нигде толком не работаю. А во-вторых, слишком много воды утекло. Так что вряд ли уместно теперь говорить о верности. — Он все-таки закурил — очень аккуратно и осторожно, стараясь не затягиваться.

Настольная лампа была в ярко-красном абажуре с помпонами — точно из другого мира. Мария развлекалась тем, что раскачивала пыльные красные шарики пальцем, словно пересчитывая их. Лицо ее казалось хмурым, замкнутым.

— Что ж, но когда же вообще имеет смысл говорить о ней? Только если тебя совсем загнали в угол? Неужели ты совсем сдался, Пьер?

Он красноречиво промолчал.

— У меня не было таких неприятностей, я не сидела в тюрьме, у меня есть работа и жилье. Так что я прожила эти годы куда лучше. Но посмотри на меня: я ведь как потерявшаяся собака. Ты, по крайней мере, можешь по-прежнему уважать себя вне зависимости от того, что у тебя отнято, а я утратила именно то, что называется самоуважением.

— Ты, — проговорил он, вдруг побледнев от гнева, — отняла у меня способность уважать себя восемь лет назад!

Это была неправда, но она не винила его в том, что он верит собственным заблуждениям; она настойчиво продолжала:

— Ну хорошо, но раз ни у тебя, ни у меня никакого самоуважения не осталось, значит, ничто не может помешать нам вновь узнать друг друга.

Теперь его молчание было скорее нерешительным.

Мария отсчитала девять хлопчатобумажных шариков, потом еще девять.

— Я вот что хочу сказать тебе, Пьер, нет, должна сказать: мне хочется понять, не могли бы мы снова сойтись, не могла бы я вернуться к тебе. Нет, не вернуться — просто приходить. При теперешнем положении вещей я ведь тоже могла бы чем-то помочь тебе. Я, конечно, просто милостыню просить пришла, но я же не знала... Я могу перевестись в какую-нибудь здешнюю школу. И, в конце концов, можно подыскать две комнаты рядом, чтобы в случае болезни, например, кто-то был рядом. Так было бы куда лучше для нас обоих. Больше смысла. — Лицо ее вздрагивало, она с трудом сдерживала слезы и все-таки не удержалась — расплакалась и вскочила, намереваясь уйти, но зацепилась рукавом за бахромку абажура, и лампа с грохотом упала. — Ох, извини! Извини, что я вообще сюда пришла! — выкрикнула она, подняла лампу и тщетно попыталась выправить абажур. Он отнял у нее лампу.

— Тут лампочка разбилась, видишь, а абажур крепится прямо к патрону. Не плачь, Мария. Придется нам купить новую лампочку. Ну, пожалуйста, милая. Ничего страшного не случилось.

— Сейчас я схожу за новой лампочкой. А потом уйду.

— Я же не сказал «уйди». — Он отодвинулся от нее. — Впрочем, я и «приходи» не говорил. Я вообще не знаю, что тебе сказать. Ты тогда уехала насовсем с этим ублюдком Дживаном Пелле, развелась со мной, а теперь приезжаешь

и заявляешь, что верность — единственное, что имеет смысл. Да неужели? И моя верность имела смысл? А ведь тогда ты утверждала, что верность — это буржуазный предрассудок, придуманный женатыми людьми, которые не имеют мужества жить так, как им хочется.

— Ничего я не утверждала, я просто повторяла это следом за Дживаном, и ты прекрасно все понимал!

— Мне все равно, за кем ты это повторяла. Мне ты сказала именно так! — Он задохнулся. Перевел дыхание, глянул на криво сидящий абажур, помолчал еще немного и сказал: — Ладно. Погоди-ка. — И снова замолчал. Теперь молчали оба. Золотистый луч солнца неслышно скользил по комнате — солнце краешком уже коснулось мирных полей к западу от Айзнара. Сквозь клубившуюся в солнечном свете пыль она видела его лицо. Когда-то он был красивым мужчиной — четырнадцать лет назад, когда они поженились. Красивым и счастливым. Гордым, добрым человеком, очень любившим свою работу. В нем тогда было некое очарование, целостность.

И вот ничего не осталось. В этом мире больше не хватало места для целостных людей, они его занимали слишком много. То, что сделала тогда с ним она, оказалось лишь частью общего плана по обстругиванию, подгонке таких, как он, под общий, значительно меньший размер, и вот им обрубили все сучья, очистили от коры, распилили на мелкие куски, чтобы в ткани теперешней жизни не оставалось ничего твердого, крупного.

Над комодом висело зеркало в позолоченной раме, и Мария подошла к нему — переплести косы и уложить их. В зеркале отражался бурый воздух необжитой, неудобной квартиры, обшарпанные стены, так и не поднятые жалюзи. А ее лицо казалось лишь еще одним неясным пятном среди множества серебристых потертостей на поверхности старого зеркального стекла. Она заглянула за занавеску и увидела керогаз, кушетку, пару ящиков, служивших буфетом и письменным столом. При виде жалкой кушетки она вспомнила дубовое ложе в их доме на улице Рейн, откиннутые белые простыни, небрежно отброшенное белое покрывало, когда просыпалась жарким летним утром навстречу неумолчному шелесту фонтанов, доносившемуся из открытых окон, в которые ночью лился лунный свет, а теперь — сверкающие солнечные лучи; и белые занавески на окнах чуть-чуть шевелились... да, так было летом, в годы их супружества.

— Ах, — вздохнула она — слишком сильно сдавили ее сейчас прошлое и будущее, не давая дышать. — Должно же быть место, куда можно пойти, какое-то направление всему, разве нет?.. Пьер, а что случилось с Берноом?

— Заболел тифом, в тюрьме.

— Я помню, как он приходил к нам с девушкой, с той, что бросила тогда свой жемчуг в бокал с вином, да только жемчуг у нее был искусственный...

— С Ниной Фарбей.

— Так они все-таки поженились?

— Нет, он женился на старшей из сестер Акосте. Она теперь живет там, на восточном берегу, я иногда встречаю ее. У них родилось двое сыновей. — Он встал, потер руками лицо, быстро прошел мимо нее к ящику у своей постели и достал оттуда галстук и расческу. Потом привел себя в порядок перед зеркалом, которое не желало его видеть.

— Послушай, Пьер, я хочу еще кое-что сказать тебе. Через некоторое время после того, как мы поженились, Дживан сказал, что его, в сущности, побудило жениться на мне именно то, что я, как ему было известно, не могу иметь детей. Не знаю, почему — он ведь говорил много подобных вещей, но все они меня как-то не задевали, — эти его слова заставили меня задуматься и понять, что скорее всего именно поэтому я и ушла от тебя. Когда я узнала, что у меня не может быть детей — после того выкидыша, ну, ты помнишь, — это вроде бы не казалось таким уж страшным. Однако я чувствовала, что с каждым днем становлюсь все легче, все легковесней, и ничего мне на свете не нужно, все безразлично, и все мои поступки значения не имеют. А ты был настоящим, и то, что делал ты, по-прежнему имело значение. Все имело для тебя значение, кроме меня.

— Жаль, что ты тогда мне этого не сказала.

— Тогда я еще этого не понимала.

— Ну ладно, пошли.

— Давай я сама схожу; там холодно. Где здесь поблизости магазин?

— Ничего, я тоже хочу пройтись. — Они спустились по шаткой лестнице. Глотнув свежего воздуха, он задохнулся, точно нырнув в горное озеро, и снова сперва ужасно закашлялся, но вскоре кашель прекратился, и они спокойно двинулись дальше. Шли они довольно быстро — было холодно; холодный воздух, золотистый закатный свет и густые синие тени веселили и бодрили. «А как поживает такой-

то?» — ей было интересно узнать о старых знакомых, и он охотно рассказывал ей. Нет, эта сеть дружб, знакомств, кровного родства, родства по браку, по делу, по темпераменту, более ста тридцати лет назад сплетенная его семьей и оберегаемая их Домом, пользовавшимся особым положением в провинциальном городке, все еще держала его, более того, он, благодаря своему общительному характеру, значительно укрепил и расширил ее. Мария всегда считала себя человеком, способным лишь на немногочисленные сильные привязанности и не слишком подходящим для радушных гостеприимных вечеров за обеденным столом и посиделок у камина, которые занимали существенное место в его жизни. Теперь же она поняла, что это было совсем не так — просто она ревновала его к другим. Она ревновала Пьера к его друзьям; она с завистью относилась к тому, что он вечно дарил им подарки; она завидовала всему — его обходительности, его доброте, его способности привязываться к людям. И его знаниям, и тому, с каким удовольствием он жил.

Они зашли в скобяную лавку, и он попросил лампочку в сорок ватт. Пока продавец искал ее и заполнял счет, Мария вытащила деньги, однако Пьер уже успел положить деньги на прилавок.

— Это же я разбила! — тихонько сказала она.

— Ты моя гостья. А это — моя лампа.

— Нет, не твоя! Это лампа Паниных.

— Вот, пожалуйста, — вежливо сказал он продавцу, протягивая деньги, и, обрадованный своей победой, спросил у нее, когда они уже выходили из магазина: — Ты ко мне шла по улице Рейн?

— Да.

Он улыбнулся; теперь, в лучах заходящего солнца, лицо его казалось оживленным.

— А на дом ты хоть посмотрела?

— Нет.

— Я так и знал! — В красноватых отблесках он вспыхнул, как спичка. — Знаешь, пойдем на него посмотрим, а? Он ведь совсем не изменился. Нет, если не хочешь, пожалуйста, скажи сразу. Я ведь, когда вернулся, сперва даже пройти мимо него не мог... — Теперь они вместе шли тем же путем, каким она пришла сюда. — Это, конечно, мой подводный камень, — продолжал он тем же легким тоном, — моя погибель. Как у тебя — стремление к изоляции, к оди-

ночеству. Меня губит тяга к обладанию. Любовь к одному, определенному месту. Люди на самом деле для меня менее важны, в отличие от тебя. Но, в общем-то, и я через какое-то время догадался, как и ты: все дело в верности, в преданности. То есть обладание и преданность на самом деле между собой не связаны. Можно потерять свой дом, но сохранить верность ему. Теперь я даже полюбил порой пройти мимо нашего дома. Какое-то время его использовали под государственное учреждение, печатали какие-то формуляры или что-то в этом роде, а теперь я даже и не знаю, что там.

Вскоре они уже шли по тротуару, усыпанному сухими листьями сикомор, вдоль садовых оград, мимо тихих, украшенных резьбой фасадов старых домов. Вечерний ветерок приносил сладостные ароматы осени. Они остановились возле дома номер 18 по улице Рейн: золотистый оштукатуренный фасад; чугунный балкон над парадным, двери которого открывались прямо на тротуар; высокие красивые окна по обе стороны от двери и еще три окна на втором этаже. Дикая яблоня прислонилась к стене садовой ограды. Весной окна восточных спален открывались прямо навстречу пенной кипени ее цветения. На площади перед домом весело играла струя воды в фонтане с неглубоким бассейном; стоя возле садовой калитки, они слышали, как фонтану на площади вторит тихое бормотание маленького фонтанчика в саду, украшенного фигурой наяды. Когда летом окна были распахнуты, говор воды наполнял весь дом. Стоя у запертой двери, у запертой калитки в сад, у окон с опущенными жалюзи, она вспоминала открытые навстречу лунному и солнечному свету окна, шорох листьев, звуки плещущей воды, звонкие голоса.

— Частная собственность — это кража, — задумчиво проговорил Пьер Корре, глядя на свой дом.

— Он кажется пустым. И все жалюзи опущены.

— Да, пожалуй. Ну что ж, пошли дальше.

Пройдя квартала два, она сказала:

— Ничто и приводит в никуда. Вот мы подошли к нему и постояли на улице, словно какие-то туристы. А ведь его построила твоя семья, ты в нем родился, мы в нем жили. Много лет. И не только мы с тобой — все эти годы в нем жили люди. И теперь все разрушено. Все распалось.

Пока они шли, порой разъединяемые спешащим куда-то прохожим или старушкой, толкающей перед собой тележку

с дровами, улицы Айзнара постепенно заполнялись возвращавшимися с работы людьми. Мария не умолкала:

— Это ведь у меня не просто чисто субъективное ощущение полной изоляции — я не только собственного одиночества больше выносить не в силах. У меня такое ощущение, что в мире все распадается, все разбито, разрушено, все беспорядочно вздыбилось — люди, годы, события — и превратилось в груды обломков, каких-то не связанных между собой кусков и кусочков. И ничто больше не имеет значения. Если начинаешь с ничего, так неважно, какой именно путь ты избереешь. Но ведь это должно быть важно!

Обходя тележку с луком, он пробормотал не то «должно», не то «не должно».

— Должно! И поэтому я сюда вернулась. У нас был путь впереди, разве я не права? По-моему, в этом и заключается брак — он означает путешествие вдвоем, не разлучаясь ни днем, ни ночью. Я испугалась идти дальше, решила, что заблудилась, утратила свое драгоценное «я». Понимаешь? А потом взяла и убежала от тебя. Но только убежать не сумела, некуда мне было бежать. Был только один путь. Я стала твоей женой в двадцать один год, с тех пор прошло четырнадцать лет, я два раза разводилась, однако я по-прежнему твоя жена. И всегда была ею. Все мои поступки после того, как мне исполнилось двадцать, совершались благодаря тебе, для тебя, вместе с тобой, против тебя. Все остальные в счет не шли — разве что в сравнении, в соотношении с тобой, в противопоставлении тебе. Ты — дом, куда я всегда могу прийти. Вне зависимости от того, открыты двери или заперты.

Он молча шагал с нею рядом.

— Можно мне здесь остаться, Пьер?

Его голос с трудом пробился сквозь гул голосов и уличные шумы:

— Но в том доме больше нет дверей. Да и самого дома не осталось.

Он казался усталым и сердитым; на нее он не смотрел. Они добрались до его дома, поднялись по лестнице и вошли в квартиру Паниных.

— Мы могли бы найти что-нибудь получше этого, — сказала она застенчиво. — Нужно же человеку хоть иногда уединиться...

В комнате было почти темно, окно казалось четырехугольным куском бесцветного ясного вечернего неба. Он

присел на диван. Она вставила в патрон новую лампочку, закрепила абажур с бубенчиками, включила и снова выключила свет. Сидевший в неуклюжей позе Пьер понемногу расслабился; его тело, лишенное сумерками той привлекательности и той вещественности, которая и определяет вес человека на земле, сейчас казалось лишь тенью среди прочих теней. Мария опустила на пол у его ног. Потом взяла его за руку. Они сидели в полной тишине; и эта тишина, окутавшая их, была тяжелой, плотной, ощутимой, она обладала и долгим прошлым, и будущим, точно длинная дорога, по которой идешь вечерней порой.

Стуча обувью, в комнату вошли какие-то люди, включили свет, заговорили, изумленно уставились на них: оба некрасивые, с невинными лицами, обоим лет по двадцать; высокий тонкий молодой человек и молодая беременная женщина. Мария вскочила, приглаживая волосы. Пьер тоже встал.

— Это Панины, Мария, — сказал он. — Мартин, Анна, познакомьтесь: это Мария Корре. Моя жена.

ХОЗЯЙКА ЗАМКА МОГЕ

Они встретились впервые, когда им было по девятнадцать; потом еще раз, когда обоим было по двадцать три. В том, что после этого они встретились лишь однажды и очень нескоро, был виноват Андре. Такого просчета никак не ожидали те, кто знал его девятнадцатилетним: он тогда парил над собственной судьбой, подобно ястребу. И глаза у него были ястребиные — ясные, немигающие, неукротимые. Это замечали все. Даже лицо его можно было рассмотреть, лишь когда он закрывал глаза во время сна; красивое бесстрастное лицо героя, лицо пассивного человека, ибо не герои творят историю — это дело ученых, историков, — но, будучи существами пассивными, позволяют потоку жизни нести себя, и он в итоге выносит их в эпицентр перемен, на вершину удачи или военной славы.

Она, Изабелла Ориана Могескар, наследница графов Гелле и князей Моге, жила в замке Моге на высоком берегу реки Мользен. Молодой Андре Калинскар ехал просить ее руки. Фамильный экипаж Калинскарров, проехав с полчаса по владениям Моге, достиг городских ворот и медленно пополз по крутой дороге на обнесенную крепостной стеной вершину холма, миновал поднятые ворота двухметровой толщины и остановился на площади перед замком. Старинный замок был весь увит диким виноградом с красными листьями и особенно красив сейчас, осенью. Каштаны вокруг сверкали чистым золотом. Над золотистыми деревьями, над башнями замка светилось ясное неяркое холодное октябрьское

небо. Андре с любопытством смотрел по сторонам широко раскрытыми, немигающими глазами ястреба.

В лишенном окон парадном вестибюле на первом этаже замка, где на стенах висели седла, мушкетеры, различное охотничье, кавалерийское и боевое оружие, два старых боевых друга, отец Андре и князь Могескар, радостно обняли друг друга. Наверху, в комнатах, обставленных со спокойным комфортом и окнами выходящих на реку, гостей приветствовала принцесса Изабелла. Это была хорошенькая рыжеватая блондинка, с продолговатым спокойным личиком и серо-голубыми глазами — этакая Осень в обличье юной девушки. Она оказалась высокой, выше Андре. Поклонившись ей и выпрямившись, он старательно расправил спину и плечи и все равно чувствовал разницу в их росте — по крайней мере сантиметра два.

В тот вечер за столом собралось человек восемнадцать — гости, вассалы и сами Могескары: Изабелла, ее отец и два ее брата. Георг, веселый пятнадцатилетний юноша, болтал с Андре об охоте; его старший брат и наследник Моге Брант взглянул на него пару раз, прислушался, о чем они говорят, и, удовлетворенный, гордо повернул свою светловолосую голову в другую сторону: сестра его, конечно же, не унижится до этого парнишки Калинскара. Андре стиснул зубы и постарался не смотреть на Бранта, а стал смотреть, как его мать беседует с принцессой Изабеллой. Обе то и дело посматривали в его сторону, видимо, говорили о нем. В стальных глазах матери он как всегда видел гордость, а в глазах девушки... Что же он там видел? Нет, не насмешку и не одобрение. Она просто его видела. Видела ясно, насквозь. Это действовало возбуждающе. Впервые он почувствовал, что чужая оценка вполне может возбуждать не меньше, чем страсть.

На следующий день уже ближе к вечеру, оставив отца и хозяина замка заново переживать былые сражения, Андре поднялся на крышу и стоял на ветру возле круглой башни, глядя вдаль — на реку Мользен и на холмы в закатном золоте солнца. Изабелла сама подошла к нему, решительно ступая по каменным плитам и двигаясь против ветра, и без излишних приветствий, точно знала его давным-давно, начала сразу:

— Мне давно хотелось поговорить с вами.

Ее красота и золотое сияние вокруг грели его сердце, он чувствовал себя одновременно храбрым и спокойным.

— И мне с вами, принцесса!

— По-моему, вы человек великодушный... — проговорила она. Ее легкий голосок звучал чуть хрипловато, чуть гортанно, и это было удивительно приятно. Он слегка поклонился, восторженные слова роились у него в голове, но что-то мешало ему высказать их вслух, и он лишь удивленно спросил:

— Почему вы так решили?

— Ну, это очень легко заметить, — ответила она нетерпеливо. — Но скажите, могу я говорить с вами, как женщина с женщиной?

— Как женщина?..

— Послушайте, князь Андре, вчера, впервые увидев вас, я сразу подумала: «Наконец-то я встретила друга». Я не ошиблась?

Это мольба или вызов? Он был тронут и сказал:

— Вы были правы.

— В таком случае могу ли я просить вас, мой друг, не жениться на мне? Я замуж не собираюсь.

Воцарилось длительное молчание.

— Я поступлю сообразно вашим желаниям, принцесса.

— О, вы даже не спорите! — вскричала девушка, вся вспыхнув и светясь от радости. — Я знала, знала, что вы мне друг! Пожалуйста, князь Андре, не печальтесь и не думайте, что вас провели. Остальным я отказывала, не задумываясь. Но с вами я так не могла. Видите ли, если я сама наотрез откажусь выходить замуж, отец отошлет меня в монастырь. Так что вообще отказаться от замужества я не могу, я могу только отказывать поочередно каждому претенденту. Понимаете? — Он понимал; хотя если бы она дала ему время подумать, он бы непременно пришел к выводу, что в конце концов ей все-таки придется решить — замужество или монастырь, ведь она, как ни крути, девушка. Но времени подумать она ему не дала. — Что ж, претенденты продолжают приезжать, однако я веду себя в точности как принцесса Рания из сказки — помните, три вопроса, а потом головы бесчисленных женихов на кольях вокруг дворца? Это так жестоко и так утомительно... — Она вздохнула и, опершись на перила ограды рядом с Андре, стала смотреть вдаль на позолоченный солнцем мир, улыбающаяся, необъяснимая, дружелюбная.

— Лучше бы вы и мне задали те свои три вопроса, — сказал он тоскливо.

— Да нет у меня никаких вопросов! Мне нечего спросить у вас.

— Нечего спросить, потому что мне нечего дать вам! Так будет точнее.

— Ах, но ведь вы уже дали мне то, что я у вас просила... обещание не просить моей руки!

Он кивнул. Он ни за что не стал бы выяснять причины ее просьбы; ему не позволили бы этого собственная гордость и ощущение крайней уязвимости принцессы. Однако она со свойственной ей очаровательной непоследовательностью сама назвала их:

— Я хочу, князь Андре, лишь одного: чтобы меня оставили в покое. Хочу прожить свою жизнь, как мне нравится! Может быть, потом я пойму... Но пока что лишь единственный предмет вызывает у меня вопросы: я сама. Неужели я слишком слаба для того, чтобы прожить свою собственную жизнь, отыскать свой собственный путь в ней? Я родилась в этом замке, мои предки с давних времен были его хозяевами, правили здесь. К этому привыкаешь. Посмотрите на эти стены и увидите, почему никто из атаковавших замок Мого не смог его взять. Ах, жизнь человеческая могла бы быть так прекрасна! Одному Господу известно, что может с нами приключиться! Разве я не права, князь Андре? Нельзя слишком торопиться в выборе своей судьбы. А если я выйду замуж, то заранее известно, что со мной будет потом, кем и какой я стану. А я не желаю этого знать! Мне ничего не нужно, кроме свободы.

— А мне казалось, — сказал Андре с изумлением, точно делая открытие, — женщины по большей части и выходят замуж именно для того, чтобы свободу обрести.

— Значит, этим женщинам нужно меньше, чем мне. Что-то во мне есть такое, там, внутри, твердое и сверкающее одновременно — ну как мне это вам описать? Это живет во мне и все же как бы не существует; это мое, и именно я должна пронести это по жизни, но оно не принадлежит мне, и я не могу передать это никому.

Интересно, она говорит о своей девственности или же о своей судьбе? Она очень странная, думал Андре, но сколь трогательна, сколь возвышенна эта ее странность. Какими бы самонадеянными и наивными ни были ее утверждения, она безусловно в высшей степени достойна уважения; и хотя теперь ему было запрещено любить ее страстно, она все же поразила его в самое сердце, в самое средоточие

нежности — первая из женщин, которая оказалась на это способна. Она пребывала в его душе в полном одиночестве — и сейчас тоже стояла с ним рядом, но как бы совершенно одна.

— А вашему брату известны ваши намерения?

— Бранту? Нет. Мой отец очень добрый человек, а Брант нет. Если отец умрет, Брант силой заставит меня выйти замуж.

— Значит, у вас нет никого...

— У меня есть вы, — сказала она и улыбнулась. — А потому я должна отослать вас прочь. Но друг есть друг, и не важно, далеко он или близко.

— Далеко ль я буду, или близко, позовите меня, принцесса, если я вам понадобится. Я приду. — В его голосе зазвучала вдруг пылкая страсть и достоинство; он точно давал ей обет — так лишь в ранней юности мужчина способен целиком посвятить себя редчайшему и опаснейшему из чувств, его охвативших. Она смотрела на него, потрясенная, на минуту пожалев о своей нежной и неосторожной гордости, и он взял ее за руку, точно заслужил право на это. Перед ними несла свои воды река, и воды ее в закатных лучах казались красными.

— Да, я непременно позову вас, — сказала она. — Я никогда еще не испытывала такой благодарности к мужчине, князь Андре.

Он ушел от нее, преисполненный восторга и восхищения; однако, едва добравшись до своей комнаты, бессильно рухнул в кресло: его внезапно охватила смертельная усталость, он с трудом сдерживал слезы и часто моргал.

Так они встретились впервые — на ветру, на крыше замка, в золоте закатных лучей. Им было по девятнадцать. Потом Калинскары вернулись домой. Миновало четыре года, и на второй из них, в 1640-м, началась великая битва за престол, известная как Война Трех Королей.

Как и большая часть знатных, но небогатых дворянских семейств, Калинскары приняли сторону претендента, герцога Дживана Совенскара. Андре вступил в его войско и к 1643 году, когда они упорно продвигались по провинции Мользен к Красною и брали один город за другим, получил чин капитана. Именно ему Совенскар поручил осаду последней твердыни сторонников короля на восточном берегу реки Мользен — города и замка Моге. А сам стал пробиваться к столице, намереваясь захватить трон и корону. И вот

однажды, в июне, Андре лежал на поросшей жесткой травой вершине холма, опустив подбородок на руки, и осматривал раскинувшуюся перед ним долину, серо-голубые крыши города, стены замка, вздымавшиеся из зелени каштанов, точно из прибрежной волны, круглую башню и сверкавшую вдаль реку.

— Ну, где поставим тяжелые пушки, капитан?

Старый князь давно умер, а Брант Могескар был убит еще в марте на востоке страны. Если бы тогда король Гульхельм послал войска через реку, чтобы защитить своих сторонников, его соперник, возможно, не скакал бы сейчас верхом в Красной, твердо рассчитывая получить трон и корону. Однако помощь не поступила, и теперь замок Могескаров был осажден. Сдаваться его защитники не желали. Один из лейтенантов Андре, прибывший в Могескар несколько дней назад с кавалерийским взводом, предложил Георгу Могескару переговоры, однако самого принца ему даже увидеть не удалось. Его принимала принцесса, девушка очень, по его словам, хорошенькая, но твердая как сталь. От переговоров она отказалась. «Могескары в торги не вступают. Если замок будет осажден, мы станем держать оборону. Если вы сторонники претендента, то мы ждем здесь своего короля и будем ждать его».

Андре по-прежнему изучал рыжевато-коричневые стены.

— Итак, Сотен, главное решить, что мы будем брать первым — город или замок?

Но главная проблема была вовсе не в этом. Она оказалась куда страшнее.

Лейтенант Сотен присел на траву рядом со своим капитаном и надул свои и без того округлые щеки.

— Сперва замок, — сказал он. — Мы потеряем не одну неделю на штурм этого города, а потом окажется, что замок-то еще не взят.

— Вы рассчитываете разрушить эти стены с такими пушками, как у нас? А между тем, стоит нам взять город, и в замке тут же примут наши условия.

— Капитан, эта женщина в замке ни за что никаких условий не примет.

— Откуда вы знаете?

— Я ее видел!

— И я тоже, — сказал Андре. — Пушки мы поставим вот здесь, напротив южной городской стены, и завтра на рассвете начнем артиллерийский обстрел. Нас просили во что

бы то ни стало взять замок, не разрушая его. Что ж, придется ради этого пожертвовать городом. Выбора у нас нет. — Голос его звучал мрачно, однако в душе он чувствовал некий подъем. Уж он-то предоставил бы ей любой выбор: пусть выведет свои войска из этого безнадежного сражения, пусть докажет, на что она способна, пусть воспользуется тем мужеством, которое тогда ощущала в своей груди, как нечто твердое и сверкающее, точно меч, таящийся в ножнах.

Он ведь был вполне достойным претендентом на ее руку, человеком сходного темперамента, мужества и храбрости, однако она его отвергла. Что ж, справедливо. Ей ведь нужен был не возлюбленный, а противник, а он представлял из себя противника действительно сильного, достойного. Интересно, а вспомнит она его имя, если кто-то случайно назовет его? Если кто-то в замке скажет ей: «Осадой руководит капитан Калинскар»? «Андре Калинскар?» Она, возможно, нахмурится, узнав, что он принял сторону герцога, а не короля, но все же в глубине души будет довольна таким противником.

Город они взяли — ценой трехнедельных боев и множества человеческих жизней. Впоследствии, уже став маршалом королевской армии, Калинскар в пьяном виде любил повторять: «Я могу любой город взять! Я же взял Моге». Стены города были замечательно укреплены, арсенал замка казался неистощимым, а защитники Моге сражались с поразительной самоотдачей и твердостью. Они выдерживали артиллерийские обстрелы и бесконечные штурмы, голыми руками тушили пожары, питались буквально святым воздухом и в последних тяжких боях врукопашную бились за каждый дом — от городских ворот до предзамковых укреплений; а будучи взяты в плен, повторяли: «Только ради нее».

Ее он еще не видел. И боялся увидеть в гуще резни на узких улицах разрушенного города. По вечерам он все смотрел на высокие, метров сорок, стены замка, на дымящиеся бойницы, на знакомую круглую башню, приобретающую на закате красно-коричневый оттенок. Замок пока оставался нетронутым.

— А может, им огонька в пороховой погреб подбросить? — спросил как-то лейтенант Сотен, весело надувая пухлые щеки. Капитан Калинскар резко обернулся. Его ястребиные глаза были красными и воспаленными от дыма и усталости.

— Я возьму Моге только целиком, не разрушив его! Вы что же, хотите взорвать лучший замок страны только потому, что устали воевать? Господь свидетель, лейтенант, я научу вас уважать!.. — «Уважать? Кого? Что?» — подумал Сотен, однако предпочел промолчать. Он прекрасно знал, что Калинскар — лучший офицер в армии, и вполне готов был ему подчиняться и следовать за ним — в бой, в безумие, куда угодно. Собственно, все они уже почти утратили разум от бесконечных сражений, от усталости, от ослепляющей пыли и испепеляющей летней жары.

Артиллерийский обстрел замка велся круглые сутки, один штурм следовал за другим — главное было не дать его защитникам ни минуты передышки. В предрассветных сумерках Андре удалось пробраться со своим отрядом к самой стене крепости, частично разрушенной взрывом, однако там их окружили защитники замка. В темной тени замковых стен они бились на мечах и на шпагах, стычка была беспорядочной, бессмысленной, и Андре стал созывать своих людей, чтобы отступить, когда вдруг понял: шпаги в руках нет. Он ошупью стал искать ее, но руки почему-то не слушались, а неуклюже скользили по камням и комкам грязи. Вдруг что-то холодное и шероховатое коснулось его лица: земля. Он широко открыл глаза и провалился во тьму.

Во дворе замка паслись две коровы — последние из огромного стада. В пять утра в покои принцессы принесли чашку молока, а чуть позже явился капитан крепости, чтобы, как всегда, сообщить о ночных событиях. Новостей особых не было, так что Изабелла слушала не слишком внимательно и мысленно прикидывала, когда сможет подойти подкрепление от короля Гульгельма, если, разумеется, гонец сумел до него добраться. Вряд ли им понадобится менее десяти дней. Десять дней — долгий срок. Прошло лишь три дня с тех пор, как пал город, и это уже казалось событием далекого прошлого или, по крайней мере, прошлого года. Тем не менее они могли бы продержаться и десять дней, и даже две недели, если это будет необходимо. Конечно же, король пошлет им подмогу!

— ...и они собираются прислать гонца, чтобы узнать о нем, — говорил между тем Брейе.

— О нем? — Ее тяжелый взгляд остановился на капитане Брейе.

— Ну да, об этом капитане.

— Каком еще капитане?

— Я же как раз об этом рассказываю, ваша милость. Сегодня утром наш отряд устроил засаду и взял его в плен.

— Ах он пленный! Немедленно приведите его сюда!

— Он получил тяжкое сабельное ранение в голову, ваша милость.

— А говорить он может? Хорошо, я сама пойду к нему. Как его имя?

— Калининкар.

Она последовала за Брейе мимо неубранных комнат, где на постелях валялись мушкеты, по длинному коридору с паркетным полом, где под ногами похрустывали хрустальные подвески с разбитых канделябров, в парадный зал на восточной стороне замка, теперь превращенный в госпиталь. Дубовые кровати, некоторые с балдахинами, разоренные и неприбранные, стояли повсюду на зеркальном полу, точно корабли в гавани после шторма. Пленный спал. Она присела рядом, глядя ему в лицо, смуглое, суровое, странно покорное. Где-то в глубине души шевельнулась боль; нет, воля ее была непоколебима, однако сама она устала, смертельно устала и печалилась, видя перед собой своего поверженного врага. Раненый шевельнулся, открыл глаза, и тут она сразу узнала его.

Помолчав, она наконец произнесла:

— Значит, это вы, князь Андре.

Он слегка улыбнулся и шепнул что-то неслышное.

— Хирург считает вашу рану не слишком опасной. Это вы возглавляли осаду?

— Да, — совершенно ясно проговорил он.

— С самого начала?

— Да.

Она подняла голову и посмотрела на окна, закрытые ставнями, пропускавшими внутрь лишь неясный намек на горячее июльское солнце.

— Вы наш первый пленный. Что нового в стране?

— Первого Дживан Совенскар был коронован в Красное. А Гульхельм по-прежнему находится в Айзнаре.

— Что-то неважные у вас новости, капитан, — промолвила она тихо и равнодушно. Потом обвела взглядом остальные кровати, расставленные в огромном зале, и знаком велела Брейе отойти подальше. Ее раздражало, что они с

Андре не могут поговорить наедине. Однако сказать ей оказалось нечего.

— Вы здесь одна, принцесса?

Он задал ей вопрос тем же тоном, что и тогда, на крыше замка, освещенной закатными лучами.

— Брант погиб, — ответила она.

— Я знаю. Но ваш младший брат... В тот раз мы с ним отлично поохотились на болотах.

— Георг сейчас здесь. Он участвовал в обороне Кастре. Взорвалась мортира. Его ослепило. Вы и в Кастре руководили осадой?

— Нет. Но воевал там.

Несколько секунд она смотрела ему прямо в глаза.

— Мне очень жаль, — сказала она. — Очень жаль Георга. И себя. И вас, который поклялся быть моим другом.

— Вам действительно жаль? А мне нет. Я сделал все, что мог. Я достаточно послужил во имя вашей славы. Вы знаете, даже мои собственные солдаты поют о вас песни — песни о Хозяйке замка Моге, об ангеле, что хранит его стены. И в Красное о вас говорят, и тоже поют песни... Ну а теперь вы к тому же взяли меня в плен, вот вам и новая победа. Люди говорят о вас с восхищением и удивлением. Даже ваши враги. Вы завоевали ее, свою желанную свободу! Вы всегда оставались самой собой. — Он говорил торопливо, однако, когда умолк, желая передохнуть, и на мгновение прикрыл глаза, лицо его тут же стало прежним: спокойным и юным. Изабелла посидела еще минутку молча, потом вдруг вскочила и торопливо вышла из комнаты, спотыкаясь на ходу, точно расплакавшаяся девчонка, которая еще не умеет носить свое тяжелое, длинное платье и вся обсыпалась пудрой.

Открыв глаза, Андре обнаружил, что Изабелла ушла, а на ее месте стоит старый капитан крепости и смотрит на него с ненавистью и любопытством.

— Я восхищаюсь ею не меньше, чем вы! — заявил он Брейе. — Больше, куда больше вас, обитателей замка! Больше всех на свете! Целых четыре года... — Но Брейе не дослушал и тоже уже ушел. — Дайте мне воды, я хочу пить! — сердито потребовал Андре, потом затих и лежал молча, глядя в потолок. Послышался рев, и замок содрогнулся: что это? Потом раздались три глухих удара, глубоких, леденящих кровь, пронзавших его тело насквозь, словно острая зубная боль. Потом снова раздался рев, его кровать затряслась...

И он наконец догадался: это артиллерийский обстрел. Сотен выполнял его же приказ. — Прекратите это, — попытался он крикнуть, однако чудовищный рев все продолжался. — Немедленно прекратите! Мне так нужно поспать. Прекратите же, Сотен! Прекратите огонь!

Среди ночи бред прекратился. Очнувшись, Андре увидел, что кто-то сидит у изголовья его кровати. Между ним и сидящим горела свеча; в желтоватом круге ее света была видна мужская рука и рукав одежды.

— Кто это? — с трудом выговорил он. Мужчина встал; теперь стало видно его страшно изуродованное лицо. Собственно, от лица ничего не осталось, кроме рта и подбородка. Их очертания были нежны — рот и подбородок мальчика лет девятнадцати. Все остальное — едва поджившие шрамы.

— Я Георг Могескар. Вы меня понимаете?

— Да, — ответил Андре сдавленным голосом.

— Вы не могли бы приподняться? Нужно кое-что написать. Я мог бы подержать бумагу.

— Что же я должен написать?

Оба говорили шепотом.

— Я бы хотел сдать противнику замок, — сказал Могескар. — Но при условии, что моей сестре дадут возможность выбраться отсюда и спокойно уехать. Я сдам вам крепость только после этого. Вы согласны?

— Я... погодите...

— Напишите своему заместителю, что я сдам замок только при этом единственном условии. Я знаю: Совенскар мечтает его заполучить. Напишите: если мою сестру будут удерживать здесь, я взорву и замок, и вас, и себя, и ее. Тогда все это обратится в пыль. Видите ли, мне-то самому терять нечего. — Его почти мальчишеский голос звучал ровно, хотя и хриловато. Он говорил медленно и абсолютно уверенно.

— Эти... ваши условия справедливы, — сказал Андре.

Могескар поставил в круг света чернильницу, нащупал ее верх, обмакнул перо и передал его Андре, положив перед ним лист бумаги. Андре с трудом приподнялся, чтобы иметь возможность писать. Он уже с минуту царапал пером по бумаге, когда Могескар вдруг сказал:

— А я хорошо помню вас, Калинскар. Мы охотились вместе на дальних болотах. Вы отлично стреляли.

Андре перестал писать и посмотрел на него. Ему все казалось, что этот мальчик вот-вот снимет свою ужасную маску и взору явится его прежнее лицо.

— Когда принцесса покинет замок? Должен ли мой заместитель выделить сопровождающих, чтобы она спокойно переправилась через реку?

— Завтра, в одиннадцать вечера. Ее будут сопровождать четверо наших людей. Один из них должен вернуться — это послужит гарантией ее спасения. Похоже, Калининград, это милость Господня, что осадой руководите именно вы. Я вас помню, я вам доверяю. — Его голос был удивительно похож на голос Изабеллы: легкий, самоуверенный, чуть гор-танный. — Надеюсь, вы можете положиться на своего заместителя? Он сохранит все в тайне?

Андре потер виски — ужасно болела голова. Слова, написанные им, разъезжались вкривь и вкось.

— Сохранит ли он в тайне? Так вы хотите, чтобы... все условия... вы хотите, чтобы ее спасение было организовано втайне?

— Разумеется! Как вы думаете: хочется мне, чтобы говорили, будто я предал свою мужественную сестру ради собственного спасения? Неужели вы думаете, что она уедет, если будет знать цену своей свободы? Ведь она считает, что отправится молить короля Гульхельма о помощи, а я пока постараюсь здесь продержаться!

— Принц, она никогда не простит...

— Мне нужно не ее прощение; я хочу, чтобы она была жива. Она последняя из нашей семьи. Если она останется здесь, то непременно постарается погибнуть, если вы в конце концов все-таки замок возьмете. Я ставлю на кон и замок Могге, и доверие Изабеллы ко мне ради сохранения ее жизни.

— Простите, принц, — сказал Андре прерывающимся голосом, в котором слышались слезы. — Я не сразу вас понял. Голова у меня работает плохо. — Он обмакнул перо в чернильницу, которую держал перед ним слепой, приписал еще одно предложение, подул на листок, свернул его и вложил в руку принца.

— Можно мне повидать ее, прежде чем она уедет?

— Не думаю, чтобы она согласилась прийти к вам, Калининград. Она вас боится. Она не знает, что предам-то ее я. — Моггескар убрал руку, и она исчезла в окутывавшей его тьме. Свеча горела лишь возле постели Андре — единственный огонек во всем высоком длинном зале, — и он не мог

оторвать глаз от этого золотистого пульсирующего облачка света.

Через два дня замок Моге был сдан, а его хозяйка, ничего не ведая, полная надежд, мчалась верхом по нейтральным землям на запад, в Айзнар.

В третий и последний раз они встретились совершенно случайно. В 47-м Андре Калинскар не воспользовался приглашением принца Георга Могескара остановиться в замке на пути к границе, где произошло военное столкновение. Не в его правилах было избегать свидетельств своей первой крупной и замечательной победы и отказывать во встрече бывшему противнику, гордому и благодарному, и можно было предположить, что он либо боится заезжать в замок Моге, либо совесть у него нечиста, хотя вряд ли его можно было обвинить в чем-то подобном. Но тем не менее он в замок Моге не заехал. А встреча его и Изабеллы произошла тридцать семь лет спустя на одном из зимних балов в доме графа Алексиса Геллескара в Красное. Кто-то вдруг взял Андре за руку и сказал:

— Принцесса, позвольте мне представить вам маршала Калинскара. А это принцесса Изабелла Пройедскар.

Он как всегда низко поклонился, однако, выпрямившись, застыл, вытянулся в струнку: эта женщина оказалась выше его по крайней мере сантиметра на два. Ее седые волосы согласно тогдашней моде были высоко подняты и уложены в прихотливую, со множеством локонов прическу. Вставки на платье украшала причудливая вышивка мелким жемчугом. С полного бледного лица прямо на него смотрели серо-голубые глаза — смотрели с явным дружелюбием. Она улыбалась:

— Я знакома с князем Андре, — проговорила она.

— Принцесса! — пробормотал он, потрясенный.

Она располнела и стала теперь крупной импозантной дамой, весьма уверенной в себе. А он так и остался худым, кожа да кости, и к тому же хромал на правую ногу.

— Моя младшая дочь Ориана. — Девушка лет семнадцати сделала ему реверанс, с любопытством на него поглядывая — еще бы, герой, прошел три войны, тридцать лет провел на полях сражений, заставил распавшееся было государство вновь стать единым, чем и заслужил простую и не подлежащую сомнениям славу в народе! Ах, что за тощий маленький старикашка, сказали девичьи глаза.

— А ваш брат, принцесса...

— Георг давно умер, князь Андре. Теперь хозяин Моге — мой кузен Энрике. Но скажите, а вы женаты? Я знаю о вас не больше того, что известно всему свету. Мы с вами так давно не виделись, князь! Со времен нашей последней встречи прошло в два раза больше лет, чем сейчас этой девочке... — Тон у Изабеллы был материнский, жалостливый. Былая самоуверенность, даже заносчивость, и былая легкость исчезли; исчезли и те чуть гортанные нотки, выдававшие сдерживаемую страстность и опасения. Теперь она больше никаких опасений в его присутствии не испытывала. И ничего не боялась. Это была замужняя дама, мать, бабушка; дни ее клонились к закату, меч в ножнах повешен на стену за ненадобностью, замок отнят; и ни один мужчина больше не являлся ее врагом.

— Да, я был женат, принцесса. Но моя жена умерла в родах, а я в то время воевал. Это случилось очень давно. — Он говорил резко, отрывисто.

Она ответила банальностью и по-прежнему жалостливым тоном:

— Ах, как печальна жизнь, князь Андре!

— А когда-то вы и не подумали бы сказать так — помните, на стенах замка Моге. — Голос его звучал еще более отрывисто: сердце пронзила острая боль при виде ее — такой. Она равнодушно посмотрела на него своими серо-голубыми глазами — просто посмотрела, и все.

— Да, пожалуй, — согласилась она, — вы правы. Но если бы мне тогда позволили умереть на стенах замка Моге, я бы сочла это счастьем, веря, что жизнь включает в себе великий страх и великую радость.

— Но это действительно так, принцесса! — сказал Андре Калинскар, поднимая к ней свое смуглое лицо — не успокоившийся и еще не до конца реализовавший свои возможности человек. Она лишь улыбнулась в ответ и сказала своим ровным материнским тоном:

— Для вас — возможно.

Подошли другие гости, и она, улыбаясь, заговорила с ними. Андре отошел в сторонку; он выглядел больным и печальным; он думал о том, насколько был прав, ни разу больше не посетив замок Моге. Все это время он мог считать себя честным человеком. И в течение сорока лет с надеждой и радостью вспоминал красные октябрьские листья дикого винограда, вьющегося по стене замка, и жаркие

летние вечера времен его осады. Только теперь он понял, что предал тогда все это, утратил самое драгоценное. Пассивный герой, он полностью отдался в руки Судьбы; однако дар, который он задолжал ей, единственное, что может быть даровано солдату, — это смерть. А он тогда утаил ее дар. Не смирился с Судьбою. И теперь, шестидесятилетний, после стольких лет, стольких войн, стольких стран, должен оглянуться и увидеть наконец, что все потеряно, что сражался он зря, что в замке нет никакой принцессы.

ВООБРАЖАЕМЫЕ СТРАНЫ

-М

ы не сможем поехать к реке в воскресенье, — сказал барон за завтраком, — ведь в пятницу мы уезжаем.

Оба малыша изумленно посмотрели на него. Потом Зида попросила как ни в чем не бывало:

— Передай мне, пожалуйста, варенье, — но Польш, который был на целый год старше, уже вспомнил, отыскал где-то в дальнем, запылившемся уголке памяти темноватую столовую и серые окна, за которыми вечно шел дождь.

— Мы возвращаемся в город? — спросил он. Отец кивнул. И сразу же залитый солнцем холм за окном совершенно перевернулся: теперь он почему-то был повернут лицом к северу, а не к югу. В тот день по лесу будто пробежал красно-желтый пожар; виноградные кисти отяжелели, налились соком; убранные, нагретые августовским солнцем поля, обнесенные изгородями, широко раскинулись в дымке сентябрьского утра, мирные, беспредельные. Утром, едва проснувшись, Польш сразу понял: наступила осень и сегодня уже среда.

— Сегодня среда, — сказал он Зиде, — завтра будет четверг, а потом пятница — и мы уедем.

— А я никуда уезжать не собираюсь, — равнодушно ответила она и ушла в Маленькую Рошу — трудиться над ловушкой для единорога. Она смастерила ее из корзинки для яиц и множества маленьких лоскутков, к которым была привязана самая разнообразная приманка. Зида возилась с

ловушкой с тех пор, как они обнаружили следы, однако Поль сильно сомневался, что в такую ловушку можно поймать хотя бы белку. Сам он, понимая, что осень все-таки наступила и времени осталось мало, со всех ног бросился на Высокий Утес, рассчитывая закончить туннель до отъезда в город.

По всем комнатам дома ласточкой метался голос баронессы. В данный момент он доносился с лестницы, ведущей на чердак:

— Ах, Роза! Ну где же наконец этот синий чемодан?

Однако Роза не отвечала, и баронесса сама последовала за своим голосом и, догнав его, обнаружила и Розу, и потерянный чемодан внизу у лестницы, а потом полетела дальше через холл, чтобы снова радостно воссоединиться с собственным голосом и Розой уже у входа в подвал. Барон в своем кабинете слышал, как Томас, ворча, тащил чемодан наверх, тяжело пересчитывая ступеньки башмаками, а Роза и баронесса в это время опустошали шкафы в детской, складывая в стопки рубашки и платица, работая методично и ловко, как заправские воры.

— Что это вы тут делаете? — сурово спросила у них Зида, забежав на минутку за вешалкой для пальто, в которой, по ее расчетам, единорог мог бы запутаться копытом.

— Вещи укладываем, — ответила служанка.

— Мои не укладывайте, — велела Зида и удалилась. Роза продолжала опустошать шкафчик.

А барон между тем спокойно продолжал читать, испытывая лишь легкое чувство сожаления, порожденное, возможно, доносившимся из дальних комнат нежным голосом жены, а может быть, лучами осеннего солнца на письменном столе, проникшими меж раздвинутыми шторами.

В соседней комнате его старший сын Станислас уложил в небольшой плоский чемодан микроскоп, теннисную ракетку и коробку с камнями, под каждым из которых была аккуратная наклейка. Потом плюнул на все и собираться перестал. Сунув в карман записную книжку, он прошел через прохладную красную гостиную, через холл, спустился по лестнице и вышел на широкий двор. Неожиданно яркое солнце ослепило его. Под Четырьмя Вязами сидел и читал Иосиф.

— Ты куда это направился? — спросил он мальчика. — Жарко ведь. — Однако у Станисласа времени на разговоры не было.

— Я скоро вернусь, — вежливо ответил он и двинулся дальше, вверх по пыльной дороге, залитой солнцем, мимо Высокого Утеса, где копался в земле его сводный брат Поль. Здесь он на минутку остановился, чтобы оценить инженерное мастерство брата. По всему Утесу, переплетаясь, тянулись извилистые дорожки из белой глины. У моста, взлетавшего над промоиной, стояли припаркованные ситроены и роллс-ройсы. Туннель был почти готов; Поль завершал процесс его расширения.

— Хороший туннель, — похвалил Станислас, а великий строитель, просяив от гордости, откликнулся:

— Да, к вечеру закончу; уже можно будет ездить. Придешь на торжественную церемонию?

Станислас кивнул. Теперь его путь вел вверх по пологому длинному склону холма; вскоре он свернул и, перескочив через канаву, оказался в своих владениях, в царстве деревьев. Несколько шагов — и совершенно исчезли все воспоминания о пыльной дороге и ярком солнечном свете. Над головой и под ногами шуршала листва; воздух казался зеленой водой, и сквозь него проплывали птицы, вздымались темные стволы, обремененные пышными кронами, стремясь навстречу другой великой Стихии — воздушному пространству и небесам. Сперва Станислас подошел к Дубу и, раскинув руки, тщетно попытался его обнять хотя бы на четверть толщины. Грудью и щекой он прижался к жесткой шероховатой коре и вдохнул ее запах, запах древесных грибов, мха и лишайников; перед глазами была только эта темная кора. Такой большой вещи ему, конечно, никогда не удержать в руках. Старый Дуб, полный жизни, даже не заметил присутствия мальчика. Улыбаясь, Станислас пошел не спеша от дерева к дереву; в кармане лежала записная книжка с картами его страны; самые дальние ее пределы на карту нанесены еще не были.

Иосиф Броне провел лето, помогая своему профессору составлять документацию по истории Десяти Провинций в период раннего средневековья. Сейчас он сидел в неудобной позе под вязами и читал. Деревенский ветерок переворачивал страницы, сушил губы. Иосиф поднял глаза от написанной на латыни хроники сражения, проигранного девять столетий тому назад, и посмотрел на крышу дома, носившего название Асгард. Прямоугольное здание самого дома разнообразили пристроенные со всех сторон веранды, сараи и конюшни; углы Асгарда были расположены точно

по компасу; он стоял посреди плоского двора, а на некотором расстоянии от него во всех направлениях у подошвы холмов раскинулись поля, за которыми вверх тянулись уже более крутые склоны гор, за вершинами которых виднелось небо. Дом казался белой коробкой посреди голубой с желтым миски. Сперва Иосиф, только что окончивший колледж, собиравшийся осенью поступать в иезуитскую семинарию и готовый без конца возиться с источниками, делать выписки, переписывать сноски, был очень удивлен тем, что семья барона назвала свой дом так же, как обитель северных богов. Но теперь это его больше не удивляло. За лето здесь случилось столько неожиданного и так мало, как казалось ему, они успели сделать! Историческое исследование, над которым они трудились, требовало по крайней мере еще несколько лет для своего завершения. Так что за три месяца он так и не узнал, куда это ходит Станислас, один, по горной дороге. А на пятницу был назначен отъезд. Сейчас или никогда, решил Иосиф, встал и пошел в ту сторону, куда ушел мальчик, мимо довольно большой насыпи метра в четыре высотой, примерно на середине которой висел младший из братьев, Поль, и рыл руками землю, подражая реву экскаватора. Несколько игрушечных машинок пристроились внизу. Иосиф хотел подняться на вершину холма, откуда рассчитывал увидеть, куда это ходит Станислас. Вдалеке мелькнула и исчезла чья-то ферма; в небо взлетел жаворонок и запел, казалось, совсем близко от солнца; однако до желанной вершины было еще далеко. Оставалось только повернуть назад и снова спуститься к подножию холма по той же дороге. Однако, когда он уже подошел к небольшой рощице, расположенной чуть выше Асгарда, Станислас вынырнул откуда-то прямо на дорогу, быстрый, как тень ястреба. Иосиф окликнул его, и они подошли друг к другу в облаках белой, пронизанной солнцем пыли.

— Господи, откуда ты взялся? — удивился Иосиф, утирая пот с лица.

— Из Большого Леса, — серьезно ответил Станислас. — Это вон там. — Действительно, у него за спиной толпились темные и густые деревья.

— Там, небось, прохладно? — с завистью спросил Иосиф. — А чем ты, собственно, там занимаешься?

— О, разными вещами! Например, наношу на карту всякие следы и тропинки. Просто так, конечно, ради развлечения.

ния. Эта роща ведь на самом деле куда больше, чем кажется отсюда. — Станислас заколебался, помолчал и прибавил: — Ты ведь никогда там не был? Тебе, наверно, было бы приятно познакомиться с Дубом.

И юноша следом за ним перепрыгнул через канаву и пошел сквозь плотную зеленую мглу к Дубу. Он никогда еще не видел таких больших деревьев! Впрочем, он их вообще не слишком много видел в своей жизни.

— По-моему, он очень старый, — с уважением сказал он, совершенно ошеломленный, взирая снизу вверх на ветви гигантского Дуба; их ряды представлялись ему множеством галактик, где вместо звезд — бесконечные зеленые листья.

— О да, лет сто, а может, двести или триста, а может, шестьсот, — сказал мальчик. — Попробуй-ка обхватить его руками! — Иосиф изо всех сил раскинул руки, тщетно стараясь не касаться щекой шершавой коры. — Его только четыре человека обхватить могут, и то с трудом, — пояснил Станислас. — Знаешь, я его Иггдрасилем называю. Конечно, Иггдрасиль — ясень, а не дуб, но все-таки. А хочешь посмотреть Рощу Локи?

Пыльная дорога и жаркий белый солнечный свет остались где-то далеко позади. Юноша следом за своим провожатым все глубже погружался в этот зеленый лабиринт, в эту игру в мифологические имена, принадлежавшие, однако, вполне реальным деревьям, тихому воздуху, земле. Под высокими серыми ольховинами, росшими у сухого русла ручья, они поговорили о гибели Бальдра, и Станислас указал Иосифу на темные сгустки омелы высоко на ветвях дубов, хотя и более мелких, чем тот. Покинув рощу, они побрели по дороге — вниз, к Асгарду. Иосиф чувствовал себя неловко в темном «приличном» костюме, который купил на последнем курсе. В кармане у него лежала книжка, написанная на мертвом языке. И хотя по лицу у него стекали капли пота, он был страшно доволен. Пусть сам он никаких карт не составлял и вообще слишком поздно попал в этот лес, зато все же хоть один раз успел по нему пройтись! Поль все еще копал свой туннель, словно не слыша доносившихся от дома ударов по металлическому треугольнику; этими ударами всех созывали к столу, на сиделки у камина, помогали заблудившимся детям отыскать дорогу и отмечали все сколько-нибудь значимые события.

— Пошли-ка быстрей, обедать пора! — велел Полю Станислас. Мальчик соскользнул с насыпи, и они пошли к дому все вместе — одному семь, другому четырнадцать, третьему двадцать один.

Потом Иосиф помогал профессору паковать книги — целых два чемодана, небольшая библиотечка по истории средних веков. Но Иосиф любил книги читать, а не укладывать в чемоданы. Однако его попросил помочь сам профессор. Не Томас. «Вы не поможете мне уложить книги?» — сказал он. Ничего не поделаешь, хотя такая работа была совсем ему не по нраву. Он с отвращением разбирал книги и стопку за стопкой складывал в ненасытные железные сундуки; сам профессор работал энергично и увлеченно, баюкая инкунабулы, точно младенцев, с каждым томом обращаясь ловко и с любовью. Потом опустил на колени, запер чемоданы и сказал:

— Спасибо, Иосиф! Теперь все. — И опустил бронзовые скобы, словно подводя итог их летних трудов. Да, теперь действительно все. Иосиф сделал за это время удивительно много, он даже не рассчитывал на такие результаты, но теперь делать было больше нечего. И он, безутешный, поплелся в тень Четырех Вязов. Оказалось, что там уже сидит жена профессора, в которую он успел буквально влюбиться.

— Я стащила ваш стул, — дружелюбно сообщила она, — а вы садитесь прямо на травку. — Честно говоря, там было больше мусора, чем травы, но все здесь называли это «травкой», и он подчинился. — Мы с Розой обе совершенно без сил, — продолжала она, — даже думать о завтрашнем дне не хочется. Самое худшее — последний день перед отъездом: постельное белье, столовое серебро, все тарелки вверх дном, мышеловки повсюду... да еще вечно какая-нибудь кукла потеряется, а найдется только после того, как все будут несколько часов искать ее, переворачивая кучи белья... потом еще нужно повсюду подмести, все запереть... Ох, до чего же я ненавижу эти сборы! И ненавижу запирать этот дом! — Голос у нее звучал легко, чуть жалобно, словно крик птицы в роще; как и птице, ей было безразлично, слышит ли кто-нибудь ее жалобы и как звучит ее голос. — Надеюсь, вам здесь понравилось? — спросила она.

— Очень, баронесса!

— Вот и хорошо. Я понимаю, Северин совершенно замучил вас работой. И все мы такие неорганизованные — и мы сами, и наши дети, и наши гости. Кажется, здесь каж-

дый существует сам по себе, а вместе мы собираемся только перед отъездом... Надеюсь, вас это не очень огорчало?

Действительно, все лето приливами и отливами дом заполняли волны бесконечных гостей: друзья детей, друзья баронессы, друзья, коллеги и соседи барона, просто охотники на уток, ночевавшие в пустующей конюшне, поскольку все свободные комнаты оказывались заняты польскими медиевистами и приятельницами баронессы с целыми выводками детей, и самый младший из них каждый раз умудрялся свалиться в пруд. Ничего удивительного, что сейчас здесь казалось так тихо, по-осеннему тихо: большая часть комнат пустовала, поверхность пруда была зеркально гладкой, холмы тихи, нигде не слышался смех.

— Мне было очень приятно познакомиться с вашими детьми, — сказал Иосиф. — Особенно со Станисласом. — Тут он покраснел как свекла: именно Станислас то и не был ее сыном. Она улыбнулась и сказала чуть смущенно:

— Станислас очень милый. А в четырнадцать лет... Четырнадцать лет — такой опасный возраст! Вдруг сразу начинаешь понимать, на что способен ты сам и какова будет плата за это... Однако Станислас очень сдержанный и милый мальчик. Зато Польша и Зида в его возрасте пойдут напролом, с ними тяжело придется. Дело в том, что Станислас познал вкус утраты таким юным... А когда вы собираетесь сдавать экзамены в духовную семинарию? — спросила она, мгновенно меняя тему.

— Через месяц, — отвечал он, потупясь.

— И вы совершенно уверены, что предназначены именно для такой жизни? — снова спросила она.

Помолчав, по-прежнему не глядя ей в глаза и видя перед собой только сверкающую белизну ее платья и золотисто-зеленую листву, он промолвил:

— А почему вы спрашиваете об этом, баронесса?

— Потому что меня ужасает даже сама идея celibата! — воскликнула она, и ему захотелось вытянуться на земле, пестреющей листьями вяза, похожими на легкие овальные золотые монетки, и умереть.

— Бесплодие, — сказала она. — Видите ли, человеческое бесплодие — вот чего я боюсь смертельно и считаю своим врагом. Я знаю, у людей есть и другие враги, но бесплодие я ненавижу сильнее всего, ибо оно делает человеческую жизнь менее значимой, чем смерть. Да и союзники его поистине чудовищны: голод, болезни, уродства, извращения,

чрезмерные амбиции, чрезмерно развитый инстинкт самосохранения... Господи, и что только делают там эти дети?

За обедом Поль попросил Станисласа еще разок сыграть в «гибель богов», Станислас согласился, и вот теперь «великанская зима» с ревом обрушивалась на стены крепости Асгард — берега глубокой дренажной канавы за прудом. Один швырял молнии со стен, а Тор...

— Станислас! — окликнула мальчика баронесса, приподнимаясь со своего стула, тонкая, вся в белом. Иосиф смотрел на нее во все глаза. — Не позволяй, пожалуйста, Зиде размахивать молотком!

— Я же Тор, я же Тор, я должна иметь молот! — затараторила Зиде. Станислас быстро вмешался в игру и велел Зиде, опустившейся на четвереньки, приготовиться к очередному штурму крепости.

— Она теперь будет великим Волком Фенриром, — крикнул Станислас матери; в его звонком голосе, всколыхнувшем жаркую тишину послеобеденной поры, слышался чуть заметный смех. Мрачный и суровый Поль, прищурившись, сжал свой посох и лицом к лицу встретил атакующие армии Хеля, царства мертвых.

— Пойду-ка я приготовлю всем лимонад, — сказала баронесса и ушла, оставив Иосифа в одиночестве, и он наконец упал ничком на землю, наповал сраженный той невыносимой нежностью и тоской, которые эта женщина пробудила в нем и которые никак не хотели вновь засыпать. А тем временем у пруда Один бился с армией царства мертвых на залитых солнцем стенах небесного города Асгарда.

На следующий день все в доме было разрушено, нерушимо стояли лишь сами его стены. Внутри громоздились бесконечные ящики и коробки, куда-то спешили люди с вещами. От всеобщей суматохи удалось спастись только Томасу и Зиде — Томас соображал медленно и к тому же считался жителем Асгарда всего лишь около года, так что он убрался подметать двор от греха подальше, а Зиде весь день проторчала в Маленькой Роще. В пять Поль пронзительно завопил, высунувшись из окна своей комнаты:

— Машина! Машина! Машина едет!

Огромное черное такси образца 1923 года со стонами въехало во двор, пробираясь точно ощупью — его слепые, выпуклые глаза-фары сверкали в закатных лучах солнца.

Коробки, ящики, гигантский синий чемодан и два железных сундука были погружены в машину Томасом, Станисласом, Иосифом и водителем такси, жителем соседней деревни, под неусыпным наблюдением барона Северина Эгидескара, заведующего кафедрой медиэвистики в университете Красноя.

— А завтра в восемь вы захватите нас и все остальное и отвезете на станцию, хорошо?

Водитель такси, который в течение семи лет отвозил их на станцию в первых числах сентября, молча кивнул. Потом такси, нагруженное немалым имуществом целых семи человек, потащило прочь, скрипя на спусках ручкой переключения скоростей в усталой тиши раннего ясного вечера, а дом так и остался разоренным, с опустевшими комнатами.

Теперь уже постарался удрать сам барон. Раскуривая трубку, он неторопливо, с оглядкой, точно человек, спасающийся бегством, двинулся мимо пруда, мимо Томасова загона для кур, вдоль изгороди, через которую перевешивались переросшие ее сорняки, качая тяжелыми макушками, вниз по залитой солнцем дороге к рощице плакучих берез, называемой также Маленькой Рощей.

— Зида, ты где? — окликнул он, останавливаясь в легкой прогретой тени. Тишину вокруг нарушало лишь немолчное стрекотание кузнечиков в полях. Ответа не последовало. Окутанный облаком голубоватого трубочного дыма, он прошел еще немного и снова остановился, заметив корзину для яиц, украшенную множеством крошечных лоскутков и кусочков цветной бумаги. На поросшей мохом, сильно истоптанной лужайке рядом с корзиной валялась деревянная вешалка для пальто. В одной из ячеек корзинки виднелась яичная скорлупа, покрашенная золотой краской, в другой — кусочек кварца, в третьей — корочка хлеба. Чуть поодаль лежала и крепко спала босая маленькая девочка, задрав попку выше головы. Барон присел на мох с нею рядом и снова раскурил свою трубку, созерцая корзинку для яиц. Потом пощекотал девочке пятки. Она хрюкнула от смеха, начиная просыпаться, и барон взял дочку на руки.

— Что это такое?

— Ловушка. Чтобы единорога поймать. — Она смахнула со лба локоны, в которых запутались опавшие листья, и поудобнее устроилась у отца на коленях.

- Ну и как, поймала?
- Нет.
- А хоть одного видеела?
- Мы с Полем нашли следы.
- С раздвоенным копытцем, да?

Она кивнула. Стараясь не рассмеяться, барон вспомнил соседского поросенка, который, гуляя среди березовых стволов, казался серебристым.

— Говорят, их могут поймать только девушки, — шепнул он Зиде. А потом оба долгое время молчали, сидя совершенно неподвижно.

— Наверное, ужинать пора, — сказал барон. — Вот только все скатерти, ножи и вилки уже упакованы. Интересно, как же мы будем есть?

— Руками! — Зиде моментально вскочила и бросилась к дому.

— Надень туфли, — строго велел он. Девочка вернулась и неохотно всунула свои маленькие, холодные, грязные ножонки в кожаные сандалии, а потом с криком «Скорей, папа!» умчалась. Он быстро и в то же время как бы колеблясь двинулся за ней, стараясь не отставать; он шел среди длинных неясных теней берез, вдоль ограды, мимо загонов для кур и сверкающего пруда — шел сдаваться в плен.

Потом все уселись прямо на землю под Четырьмя Вязами. На ужин была ветчина, пикули, холодные жареные баклажаны, черствый хлеб и терпкое красное вино. Листья вяза, словно легкие монетки, падали вниз, прилипая к хлебу. Чистое, ясное закатное небо отражалось в пруду и в стаканах с вином. Станислас и Поль только что занимались борьбой, так что к ломтикам ветчины прилипли комочки земли, которые баронесса и Роза, шуточно причитая, все пытались смахнуть. Потом мальчишки умчались к Большому Утесу — запускать машинки через туннель и обсуждать, сильны ли будут разрушения, вызванные грядущими зимними дождями. Потому что дожди непременно начнутся. И все те девять месяцев, что они проживут в разлуке с Асгардом, дождь будет молотить по дорогам и склонам холмов, так что туннель скорее всего разрушится. Станислас на минутку поднял голову, думая о том, как выглядит Дуб в зимнее время — он ни разу не видел его зимой, и ему казалось, что тогда корни огромного дерева, обхватывая, наверное, весь земной шар, жадно пьют темную

дождевую воду, скопившуюся под землей. Зида уже дважды прокатилась вокруг дома верхом на единороге, громко вопя от радости, ибо ужин — под открытым небом, прямо на траве, когда можно есть руками и сидеть до первой звезды (которая видна, только если как следует прищуриться), загорающейся над высокими полями в сумерках. После этого, еще громче вопя от злости, Зида была унесена Розой в постель, однако заснула мгновенно. Одна за другой высыпали яркие звезды. Один за другим представители младшего поколения отправлялись спать. Ушел и Томас, унеся последние полбутылки, и долго пел хриплым голосом в дорийском ладе у себя над конюшней. Под вязами остались только сам барон и его жена. В ночном осеннем небе над ними светились желтые листья и звезды.

— Уезжать не хочется, — прошептала она.

— Мне тоже.

— Давай отошлем книги и одежду в город, а сами останемся здесь без них...

— Навсегда, — закончил он; но этого себе позволить они не могли. В соблюдении времен года лежал порядок, который был этим людям жизненно необходим. Они еще долго сидели рядышком, как двадцатилетние влюбленные. Потом барон встал и сказал:

— Пойдем, уже поздно, Фрейя. — И они двинулись сквозь тьму к дому, вошли в него и закрыли за собой дверь.

Солнечным ранним утром, уже одетые в пальто и шляпы, все прямо на крыльце напились горячего молока и кофе, заедая его черствым хлебом.

— Машина! Машина едет! — крикнул Поль, роняя свой кусок в грязь. Скрипя коробкой передач, чуть посверкивая фарами, подъехало такси и остановилось во дворе. Зида уставилась на него, как на врага, и расплакалась. До конца храня верность лету и начатым важным делам, она была унесена в такси на руках и всунута на сиденье головой вперед. При этом она не переставала вопить: «Не поеду! Не желаю я никуда ехать!» Поскрипывая и постанывая, такси тронулось с места. Голова Станисласа тут же высунулась из правого переднего окна, голова баронессы — из левого заднего, а красная злая физиономия Зиды прижалась к овальному заднему окошку; все трое видели, как Томас махал им на прощанье, стоя на солнышке под белыми стенами Асгарда, окруженного холмами. Поль доступа к окошку не

имел, однако мысли его уже были заняты совсем иным: поездом, дорогой, и он уже видел — на том конце ленты дыма из паровозной трубы и сверкающих рельсов — горящие свечи в темной, высокой столовой; изумленные вытаращенные глаза лошадки-качалки в углу чердака; мокрые от дождя осенние листья над головой по дороге в школу; серую улицу, словно ставшую короче от холода и туманных сумерек, в которых уже виден далекий веселый свет декабрьских фонариков.

Однако все это было очень давно, почти сорок лет тому назад. Не знаю, бывает ли так теперь, хотя бы в воображаемых странах.

Содержание

От издательства	5
Глаз цапли, роман, <i>перевод с английского И. Тогоевой</i>	7
Рассказы об Орсинни, <i>перевод с английского И. Тогоевой</i>	
Фонтаны	167
Курган	172
Ильский Лес	183
Ночные разговоры	201
Дорога на восток	235
Братья и сестры	247
Неделя за городом	290
An die Musik	319
Дом	337
Хозяйка замка Могэ	350
Воображаемые страны	365

Миры Харлана Эллисона

ВПЕРВЫЕ в России!

**Величайший американский прозаик второй
половины XX века представляет свои избранные
произведения в 3 томах!**

**Двадцать пять высших литературных премий
в разных жанрах,
одиннадцать высших премий в фантастике,
престижнейшие награды мира —
таков облик Харлана Эллисона.**



*В трехтомник вошло около сотни лучших рассказов,
одобренных автором, а также*

**ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ
автора
К РОССИЙСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ!**

«ПОЛЯРИС». ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ!

Миры Кима Стенли Робинсона



Он ворвался в фантастику, как вихрь. Он взлетел к вершинам славы за один год. Он стал основателем нового направления — гуманистической НФ.

Самый выдающийся гуманист НФ представлен тремя романами знаменитой Калифорнийской трилогии.



Том 1 Дикий берег

Том 2 Золотое побережье

Том 3 У кромки океана

«ПОЛЯРИС». ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ!

«Тьма опустится на Галактику. И продлится тридцать тысяч лет. — Селдон обвел собравшихся взглядом. — Я могу сократить этот срок до девятист девяноста двух лет».

Айзек Азимов

«Хроники Академии»

Лучший научно-фантастический сериал всех времен и народов — такого звания удостоена «Академия».

Пять томов запутанных интриг и непрекращающихся авантур, сотни лет истории и роковые мгновения: решающие судьбы Галактики — это «Академия».



«Прелюдия к Академии»
«На пути к Академии»
«Академия»
«Академия и Империя»
«Вторая Академия»
«Край Академии»
«Академия и Земля»

ВСЕ ЭТО



«Академия»!

«ПОЛЯРС». ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ!

*«Прежде мы открывали новые миры,
заселяли их. Теперь мы только обглаживаем
кости мертвой Фегерации».*

Миры Г. Бима Пайпера

Его сравнивали с АЗИМОВЫМ и ХАЙНЛАЙНОМ.

Его славе завидовали все современники.

Его имя гремело среди любителей фантастики.

Его карьере прервала безвременная смерть.

*Генри Бим Пайпер создал фантастический
эпос, способный сравниться с «Академией», и самых
очаровательных инопланетян в истории фантастики.
Теперь любимый писатель патриарха американской
фантастики Джона Кэмпбелла приходит в Россию.*



Том 1
Маленький
пушистик
Пушистик
разумный

Том 2
Пушистики и
другие
Космический
викинг
Рассказы



«ПОЛЯРИС». ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ!

Л.Рон Хаббард «Миссия «Земля»»



Самый искрометный

Самый увлекательный

Самый опасный

Самый большой

фантастический

роман последнего

десятилетия —

это декалогия



МИССИЯ «ЗЕМЛЯ».

Им восхищались знаменитейшие фантасты мира —
Роджер Желязны, Энн Маккефри, А. Э. Ван Вогт
Орсон Скотт Кард, Филип Хосе Фармер.

Следите за приключениями
Джеттеро Хеллера, спасителя Земли!



Том 1 «План вторжения»

Том 2 «Во мраке бытия»

Том 3 «Внутренний враг»

Том 4 «Дело инопланетян»

Том 5 «Судьба страха»



«ПОЛЯРИС». ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ!

ЕСЛИ

**ЕДИНСТВЕННЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ В РОССИИ**

*Всем,
кто любит
фантастику!*

Журнал «Если» был основан в 1991 году, а с 1993 года распространяется преимущественно по подписке.

Ценители жанра найдут в «Если» **лучшие образцы новейшей зарубежной фантастики**. Залог тому — наше сотрудничество с двумя ведущими американскими НФ-журналами — Asimov's и Analog, критико-библиографическим изданием Locus, а кроме того, тесные контакты с крупнейшими литературными агентствами и ведущими зарубежными писателями.

«Если» внимательно следит за развитием отечественной фантастики. **Ряд произведений российских авторов, напечатанных в нашем журнале, получили престижные премии.**

В разделах критики и библиографии читателей ждут очерки, посвященные истории жанра, статьи о новейших течениях НФ и фэнтези, рецензии на новые книги, литературные портреты, встречи с писателями, новости фэндомы.

Журнал выходит в удобном формате, с использованием современного дизайна, европейской бумаги, зарубежной полиграфии. Большой популярностью у читателей пользуется **красочный раздел «Видеодром» — все о фантастическом кино.**

Переписка с читателями сделала «Если» **заочным клубом любителей фантастики** и местом встреч поклонников жанра.

**«ЕСЛИ» — ЭТО 300 СТРАНИЦ
НОВЕЙШЕЙ ФАНТАСТИКИ!**

Подписка на журнал проводится по объединенному каталогу «ПОДПИСКА-98» (I том, раздел «Журналы»).

ИНДЕКС ЖУРНАЛА — 73118

Каталожная цена подписки на журнал — 48 тысяч рублей на полугодие плюс стоимость почтовых услуг.

Каталог есть в каждом почтовом отделении России.

МИРЫ УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН
Собрание фантастических произведений

ГЛАЗ ЦАПЛИ

Составитель *Д. Смушкович*
Ответственный за выпуск *Е. Чутов*
Технический редактор *К. Козаченко*
Корректоры *Ж. Голубева, И. Лаздина*
Оператор компьютерной верстки *В. Карцев*
Оформление шмуцтитолов: *В. Ковалев*

ЛР № 065224 от 17.06.97.
Подписано в печать 23.10.97. Формат 84×108¹/₃₂.
Гарнитура Таймс. Печать высокая.
Усл. печ. л. 20,16. Тираж 10 000 экз.
Заказ № 1557.

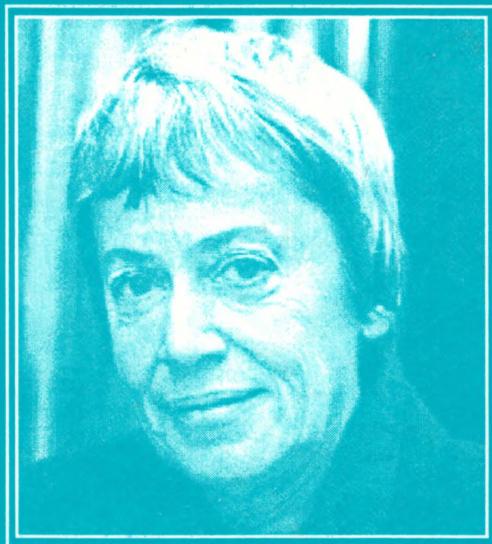
ООО издательство «Полярис»
101000, Москва, Главпочтамт а/я 900

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Тверском ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР
Государственного комитета Российской Федерации по печати
170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.





МИРЫ УРСУЛЫ ДЕ ГУИН



ГЛАЗ ЦАПЛИ

На далекой планете с обманчивым названием Виктория сталкиваются в противоборстве два общества, два стиля жизни — исполненный насилия мир Столицы и примитивное с виду, но куда более свободное общество потомков земных хиппи, сторонников не-насилия...

РАССКАЗЫ ОБ ОРСИНИИ

Маленькую центральноевропейскую страну Орсинию несет неумолимый поток истории. И неважно, что страны этой нет ни на одной карте. Ее обитатели тоже живут, борются, любят и страдают.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1997



ГЛАЗ ЦАПЛИ

МИРЫ УРСУЛЫ ДЕ ГУИН